

# БОЛШЕВЦЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

М. ГОРЬКОГО, К. ГОРБУНОВА, М. ЛУЗГИНА

МОСКВА \* ОГИЗ \* 1936  
«ИСТОРИЯ ЗАВОДОВ»

# БОЛШЕВЦЫ

ОЧЕРКИ ПО ИСТОРИИ БОЛШЕВСКОЙ  
ИМЕНИ Г. Г. ЯГОДА ТРУДКОММУНЫ НКВД

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИСТОРИЯ ЗАВОДОВ»



**КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ**

К. АЛТАЙСКИЙ  
Е. АНУЧИНА  
А. БЕРЗИНЬ  
А. БОБРИНСКИЙ  
В. ВИТКОВИЧ  
К. ГОРБУНОВ  
Н. КЛАЗЬМИНСКИЙ  
С. КОЛДУНОВ  
М. ЛУЗГИН

**С. МОРОЗОВ**

А. ОСОКНИ  
В. ПАНОВ  
А. РОМАНОВСКИЙ  
Л. СОЛОВЬЕВ  
С. ТАДЭ  
Л. ТИЩЕНКО  
В. УВАРОВ  
Ф. ФИРСЕНКОВ  
В. ЯСЕНЕВ

В ряде тесно связанных между собой художественных очерков, написанных молодыми советскими писателями на основе подлинных материалов, рассказано об организации и росте Болшевской трудкоммунны ИКВД, о перекосе ее воспитанников — бывших правонарушителей.

М. Горький в предисловии к книге дает следующую характеристику «Очерков»:

«Достоинство книги — в той адушчивости, с которой изображены процессы индивидуальных перерождений Гуллева, Мологина и других. Почти всегда удачен, т. е. убеждает своей правдивостью, рассказ о трудной и мудрой работе воспитателей... В освещении этой работы — основной и высоко ценный смысл книги».

«Очерки» доступны по изложению самому широкому кругу читателей.



Феликс Эдмундович Дзержинский





Генрих Григорьевич Ягода

## Тов. Г. Г. ЯГОДА

Дорогой Генрих Григорьевич!

Вы нам неоднократно рассказывали о том, как великий Сталин поручил ЧК нас, правонарушителей, переделывать в полезных людей.

Пламенный Дзержинский и вы, достойный ученик Сталина, создали все условия для перевоспитания нас в равноправных гражданах Советской страны.

Мы теперь сами руководим работой и жизнью коммуны и трудовыми колониями в нашей стране. Тем острее мы чувствуем теперь, как много трудов, сил, любви было вложено вами, Генрих Григорьевич, в дело переделки нас, обреченных на гибель.

Как садовник выращивает дерево, так вы, Генрих Григорьевич, растили нас, и только потому я, Соколов, бывший вор, теперь член ВКП(б) и главный инженер коммуны с производственным оборотом в 84 млн. руб.

Чуваев, Михайлов, Беспалов, Фиолетов, Каминский, Новиков — члены ВКП(б), директора, руководители, заведующие цехами, мастера, бригадиры, стахановцы — это все воспитанные вами из правонарушителей, теперь живущие радостной, веселой жизнью, гордясь своей страной, своим народом, своим Сталиным.

Первая трудовая коммуна была удачным опытом. Через три года вами была организована вторая трудовая коммуна, а затем те же принципы перевоспитания в более широком масштабе были перенесены на исправительные трудовые лагеря НКВД. В результате бывшие преступники стали активными и порой героическими участниками таких грандиозных строителей, как Беломорско-балтийский канал им. Сталина, Москва — Волга и др.

Тем самым бывшие расхитители, мешавшие социалистическому строительству, сами создают новые ценности социалистической стране.

Верно сказал в Болшевской коммуне М. Горький: „Раньше раздевали, теперь начинаете одевать“, т. е. что мы раньше грабили страну, а сейчас принимаем участие в социалистическом труде всей нашей родины.

Ваша двенадцатилетняя работа по переделке правонарушителей дала блестящие результаты. Вновь рождены тысячи новых людей, многие таланты многонациональной нашей страны нашли себя в коммунах-колониях.

Член коммуны Горьковского края Просвириков в своем стихотворении „Мы новыми стали“ сказал:

И если сожжете над нами в кольцо  
Свириная вражья порода,  
Мы встанем как армия смелых бойцов,  
И в бой поведет нас Ягода.

Нам хочется сказать вам, сказать Сталину, сказать во весь голос всему нашему народу, что мы ценим новую нашу жизнь и отдадим ее только нашей стране, нашему народу, нашей партии, нашему Сталину.

Эта книга — „Болшевы“ — рассказывает о нашей прошлой и настоящей жизни. Она рассказывает о героической борьбе чекистов со старым миром за человека.







# ПРЕДИСЛОВИЕ

**Д**остоинство этой книги — в той вдумчивости, с которой изображены процессы индивидуальных перерождений Гуляева, Мологина и других. Почти всегда удачен, т. е. убеждает своей правдивостью, рассказ о трудной и мудрой работе воспитателей-чекистов: «дяди Сережи», Матвея Погребинского и др.; в освещении этой работы — основной и высоко ценный смысл книги.

Истинно пролетарский гуманизм метода и приемов этой воспитательной работы вносит в дело социалистического воспитания людей немало такого совершенно нового и важного, что должно быть широко известно в среде школьных педагогов.

Книга рассказывает о напряженной борьбе большевиков за человека, воспитанного, т. е. изуродованного обществом хищников, собственников, рассказывает о том, как человека анти-социального, глубоко анархизированного — превращали в сознательного пролетария, революционера и коммуниста. Конечно, я не забываю, что эта борьба велась и ведется в размахе всемирном, но освещаемый этой книгой участок боя говорит о победах, особенно значительных тем, что пролетариат возвращает к жизни сотни людей, которые в «культурной», «гуманитарной» Европе, обществах благочестивых мерзавцев, неизбежно погибают, «как неисправимые враги собственности», как еретики, не верующие в святость бога мещан и срывающие ризы с него маленькими кусками. Известно, что когда вор ворует миллионы народных денег, когда он наживает эти миллионы на узаконенной краже чужого труда, на производстве оружия, на торговле пулеметами и пушками для истребления миллионов людей, — вор этой высочайшей степени до поры, пока он не проворуется, не вызывает отвращения и вражды мещан, но возбуждает в них только лирическую зависть, уважение и даже рабское преклонение перед миллионерами. Мы знаем, что для мещанства — этой опоры фашизма и почвы мерзостей мира — человек, укравший сто франков, более преступен, чем тот, кто украл сто тысяч франков или марок, долларов, фунтов.

Итак: эта книга показывает, как воспитанный мещанством мелкий хищник собственности превращается в сознательного врага ее, готового на борьбу за освобождение всей массы трудового народа из ее цепей, готового на честную, героическую работу строительства нового мира. Этого смысла книги вполне достаточно для того, чтобы признать ее ценность и дать ей широкую дорогу в массы не только наших читателей: пролетарии всех стран должны знать, как и в каких формах, какими приемами следует выявлять активный, пролетарский, боевой гуманизм.

Уверен, что писательская молодежь, работавшая с этим новым интереснейшим материалом, приобрела немало литературно технического опыта, который благотворно отзовется на ее дальнейшей работе в области родной литературы. Есть в этой книге недостатки, оплошности, недоговоренности? Конечно, есть. Отметить их — дело товарищеской критики, которая должна понять сложность, трудность и новизну темы, должна понять глубокий социально-революционный смысл пролетарского гуманизма. Мое дело — указать, что написана весьма значительная большевистская книга. Вместе с книгами А. Макаренко «Педагогическая поэма» и Иды Авербах «От преступления к труду» эта книга вносит в нашу литературу замечательный рассказ о работе «инженеров душ», которые воспитывают тысячи людей в трудкоммунах, в концлагерях, в колониях беспризорных детей, о работе, которая показывает, как реально, фактами — осуществляется в Стране советов пролетарский коммунистический гуманизм в те дни, когда буржуазия Европы и всего мира все более гнусно и цинически откровенно звереет, как она в своем безумии, вызванном предчувствием смерти, теряет остатки человекообразности и становится все более бесхитростно злым, все более откровенно бесчеловечным врагом трудового народа. Пролетариат должен знать, что в лице современной буржуазии он имеет дело с преступником, который не может быть перевоспитан и должен быть уничтожен.

М. Горький

# Ч А С Т Ь П Е Р В А Я



# ПОРУЧЕНИЕ

**В** конце июля 1924 года чекист Матвей Погребинский был вызван к одному из членов коллегии ОГПУ.

— Как-то зимой мы проходили с товарищем Дзержинским ночью по Москве, — сказал член коллегии Погребинскому. — В Охотном ряду, на Моховой горели костры. Возле них грелось несколько оборванных, грязных подростки. Кто считал, сколько таких бездомных рассеяно по городам страны: на вокзалах, у асфальтовых котлов, в заброшенных подвалах? Дзержинский тогда сказал: «Ужасное бедствие! Ведь большинство их — дети пролетариев. Одному Наркомпросу не справиться с этим. Надо что-то сделать».

Погребинский кроме основной службы вел еще работу среди комсомольцев ОГПУ как прикрепленный от партийной ячейки. Ему приходилось бывать в различных учреждениях Наркомпроса. Он знал, что несмотря на все усилия изжить беспризорность, там нехватало для этого нужных организаторов и хороших педагогов.

— Недавно, — продолжал член коллегии, — Феликс Эдмундович выступил на заседании в ЦК партии и заявил: «Я хочу бросить некоторую часть сил ВЧК на борьбу с беспризорностью. Наш аппарат — один из наиболее четко работающих. С ним считаются, его побаиваются». Решение далеко не случайное. Мы изолируем преступников, стараемся исправить, иногда ликвидируем. Но мы гораздо скорее уничтожим преступность, если лишим уголовные элементы возможности набирать смену из бесприютных ребятешек. Коллегия поручает вам, товарищ Погребинский, наладить перевоспитание несовершеннолетних правонарушителей.

Он сказал, почему выбор остановлен именно на Погребинском:

— У вас есть знание молодежи, умение подойти к ней.

Он подчеркнул, что та молодежь, с которой предстоит Погребинскому работать теперь, — особенная. Изжеванная в раннем детстве машиной эксплуатации, выброшенная на улицу, она возненавидела всякую работу. Узколобые буржуазные антро-

положи, стараясь оправдать капиталистический строй и бесчеловечность мешан, приписывают тысячам людей наследственную склонность к преступлениям, врожденную неспособность трудиться — это, конечно, подлая ложь. Однако собрать форточников, домушников, скокарей юного возраста и объяснить им, кто морально увечил их, дать им производственные специальности — это нелегкое дело. Нелегкое, но зато какое большое и увлекательное! Будет практически доказано, что свободный социалистический труд на общество, на самих себя может сделать из уголовников общественно-полезных работников. Какая почетная для большевиков задача: показать всему миру силу и образец пролетарского гуманизма!

— Приступайте к работе, — заключил член коллегии. — Дело в сущности новое, опыта здесь очень немного. Значит, нужно почитать, подумать. Ищите себе дельных помощников. Будет трудно — приходите, подумаем вместе.

Перед тем как начать дело, Погребинский вплотную сел за книги. Хороший организатор, человек живой революционной практики, он понимал всю необходимость предварительной учебы.

На его столе можно было увидеть самые разнообразные материалы. Рядом с «Отчетом Московского работного дома с 1836 по 1913 год» лежали «Сахалинские очерки» и «В мире отверженных». «Социальные этюды» Тардьё, книжка профессора Белецкого «Об эмоциональном мире преступников», «Доклад Киевского патроната малолетних преступников» заставляли его порой забывать о пище и отдыхе.

Коренное различие между буржуазным уголовным правосудием и советской исправительной политикой было ему очевидно. Там — в странах капитализма — изгнание уголовного из жизни, здесь — основная задача — трудовое и культурно-политическое перевоспитание людей.

В одной из книг американский профессор, либерал по убеждениям, делился своими впечатлениями после того, как обследовал тюрьмы всего мира, изучая их режим и типы преступников. Он искренно негодовал, описывая зверское обращение с заключенными.

Некоего Артура Монфлер в Дюменсваале заключили в тесную клетку и держали под налящими лучами солнца до тех пор, пока он буквально не испекся, получив общий ожог кожи.

Автор подробно рассказал потрясающий случай, когда одного преступника били по обнаженному животу струей воды из брандспойта, «пока не лопнул живот». Другой заключенный, интеллигент, брошенный за буйное поведение в карцер, лежал связанным несколько суток подряд, испражняясь под себя, и, не вынеся унижений, разбил голову о каменный пол.



Профессор добросовестно подсчитал, сколько в буржуазных тюрьмах сошло с ума, удушено, пристрелено, сожжено на электрическом стуле. Сообщались цифры заперотых насмерть, изнасилованных женщин, растленных тюремщиками детей.

Страх наказания не действовал. Воры продолжали красть, грабители — отнимать у прохожих кошельки. В мире капитализма, среди общей драки за наживу и возможность жить за счет чужого труда, мелкие хищники в другой форме повторяли то, что делали хищники крупные.

«Конечно, — заключал автор книги, — самый лучший способ изжить преступность — это приучить грабителей к честному труду. Но природа наделила их неизменным отвращением к работе. С другой стороны, если они согласятся работать, то увеличат армию безработных».

Очерки радикального журналиста рассказывали Погребинскому, почему заключенные буржуазных тюрем не хотят работать.

В Техасе власти продают осужденных фермерам и заводчикам. Фермеры гонят купленных арестантов на работу плетьюми. За прошедшей группой остается густой кровавый след, сторожевые собаки хозяина идут позади и лизут кровь. В штате Георгия за каждого проданного в рабство преступника администрация получает 450 долларов. Таким же образом штат Алабама выручил только за год два миллиона рублей. Деньги были израсходованы на постройку новых тюрем и судебных учреждений.

Эксплуатация труда осужденных оказывалась одной из самых жестоких разновидностей эксплуатации.

Том Муни просидел в Сан-Квентинской тюрьме семнадцать лет и ежедневно исполнял одну и ту же обязанность: чистил на обед тюремной администрации сто пятьдесят фунтов картофеля, пятнадцать фунтов луку и моркови. Его товарищ занимался с утра до вечера тем, что тер один о другой два кирпича, добывая таким образом порошок для чистки посуды. Другой — ряд лет вошил нитки. Он часами, днями, месяцами, годами натирал комком черного воска нитки, у него распухли пальцы, постоянный запах воска вызывал отвращение к пище.

Отупляющее занятие сушило мозг, человек дичал, способен был идти на любые пытки, лишь бы не возвращаться к мерзкой повинности.

Да, при этих условиях нельзя полюбить труд. Но радостнее ли он, меньше ли отупляет рабочих на большинстве «вольных» капиталистических фабрик!

Русское тюремное и каторжное прошлое было еще более мрачным. Даже официальная царская статистика признавала, что из каждых десяти тысяч людей страны один обязательно томился за решеткой. В продолжение столетий российское правосудие олицетворялось застенками, дыбой, смрадными земля-



ными колодцами, ржавой цепью на шее колодника, вырезыванием языка, четвертованием. Позже появились жандармы, полицейские клоповники, шпицрутены, одиночки, кандалы, намыленные петли. Бездна человеческих страданий завершалась бесчисленными крестами по Владимирке и Сибирскому тракту, отмечающими могилы каторжников.

Опубликованный еще при царизме отчет гласил, что с 1884 по 1902 год в Шлиссельбургской крепости содержалось пятьдесят восемь человек, из них восьмерых повесили, двоих расстреляли за оскорбление администрации, пятнадцать умерли, четверых отправили в сумасшедший дом, тринадцать сослали на поселение, трое покончили самоубийством, тринадцать в 1902 году продолжали отбывать заключение, ожидая своей гибели.

Московский рабочий дом пытался приучить воров к труду. Устав дома рекомендовал поручать содержащимся в нем «работы сколько можно однообразнее». «Призреваемых» посылали чистить городские свалки, вывозить нечистоты, отдавали в наем фабрикантам. Неудивительно, что добровольно явившихся в дом в 1895 году было 6 человек, а насильно приведенных полицией — 857.

Какими утопичными и безнадежными оказались попытки отдельных филантропов наладить трудовое перевоспитание уголовных. Чем больше говорили об этом Погребинскому книги, тем спокойнее и увереннее становился он, потому что для него все яснее становилась основная причина этих неудач: в условиях капитализма, в условиях эксплуатации труд всегда является проклятием. Только у нас, где труд — источник удовлетворения общественных потребностей трудящихся, где самый труд становится радостью, первой потребностью человека, он способен быть самым сильным орудием перевоспитания.

«Из их неудач, — повторял он, — для нас вытекает одно: обязательность победы».

Материалы Наркомпроса открывали картину большой систематической заботы о беспризорных. Режим советских исправительных учреждений ставил целью вернуть уголовных к труду. В домах заключения практикуются отпуска, частые свидания с родными, почти неограниченные передачи, вежливое обращение. Культурная работа, участие в самоуправлении развивают у заключенных общественные навыки.

Труд в мастерских дает квалификацию и личный заработок. Однако многие преступники, отбыв срок заключения, возвращаются к прежним занятиям. Немало подростков уходит из детских домов Наркомпроса.

Нужно было понять причины этих явлений, чтобы избежать их в предстоящей работе. Многие могли бы объяснить сами преступники и беспризорные. Погребинский поехал в Бутырский домзак.

# ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

**К**омендант домзака спросил Погребинского, какой стороной быта заключенных он интересуется.

— Все показывайте, все, — сказал Погребинский.

Каждый нерв лица его, смуглого и необычайно подвижного, выражал нетерпение. Он сдвигал на затылок и снова поправлял кубанскую шапочку, трогал наборный кавказский ремешок, опоясывающий аккуратно собранную в талии гимнастерку защитного цвета.

На сцене в клубе домзака шла при опущенном занавесе репетиция. Пьеса изображала, как тюрьма путем дисциплины, труда и культурного воспитания заставляла вора стать честным гражданином. Блатные товарищи соблазняли главного героя прелестями старой жизни — бесшабашным разгулом, карточной игрой, наконец, грозили ему расправой.

— Нет, — отвечал он, — мне с вами не по дороге, — и раздражался длинной митинговой речью.

«Если на самом деле все так уж хорошо, — подумал Погребинский, — то мне делать здесь нечего, и не надо искать других способов перевоспитания». Он поинтересовался:

— Кто написал пьесу?

— Сами заключенные, коллективно.

— Артисты тоже из них?

— Совершенно верно.

— По каким статьям осуждены?

— Все больше растратчики, — ответил комендант.

В одной из комнат репетировал струнный оркестр. Балалайки терзали слух. Но сосредоточенные лица музыкантов, их искренняя старательность окунали все.

— Здесь воры, — объяснил комендант. — Музыка им нравится по-настоящему.

Погребинский прошел в библиотеку.

— Что читаешь? — отрывисто спросил он, беря книгу у одного заключенного.



Огромный парень с лицом цвета ржавчины и длинными до колен руками отвел глаза, смиренно отдал книгу. Оказалась «Политграмма» Коваленко.

— Все понятно?

— А чего же? — ухмыльнулся парень. — Четвертый раз ее беру и с каждым разом глубже лезу.

Другой, маленький, курносый, рассеянно копался в ящике с картотекой. Не разгибаясь, он спокойно вмешался в разговор:

— Льготы зарабатывает, а льгот ему не дадут. Чорта не обмануть, он умнее нас.

— Никак нет, — выпалил парень с ржавым лицом Погребинскому и бросил в сторону обличителя злой взгляд.

— Или книжку по мысли не найдешь? — спросил Погребинский маленького.

— Так, интересуюсь, — неохотно ответил тот, уходя к двери.

— Неграмотный, — отрекомендовала библиотекарша.

Маленький живо повернулся:

— Ты меня на воле встреть. Я тебе наизусть всю политику расскажу.

К прилавку подошел выбритый, с твердым квадратным подбородком человек.

— Взломщик несгораемых шкафов, — шепнул Погребинскому комендант. — Поведение образцовое. Хороший культурник.

Взломщик с явным расчетом обратить на себя внимание Погребинского загадочно произнес:

— Чорта я обманывал, а вот совесть обойти не мог.

Он спросил библиотекаршу:

— Макса Штирнера «Единственный и его собственность» не держите?

Погребинский удивился:

— Что это вас на какие книги тянет?

— Хотел справиться о здоровье старых моих богов, да вот, видите, отсутствуют они на этом иконостасе.

Взломщик говорил задумчиво и печально, с видом безгранично утомленным. Манера изъясняться несколько высокопарно выдавала в нем человека «начитанного».

— Восемнадцать лучших лет жизни, — продолжал он, — воскурял богам фимиа, теперь хотел бы плюнуть им в морду: жестоко обманули! Полагал, что сильной личности все позволено, оказалось, что имеются границы: границы совести, — объяснял он. — Скажу вот, хочется уйти. А куда, зачем? — Он покачал головой. — Не знаю, куда и зачем.

Погребинский внимательнее взглянул на него — не притворяется ли? Тот стоял понуро. Казалось, ему безразлично, какое о нем сложится мнение.

- В тюрьме пришли к таким взглядам?
- Может быть, в тюрьме, а вообще-то жизнь убедила.
- Он кивнул вслед ушедшим — курносому и ржавому:
- Молодежь шебуршит. А я-то хорошо вижу — счастье не в деньгах теперь. Парохода, например, нельзя купить...
- Работать будете? — перебил Погребинский.
- Взломщик, устало улынувшись, произнес:
- Знаете Некрасова:

Работаешь один,  
 А чуть работа кончена —  
 Глядишь, стоят три дольщика:  
 Бог, царь и господин.

Погребинский возразил:

- Старая поговорка, никого из этих троих теперь нет.
  - Не знаю, ничего не знаю. Запутался я теперь кругом.
- Через открытую дверь красного уголка видно было, как двое заключенных готовили стенную газету. Чтобы не мешать им, Погребинский и комендант неслышно подошли к двери и остановились у порога. Один из заключенных, крепкий, курчавый, с открытой татуированной грудью, усердно писал, налегая на скрипящий стол. Пухлые негритянские губы его шевелились, на лбу выступили крупные капли пота. Перегибаясь через плечо курчавого, стоял бледный лысеющий юноша. Он зябко потирал руки и вкрадчиво говорил:
- Полегче бы ты писал, Данила! Больно резко ты пишешь.
  - Пускай, — повторял с ожесточенным упорством пишущий и мотал головой, чтобы стряхнуть капли пота. — И фамилию свою поставлю.
  - Шибко мы тебя побьем, Данила.
  - Кто — кого?
  - Или всерьез хочешь завязываться?
  - Там увидим. Бери у фрайеров, а зачем у своих тянешь?

Юноша разогнулся и, заметив пришедших, громко сказал:

- Хорошо бы тут карикатурку поддуетить!

Погребинский прочитал заметку. Она сообщала, что в камере № 13 двое заключенных крадут у соседей хлеб и вещи. Затем Погребинский присутствовал на тюремном товарищеском суде.

В качестве заседателей, обвинителя и защитника выступали сами же заключенные. Судился старичок, скупщик краденного, тихий и елейный, одетый по-толстовски: в парусиновую длинную блузу и штаны на выпуск. Судили его за то, что он плеснул в лицо соседу по камере чаем, оказавшимся, к счастью, негорячим. Старичок, поддергивая к самой груди тесемку пояска, на строгие вопросы председателя отвечал одно и то же:



— Не лайся, за то и плеснул. Ругай меня по-людски, а «заигранным» звать не позволю. Сколько ни проигрывал — отдавал: меня, слава богу, народ знает.

Обвинитель, хриплый, черноусый, набивая пену в углах губ, требовал прибавить виноватому год заключения.

— Такие, — мотивировал он, — сосут из нас на воле кровь, за рублевую вещь грош дают. Мы с ними здесь должны посчитаться.

Защитник доказывал, что оскорбление старичку нанесено действительно тяжелое, и просил снисхождения.

Суд постановил удовлетворить требование обвинителя.

Комендант втолковывал судьям, что приговор их неправильный: нельзя прибавлять сроков помимо настоящего советского суда.

Председатель — грузный, чернобородый мужчина, похожий на стареющего конокрада, — не поднимая от пола глаз, упорно возражал:

— Судите, как хотите, а наше дело — порядок навести.

Зашли в столярную мастерскую. Шумно и жарко. На полу под ногами кудрявились и шелестели стружки. Тонко повизгивали пилы, всхрапывали рубанки. Возле окна на примусе варился клей. Из кастрюли тянуло запахом жженого копыта.

Широкоплечий, лет восемнадцати молодец размахисто гонял по брусу рубанок, увлеченно всхрапывая вместе с ним. Паренек даже не посмотрел в сторону подошедшего Погребинского. На вопрос — порвет ли со старым, когда освободится, — он серьезно, не распуская сосредоточенных складок на лбу, не бросая работы, ответил:

— Как судьба. Встречусь по выходе с товарищами, пожалуй, опять уговорят. Не встречусь — может, на завод поступлю. Специальность теперь имею.

— Трепло! — вдруг раздался истерический возглас от окна, где варился клей. Кричал утлый, узкогрудый человек, с лицом, исцарапанным мелкими морщинами, с бешеными черными глазами. — Подлюга! — кричал он, дергаясь и почти рыдая.

— Тихе, не волнуйся, — сказал ему спокойно комендант, а Погребинскому скороговоркой сообщил: — Кокаинист, много судимостей и побегов!

Буян отбросил палку, которой размешивал клей:

— Чего там заливать! Все равно будем воровать! Все будем! Новых буржуев развели. Довольно ишачить, ослы! Айда по камерам!

Никто не обратил на него внимания. Даже не засмеялись. Паренек деловито понес беремья наструганных брусьев.

Погребинский подошел к буянившему:

— Взломщика знаешь? Постарше тебя, говорит — настоящим ворам конец, а ты — какой уж мастер!

Кокаинист успокоился так же быстро, как вспылил:

— Тот медвежатник давно на воле не был, не считал, сколько беспризорников развелось.

— Подберем.

— Найдутся сироты, пока другие по четыреста рублей жалованья загребают.

— Слушай, раньше крали у буржуев — было хоть какое-нибудь оправдание, у кого ты теперь крадешь?

— Я на власть не жалуюсь. Мы с ней квиты. Либо она меня в ящик сыграет, либо я ее кругом оберу.

На этом разговор кончился.

Погребинский попросил вызвать в комендатуру работающего паренька из столярной.

— Слышал мой спор с этим худощавым? — спросил его Погребинский.

— Как же.

— Кто из нас прав?

Парнишка оказался не столь покладистым, каким выдал себя сначала. Он прежде всего расчетливо осведомился:

— Вы не из комиссии по льготам?

— Нет.

— Чего же мне языком зубы околачивать, — с неожиданной грубостью отрезал он. — Позвольте выйти.

У самой двери он приостановился и, как бы рассуждая сам с собой, сказал:

— Работать... легко сказать! Ты устрой так, чтобы морда моя не за решеткой была. Тогда из меня, может, что и получится.

Комендант говорил:

— Не могу сказать про всех, что труд им ненавистен, но домзак — все-таки домзак. Кончат сроки, выйдут отсюда. Куда итти? Ну — и марш на прежнюю дорогу.

Погребинский попросил коменданта откровенно сказать, что достигается созданием тюремной общественной и культурных занятий. Ясно, что некоторые берут книги лишь в чаянии хорошей репутации и получения льгот. Другие пытаются свести через стенную газету и товарищеский суд блатные счета.

Комендант ответил со всей прямоотой:

— Такие попытки, конечно, есть. Они у нас на виду. Но и в них есть положительная сторона. Заметка, написанная из личной неприязни, как-никак бьет по беспорядкам в камерах. Сам корреспондент — хочет он того или нет — встает на сторону общественного порядка, а многие из них через некоторое время приходят к нему сознательно.



## «ДЕФЕКТИВНЫЕ»

**Ш**огребинский знал и раньше, что не во всех детских домах удачно практиковалось обучение ремеслам. Знакомство с материалами Наркомпроса дало ему дополнительные сведения о недостатках в детдомах. Когда детдому не хватало денег, некоторые воспитатели сокращали прежде всего инструкторов по ремеслам. Трудовые процессы иногда совсем выпадали из программы воспитания. В тех случаях, когда труд применялся, он зачастую был направлен на производство пустяковых вещей: склеивание пакетов, плетение корзин.

Получалось так, что Наркомпрос в своих методических инструкциях совершенно правильно считал основой перевоспитания труд, а ряд педагогов проводил на практике эту установку чисто формально, для внешнего соблюдения чуждого им метода.

Были случаи, когда иной нерадивый педагог, чтобы не загружать себя работой над трудно воспитуемыми, давал им огульную характеристику: «В силу крайней дефективности совершенно не поддаются перевоспитанию». И старался сплавить их в дом заключения для взрослых. Среди педагогов оказалось немало работников старых приютов, домов призрения. Лишенные возможности применять в полном объеме прежние, не оправдавшие себя способы воздействия на воспитанников, они плохо доверяли новым приемам, да и не всегда понимали их.

Сведения о беспризорниках были неутешительны. Работники детских исправительных учреждений часто давали такие характеристики:

«Чилкин Александр Петрович, семнадцати лет. Бесчетное число раз приводился за кражу, имеет четыре судимости за грабежи и множество побегов. Помещался в диспансере для наркоманов. После шести месяцев лечения выпивает сразу по бутылке водки, курит анашу, впрыскивает морфий. Отличается повышенной сексуальностью, педераст. Неоднократно замечался в изнасиловании ребят. На исправление надежд нет».

«Гребенников Василий Александрович, восемнадцати лет. Кокаинист-алкоголик. Изодрал в исправдоме одеяло и проломил табуретом голову надзирателю. Заявил, что, как только выйдет на свободу, первым долгом убьет воспитателей. Крайне развращен. Имел половую связь с проституткой, у которой родился от него ребенок. Опрятно одевается. Вырвал здоровые передние зубы, чтобы вставить «для форса» золотые. Сложившийся преступник. Безнадежен».

Погребинский поспешил увидеть как можно скорее этих «безнадежных». Он выбрал для посещения один из таких детских домов, куда обычно посылались наиболее испорченные улицы ребята.

Ему посчастливилось попасть прямо на занятия. Человек тридцать ребят, возрастом от тринадцати до шестнадцати лет, расположилось в самых разнообразных позах на обычных школьных скамейках. Перед ними восседал преподаватель, человек пожилой и неряшливый. Седеющая его борода свалась, уши так заросли, что, казалось, там пауки сплели тенета. Обитал он тут же, при доме, и выглядел непринужденно: сухонные тапочки на босу ногу, ворот рубашки расстегнут.

Погребинский сел рядом с ним и стал наблюдать. В классе не чувствовалось дисциплины, ученики занимались плохо. Одни что-то вырезывали на столах перочинными ножнами, другие перешептывались, третьи рисовали что-то запретное — стоило преподавателю взглянуть в их сторону, как они мгновенно прятали кусочки картона, нарезанные из папиросных коробок.

Обгрызая ногти, преподаватель медленно говорил:

— Уходя в школу, Ваня получил от матери десять копеек на булку. Но Ваня проиграл деньги в карты и остался без булки. Правильно ли поступил этот мальчик?

Шум не утихает.

— Воробьев!

Никто не поднялся.

— Воробьев! — громче повторил преподаватель. — Ты вот, — указал он на большеголового мальчишку с узкими, точно сдавленными плечами.

— Я не Воробьев!

— Уже?

— Я Отто фон Грюнвальди, американец, — вызывающе ответил тот, покачивая огромной головой.

Преподаватель устало откинулся на спинку стула:

— Ну, скажи ты мне, фон американец, — который третьего дня был племянником литовского помещика, а от рождения — крестьянским сыном Воробьевым, — скажи мне, правильно ли поступил мальчик Ваня?



— Какой?

— О котором я рассказывал.

— Чего рассказывал?

— Что ты там орудуешь руками под партой? Опять нарисовал карты и прячешь?

Воробьев проищически скривил губы:

— Проиграл — значит, отдай.

— А разве играть хорошо?

— Насильно не заставляют.

Паренька, много выдавшего за недолгую жизнь, явно смешили нравоучения преподавателя.

— Егоров, — обратился тот к другому, — скажи ты.

— Не хорошо играть, — заученно прокричал беловолосый толстяк, передав соседу квадрат картона.

— Нехорошо, — удовлетворился преподаватель ответом.

— Сейчас я раздам вам картинки, вы их посмотрите и верните мне.

Один рисунок изображал кузнеца, бьющего с размаху по наковальне, другой — полуголую танцовщицу.

Воспитатель положил перед собой часы и следил, отмечая время, которая картинка рассматривается дольше. На кузнеца смотрели вскользь и поспешно сбывали другим. Танцовщица вызывала несомненный интерес.

Преподаватель записал что-то в свой блокнот.

— Что это вы записываете? — полюбопытствовал Погребинский после урока.

— Да вот повышенный интерес к сексуальным темам.

— Для чего же вы это записываете?

— Статистика непогрешима. Понадобится.

— Например?

— Опубликую в журнале.

— Что же дальше?

Педагог начал заметно багроветь.

— Если вы явились инспектировать меня, тогда так и говорите. Я, батенька, двадцать семь лет занимаюсь этим делом. Я измучен! — закричал вдруг он. — Измучен до последней крайности. Вы же не Грюнвальди, чтобы задавать мне бестолковые вопросы.

Погребинского неудержимо подмывало сказать ему: «Ага, вы измучены? Ну что же, ведь, наверное, вы или один из ваших коллег выносили неумолимые приговоры воспитанникам: «Чилкин — не поддается воздействию», «Гребенников — безнадежен». Чего же вы хотите от безнадежных? Институтских сантиментов?»

Но издерганный трудной работой службист, не знающий ни концов, ни начал своих обязанностей, вызывал сочувствие.

Погребинский уверил его, что спрашивает серьезно, чтобы перенять опыт.

Воспитатель смягчился. С горечью и жалобой он говорил:

— Мне прислали страшно трудных детей. Что я могу с ними поделывать? Я вынужден ограничиться ролью статистика, отмечающего пороки ребят и собственное бессилие. Они смеются над теплым словом. Я не могу добраться к их душам. Они убегут при первой возможности. В других домах — благополучней, а мне очень тяжело.

Он оказался очень словоохотливым и сообщил массу любопытных фактов из жизни правонарушителей. Он перечислял специальные книги, называл типы воспитательных учреждений. Одного лишь не мог сказать: какой практический результат приносят его знания и практика?

— Некоторые на моих глазах бросили воровство, но что с ними произошло по выходе из дома — трудно сказать.

— Может быть, надо усилить обучение ремеслам? — осторожно осведомился Погребинский.

Преподаватель согласился:

— Конечно, необходимо, но как-то все не удается по-настоящему наладить: то инструментов нехватает, то денег на материалы не дают, хороших инструкторов по ремеслам тоже нет; ведь нужен не просто мастер, но и педагог.

Погребинский зашел в спальню. Большинство воспитанников лежало на койках. Другие рисовали. Уже знакомый большоголовый сидел на столике больничного типа и пристально смотрел в дверь.

Он отметил появление Погребинского громким и равнодушным криком:

— Шухер!

Замелькали, исчезая, те же квадраты картона, какие-то баночки.

— Что это у вас?

— Где? — невинно осведомился большоголовый.

Десятки настороженных, вызывающих и насмешливых глаз выжидали в тишине, как поведет себя посетитель, может быть, присланный на должность воспитателя.

Погребинский вдруг почувствовал, что сейчас для него решается многое. Сумеет ли он найти правильный тон, не сфальшивит ли? Не ожидает ли его судьба незадачливого воспитателя?

Он взял большоголового подмышки, снял со стола и занял его место.

— Постоишь, тут старше тебя есть.

Потом долго сидел, болтая ногами, разглядывая ребят.



Дав тишине как следует отстояться, он соскочил на пол, подошел к ближайшему, сидящему на кровати парнишке и, не спуская с него глаз, протянул руку:

— Дай сюда карты.

Тот растерянно смотрел по сторонам, ища поддержки. Из угла кивнули, кивок говорил: «Отдай, чорт с ним, беды бы не нажить».

Мальчишка, присмирив, слезил за подкладку одеяла, вытащил с десяток карт.

Разоружение началось полное.

На столик поставили баночки с разведенным порошком из кирпича и с сажей. Передали кисточку с привязанным к лунчине пучком волос, предупредив:

— Человеческие. Из Фартовского надрали: волос у него жесткий, как у поросенка.

Даже при помощи жалкого инструмента и самодельных красок рисовальщик сумел придать фигурам особенное выражение. Пиковая дама походила на худую и строгую гадалку. Бубновая блондинка чем-то напоминала молодую сводницу. Короли были властны, валеты — развязны и хлыщеваты, особенно трефовый.

— Молодец. У кого рисовать учился?

— Так, сам балуюсь.

Одобрение непонятого прищельца звучало лестно.

Большоголовый хмуро сказал:

— Он только руку набивает. Вон Колесо — тот мастак.

Подкатилось без вызова некое чумазое существо, действительно необычайно кривыми ногами напоминающее колесо. На обрывке александрийской бумаги была изображена обыкновенным углем танцовщица, которую показывали в классе. Художник окончательно раздел ее и мастерски выполнил изгиб тела, падающего навзничь с заломленными руками.

— От нечего делать, — поведаль автор.

— Рисунки и карты я заберу, — строго сказал Погребинский.

Никто не возражал.

Погребинский увидел стоящий на полочке игрушечный дом. Он тоже выдавал руку мастера. Крыльцо, карнизы, наличники из тонкой драпицы просвечивали кружевной резьбой.

— Чем резано?

— Травлено каленой иглой.

— Это можно взять? — с некоторой уже нерешительностью спросил Погребинский. Ему казалось — хозяин пожалеет вещь: выделка ее потребовала дьявольского терпения.

— Семка, твой дом берут.

— А пуцай, — сонно и равнодушно ответил некто, укрытый одеялом. — Еще сделаю.

— Почему вы, ребята, плохо работаете в мастерской? У вас золотые руки.

— Кабы чему дельному учили, — глухо отозвался с постели владелец дома.

Другой добавил:

— Хорошо в клетке, да не как на воле. — Широко зевая, он совсем по-щенячьи проскулил: — Эх, воля — Крым — пески, туманы, горы, только и свет увидишь.

— У нас и стихи пишут, — похвастался большеголовый.

Погребинский вышел. После него долго молчали.

Наконец большеголовый раздосадованно вымолвил:

— Вот и еще трепач. А вы уши распустили... Где у нас картон, идиоты?!

Перед тем как пойти к члену коллегии за последними указаниями, Погребинскому захотелось посмотреть, чем беспризорников прельщает «роля».



## У КОТЛА

**В**ечером он переоделся в штатское, оставив на себе только неизменную кубанку.

Он заглядывал в темные подъезды домов. Там попадались скорченные фигуры беспризорников, слышались ругань, шопот. Беспризорники встречались на бульварах, у витрин магазинов. Погребинский не останавливался. Ему хотелось обязательно посидеть с ребятишками возле асфальтового котла.

Он увидел его за полночь на Трубной. Вокруг котла были разбросаны поленья дров. Ветер перекатывал с боку на бок оставленное рабочими железное ведро. Оно глухо громыхало по камням. Ребятишки жались к небольшому костерку, загорая его от ветра.

Один — голый, в лохматой кавказской папахе, выжаривал над углями вшей из рубахи. Другой грязной тряпкой перевязывал чугунного цвета палец ноги. Лучшее место у огня занимал самый взрослый. Он лежал навзничь, вытянув длинные худые ноги в грязных лаковых штиблетах, чахоточно кашлял и после каждого приступа кашля матерно ругался.

Погребинский раздвинул повелительно ближайших, сел в круг, поджав по-турецки ноги.

Парень в папахе с уважением посторонился, деловито спросил: — Контрабандист?

— Мал, чтоб знать, — ответил грубовато Погребинский. — Пожрать бы.

— Продай-Смерть! — хрипло позвал длинноногий, не меняя позы.

Из темноты вынырнул оборвыш. Тонкие его руки заканчивались в кистях синими острыми култышками.

— Продай-Смерть, гони булку!

— Гад буду — одна! Самому охота.

— Не сдохнешь. Тут вот человек пропадает.

Калека со вздохом передал булку, зажатую подмышкой. Погребинский разделил ее пополам с ним и принялся честно изображать голодного.

Он кивнул на култышки:

— Где угораздило?

— Трамвай отхрюпал.

— Плохая, значит, жизнь?

— Рачья. Совсем убогий. Работать не могу. Только и дела, что на стреме дрогнуть.

— Что это за прозвище у тебя?

— Разным кормлюсь. Когда жулики в шалмане загуляют до зеленых ангелов — подай им веселого. Хожу с ящиком — билеты продаю. Кому выпадет с хозяйкой-старухой спать, кому — себя стрéлить. У всякого — судьба.

Длинноногий вежливо дождался, пока гость насытится, потом осведомился:

— Или горишь?

— Кто теперь не горит, — пожаловался Погребинский.

— Чека, — вздохнул парень в папаче. — Говорят, всех брать станут, и без дела которые.

— Работать, что ли, заставят? — предположил Погребинский.

Перемогая кашель, чахоточный отрывисто говорил:

— Один конец. В тюрьме воля снится. На воле — скоро придут ночи... длинные, темные... сырые.

Приступ сухого кашля стал трепать его. Перестав кашлять, он приказал:

— Продай-Смерть, давай сказку.

— А стремить кому?

Длинный, не поднимаясь, толкнул ногой голого мальчишку в папаче:

— Иди.

Продай-Смерть угодливо согнулся над лежащим главарем.

— Какую сказывать?

— Все равно.

— Тогда я лучше свою быль.

Он не рассказывал, а скорее пел, гнусая и вздыхая:

— По Симбирской губернии течет долгая река Свияга. Мимо нашей деревни загибается, во темном лесу скрывается. Роса по травке сверкает, на реку туман пуцает. Камыши к воде пригибаются, а язи в воде бултыхаются. Тут закину я леску волосяную, восходит солнышко...

Вожак ткнул рассказчика ногой.

— Опять про язей ноешь, — захрипел вожак. — Вались ты к чорту со своим солнышком...

Он выругался длинно и бессвязно.

— Новую давай.

Калека с готовностью предложил:

— Тогда я про разбойников.



Он завел бесконечно о какой-то пещере на берегу моря, стены которой увешаны коврами, о шайке бандитов, развезжающих на белых конях, о красавице, зарезанной атаманом. Минутой позже красавица обнимала старого миллионщика.

— Чего клеишь, — не утерпел вожак, — зарезали ведь ее.

— Которую?

— С бриллиантами.

— А эта — под чадрой! Понимать надо, — невозможно поправился Продай-Смерть.

В сказке рекой лилось вино, сверкало золото, соблазняла вкусная пища. Неумный вымысел захватил слушателей. Послышался вздох:

— Пожить бы так.

— На том свете в лазарете, — отрезал длинноногий. — Кончай, Продай-Смерть.

На последнем слове сказочник вскрикнул:

— Терпенья нет. Может, веселую?

Веселой никто не захотел.

Светало. Огонь замирал. Лица ребят сделались пепельно-серыми.

Погребинский встал:

— Куда ты? — окликнули его.

— Скоро увидимся, — ответил многозначительно Погребинский.

Чохоточный понял это по-своему:

— В тюрьме места хватит.

# ПУТИ И ПОМОЩНИКИ

Через несколько часов Погребинский докладывал члену коллегии ОГПУ о своих наблюдениях и о возникших за эти дни намерениях.

Член коллегии не возражал.

— В основу нужно положить указание Феликса Эдмундовича о доверии, свободной обстановке, внимании к живому человеку, — подчеркнул он. — Тут можно значительно использовать опыт детских домов. Но... никаких «просветительно-культурнических» иллюзий. Пролетарская диктатура не шутит. Воры начинают понимать, что воровать безнаказанно им не позволят. От наших домзаков возьмем их дисциплину. Самое главное — это труд. Труд и доверие. Вот на этих началах и будем работать.

Погребинский продолжал свой доклад:

— Надо использовать неписанные законы профессиональной этики и склонность воров к романтике как орудие перевопитания. Воры ненавидят «лягавство» — измену своим. Направим эту ненависть против тех из них, кто попытается дискредитировать поведением устав учреждения, у которого еще нет имени. Воровскую спайку, основанную на страхе, будем стремиться переработать в товарищеское чувство к живущим в этом учреждении.

Член коллегии согласился:

— Делайте, но еще раз напоминаю, не умаляйте трудностей. Возвращаясь к практическим советам, он продолжал:

— МОНО изрядно балует ребятишек опекой, дает все готовое. У воров и без того достаточно много паразитических наклонностей. Пусть они все для себя делают сами. Хочешь надеть сапоги — спи! Нужен сапожнику табурет — сделай! Заставляйте на первых порах производить вещи, не требующие большой затраты труда и времени: вор экспансивен, ему захочется как можно скорее видеть результаты своей работы. Вы понимаете, конечно, что дело здесь не в сапогах. Их можно сделать быстрее, лучше и дешевле на фабрике, чем в кустарной



мастерской нашего учреждения да еще неумелыми руками. Дело в радости, которую испытывает преступник, почувствовавший себя впервые в жизни трудящимся, дело в трудовом энтузиазме, которым он несомненно заразится. Такие качества нельзя оценить деньгами!

Член коллегии говорил без пауз, легко. Должно быть, он много думал о программе и уставе нового воспитательного учреждения.

— Никакой охраны, принуждения, решеток не должно быть. Полная добровольность пребывания в коллективе. Высший закон для коллектива — постановление общего собрания. Мы скажем им: вот жилые дома, которые вы сами построили, вот мастерские, которые вы оборудовали, вот ваши инструменты, инвентарь, одежда, пища... Все это — ваше! Берегите приобретенное вами производство, имущество, умножайте его. Приближайтесь через это к социалистическому пониманию труда, управляйте собой сами...

Высшая награда для члена коллектива — решение общего собрания, что человек исправился и свободен в выборе местожительства, профессии. Если он оправдает такое доверие, с него снимается судимость, и даются права гражданства.

— Не разбегутся они у нас без охраны? — спросил полупутья Погребинский.

— Для того вы и поставлены, чтобы не разбежались. Все зависит от вашего умения заинтересовать их новой жизнью.

— Один вопрос, — обратился Погребинский, — как мы назовем наше учреждение?

— Назовем это учреждение так, как советовал Дзержинский: «Трудовая коммуна бывших правонарушителей».

Погребинский занялся организационными хлопотами. Прежде всего нужно было определить место будущей коммуны. Место требовалось особенное: в стороне от Москвы, чтобы нейтрализовать соблазны большого города, но в то же время достаточно близкое для деловых сношений и постоянного наблюдения. После долгих разъездов Погребинский остановил выбор на бывшем имении Крафта, в котором помещался совхоз ОГПУ. Здесь находилось все, что могла дать природа, — лес, пруд, река. Недалеко — станция Болшево Северной железной дороги. Если ехать от Болшева до Москвы поездом, то это занимает не больше получаса времени.

Затем предстояло решить нелегкую задачу — каким образом добиться того, чтобы первые пришедшие в коммуны уже встретили там известный установившийся распорядок коллективной жизни.



«Из домзака в коммуну». Картина художника-большевца  
И. И. Дронкина



Погребинский надумал переселить в Болшево сначала один из детских домов, дать воспитанникам несколько обжиться там, а затем привезти к ним партию воров из тюрем. Он облюбовал коммуны малолетних правонарушителей имени Розы Люксембург. Возглавлял ее Федор Григорьевич Мелихов — энергичный, седоусый мужчина с крупным педагогическим стажем и опытом. Как у многих старых педагогов, у него были недостатки, но этот честный специалист подкунал верностью и большой любовью к своему делу.

Мелихов согласился заведывать новой объединенной коммуной, но ему нужно было дать помощника.

Хотелось отыскать такого молодого работника, который, будучи свободным от педагогических предрассудков прошлого, мог бы в то же время усвоить лучшие стороны опыта Мелихова. Найти второго кандидата оказалось несравненно труднее.

Вечером, когда Погребинский сидел дома, в дверь постучали.

— Москва — и в самом деле большая деревня, — сказал тенорком вошедший посетитель. — Целый день бродил, насылу попал к тебе, Матвей. Что такой злой? После пятилетней разлуки надо бы, кажется, поласковее встретиться.

По количеству и остроте воспоминаний, связанных у Погребинского с неожиданным гостем, последний и на самом деле заслуживал радушного приема. Он совсем не изменился: все таким же клинышком носит каштановую бородку, на нем, как и прежде, красноармейская гимнастерка и фуражка. Когда на одном важном участке Восточного фронта, где был Погребинский, тиф начал косить последнюю боеспособную красноармейскую часть — батальон особого отдела, — именно этот человек, беспартийный врач Сергей Петрович Богословский, спас положение. Не имея достаточного персонала и медикаментов, он все же сумел переломить эпидемию, проведя много суток без сна, в нетопленных тифозных бараках.

Сейчас он ходил вокруг Погребинского мягко и почти неслышно. Его задушевный голос и плавные, округлые жесты могли внести спокойствие в самую нервную обстановку.

— Рад, сильно рад, — озабоченно говорил Погребинский. — Вот поставлю чайник. Поньем чайку, бывшее вспомним. Подайка спички. Воры тут у меня, Сергей, завелись.

— Что-то я не понимаю.

— И я не все понимал сначала... Недавно всю ночь ходил по Москве, — я теперь часто хожу. Насмотрелся. Сколько хороших ребятшек пропадает. Первостепенное, важнейшее начинаем дело.

— Какое дело, Матвей?

Хозяину казалось, что его должны понимать с полуслова.

Впрочем, Богословский давно знал его, знал, что последовательный рассказ впереди.

— Видишь, поручили мне организовать коммуну для исправления молодых воров. Дело невиданное в мире, — начал Погребинский.

Богословский слушал, задерживая дыхание. Иногда, не утерпев, он шептал:

— Это — да, вот это замахнулись!

— Нужного работника не могу найти, — огорченно заключил Погребинский и помрачнел.

Богословский понял, что бывший его фронтовой начальник, лучший товарищ, помогавший ему определить политические убеждения, находится в трудном положении, может быть, не менее трудном, чем тогда на фронте, во время эпидемии.

Сергей Петрович расчувствовался. Он положил руку на колено Погребинского:

— Право, Матвей, ты не грустил бы. Если возникли такие высокие мысли, значит, найдутся и люди. Для такого дела многие себя не пожалеют.

Получив образование на гроши, бегая по урокам, Богословский впитал еще в юности лучшую часть взглядов передовой интеллигенции. Революция заставила многое пересмотреть, научила видеть классовую борьбу. Идея трудового перевоспитания социально-вредных людей захватила его не только смелостью, но и глубокой человечностью.

Он продолжал повторять:

— Найдутся люди, найдутся!

Погребинский вдруг быстро и внимательно взглянул на него:

— Между прочим, ты где сейчас?

— В уездном городке, километров тысячу отсюда.

— Лечишь?

— Да, врачую.

— И такой же все, как прежде?

— То есть?

— Ну, по ночам дежуришь, стонешь вместо больного, лишь бы ему легче стало? И попрежнему тебя любят? — допытывался Погребинский.

— Да брось, вот еще...

Погребинский встал, протянул руку:

— Ударили?

— Это на какую тему?

— Идем ко мне в коммуну работать!

— Да ты смеешься?

— Ничуть.

— Какой из меня педагог! Я оскандалюсь в первый же день.

— Научишься... Я тоже учусь.



У Богословского заметно дрогнули губы:

— Матвей, ты видишь сам, как затронуло меня это начинание. Знаешь, как я могу увлечься делом... А вдруг провалюсь?

— Что мы с тобой первый день знакомы? Вместе ведь будем работать.

Богословский смотрел, как за окном на дворе несколько рабочих, выстроившись шеренгой, тащили на плечах двутавровую балку. Они сгибались под ее тяжестью и шагали враз, медленно, чтобы сохранить равновесие. Сергея Петровича невольно захватило их напряжение. Когда ноша, дружно сброшенная с плеч, загрохотала на камнях, у него вырвался облегченный вздох, точно и сам он освободился от тяжелого груза.

— Ждал я чего-то необыкновенного от нашей встречи. Вот и сбылось. Ну, чем я буду полезен в коммуне? Разве хворь какую лечить?

— Бесплезного я не позвал бы, — ответил Погребинский удовлетворенно.

# ДОБРАЯ ВОЛЯ

День этот протекал так же, как любой день в домзаке для подследственного. После обеда Накатников праздно лежал на нарах и прислушивался к доносившимся извне звукам. В коридоре слышался неразборчивый говор и тихое лязганье ключей. Кто-то, не торопясь, подходил к двери. Замок камеры был «с музыкой».

В воздухе проплыл протяжный певучий стон. Выводной просунул в дверь голову и коротко сказал:

— Накатников, Васильев, на допрос!

Накатников резким броском спрыгнул с нар и потянул за ногу спящего соседа:

— Вставай, Косой, клюет!

Васильев перевалился на другой бок и подобрал ногу. Из-под накинутой на его голову тужурки раздавался храп и сонное бормотанье. Накатников ухватился за босую ступню и стащил товарища на пол:

— Проспишь, Косой, благословенье-то! И не заметишь, как в Соловки отправят!

Васильев проснулся. Повидимому, он привык к бесцеремонности приятеля. Раскосые глаза его обстоятельно ощупали лицо выводного, затем скользнули в сторону Накатникова и выразительно прищурились.

«Тертые» парни понимали друг друга без лишних слов. Оба попали во внутреннюю тюрьму ОГПУ из арестного дома МУУРа. За каждым числилось несколько судимостей и приводов. Оба решили, что вызывают их для объявления приговора, и почти обрадовались предстоящей перемене: если даже объявят высылку, и то лучше, чем сидеть в камере. Воровская жизнь была полна неожиданностей и приучила смотреть на будущее бездумно.

Через минуту сопровождаемые молчаливыми конвоирами приятели пересекли двор и вступили в главный корпус. Васильев шел, сутулясь и широко ставя ноги. Живой и нетерпеливый, Накатников с любопытством смотрел по сторонам. Уд-



рать отсюда не было никаких надежд. Невольную тревогу Накатников прикрывал наигранной развязностью.

Он — еще молодой парень, довольно высокий, худощавый, с бледным лицом и длинным горбатым носом, с умными глазами. Несмотря на молодость он — уже опытный и бывалый вор. История его не велика, но выразительна.

Первые годы жизни представлялись ему неясными, как в тумане. Из ранних впечатлений запомнились лишь строгие губы матери да запах росного ладана. Мальчишка воспитывался в патриархальной, старообрядческой семье. Его детство было стиснуто запретами и страхом.

В переднем углу тесной квартирки всегда теплилась лампадка. Мать часто молилась за здоровье постоянно прихварывающего отца, служившего где-то на почте. Она была сурова и горда, но, стоя на коленях перед иконами и кланяясь им, она казалась такой приниженной и жалкой, что маленький Мишка обижался за нее и посматривал на лики святых недоброжелательно.

Мать говорила, что людей, не боящихся бога, побивает смертельный гром. Шестилетнему мальчику хотелось проверить это на опыте. Он подкрадывался в отсутствие матери к образам и вглядывался в изображения бородатых святых, изможденных и страшных. Особенно не нравилась ему одна икона. На ней был нарисован какой-то лысоватый старик с тихой, но язвительной уменшкой. Лампадка особенно ярко освещала его неприятное лицо, и в неровном колеблющемся свете казалось, что он шевелит губами. Мишка дул на чахленький огонек, со страхом ждал расправы. Грома не было.

Устами матери бог утверждал множество стеснительных правил. Вначале это были немудрые заветы: не есть без спроса сахар, не обманывать старших, слушаться мать и отца. Потом, с возрастом, правила усложнялись, в жизнь подрастающего человека входили понятия о «своем» и «чужом», о «должном» и «недолжном». Не кради, уважай своего ближнего, не лги, не пользуйся чужой слабостью — все эти заповеди выдавались за непререкаемые. Но Мишка уже замечал, что люди охотно крадут и еще более охотно лгут.

Будь семья Накатниковых побогаче, не падай на нее одно несчастье за другим, Мишка, вероятно, прожил бы свою жизнь покорно и трусливо, как жило большинство людей. Но с малолетства в нем загорелся беспокойный ум, заставляя мальчика удивляться явной путанице жизни, а бедность и затруднения, в которые попал он с матерью, беспокоили все больше.

В восемнадцатом году умер отец.

Мать стала торговать на базаре пончиками. Одиннадцатилетний Мишка начал помогать ей.

Базар шумел: кричал, хохотал, ругался. Густая толпа ползла между лавок и ларьков, задерживаясь в бойких местах. В толпе было тесно, как в овечьей отаре. Маленький торгош, ловко протискиваясь сквозь толпу, бежал, прижимая к боку корзинку.

— Пончиков! Пончиков! — кричал он тонким голосом. — Кому горячих пончиков?

Увлекаемый людским потоком, он был одновременно и действующим лицом и наблюдателем. Случалось, он забывал о пончиках и подолгу смотрел на бывалых базарных ловкачей.

Тесная кучка зевак толпилась вокруг шустрого галантереящика. Рогожка с пестрым его товаром лежала прямо на базарной мостовой.

— С пылу, с жару — всякого товару! Крючки, пряжки, пуговицы к рубашке, булавки, иголки, дамские наколки, язык тещин — злой да тощий, сережки, брошки, кусок ветошки, карандаши, бумага — кому чего надо?

Складная скороговорка привлекала покупателей. Вокруг обольстительной рогожки сбивалась живая ограда из домотканых рубах и цветных сарафанов. Быстрые руки продавца летали по разложенному товару. Пышной молодайке с жадными глазами торгош совал соблазнительные серьги, озабоченной старухе — дюжину стеклянных пуговиц, а мрачному мужику, глазеющему на продавца с откровенным недоумением, — деревянную трубку, кисет.

Мишка спешил дальше, мимо рыбных ларьков и мясных лавок: — Пончиков горячих! Пончиков!!!

В восемнадцатом году жизнь базара сосредоточивалась на «барахолке». Годами копленное обывательское добро обменивалось здесь на истрепанные кредитки или на мешок муки, соли, пшена. Стоптаные сапоги лежали на крышке старинного клавиесина, гоголевских времен шинель соседствовала с наимоднейшим матросским «клевшем». Притиснутая куда-нибудь в угол, нерешительно мялась с шелковой мантилей в руках древняя старушка, в глазах ее были обида и удивление. Медленно проходил тучный и важный бородач. Он продавал пару бронзовых подсвечников. Перекинув через плечо чьи-то брюки, лез через толпу тощий человек, обалдевший от забористого самогона, радостный, болтливый и ко всем в мире равно благожелательный. Здесь же между простодушными людьми, попавшими на базар случайно, шныряли перекупщики.

Мишка видел, как вещь, купленная за бесценок, тут же продавалась втридорога. Обман здесь считался вполне почтенным и законным оружием. Однажды какой-то бабе в обмен на пальто всучили вместо муки мешок мела. Сидя перед раскрытым мешком на корточках, баба утирала лицо засаленным рукавом.



Она уже не плакала, а как-то странно икала. Губы ее были замазаны мелом. Кучка базарных завсегдатаев смеялась и судачила вокруг.

— А ты, тетка, маляром заделайся! — подавал кто-то прощальный совет.

— Глядела бы, деревня, чего берешь!

Над простаками, не умевшими дешево купить, дорого продать, всучить заведомую дрянь, обмануть и извернуться, откровенно и без всякого сожаления потешались, как над юрдивыми. И мальчику начинало казаться, что все законы и правила только для того и нужны, чтобы, прикрываясь ими, легче было обдeldывать свои дела.

Мать Мишки брала пончики у булочника — своего родственника, тоже старообрядца. Большой рыжий мужик с умными пронизывающими глазами, он относился к ней покровительственно. По утрам в своей пекарне, когда он выдавал товар мелочным продавцам, рыжий казался важным, как поп, столь торжественны были его движения. Но он часто обсчитывал мать и, если та ничего не замечала, обстоятельно поучал:

— Какой же ты коммерсант, ежели в тебе хитрости нет? В торговле зубами рвать надо. Либо ты обманешь, либо тебя.

Мишка слушал поучения и метал на ус.

Каждый вечер сверстники Мишки, как и он, прирабатывавшие около базара, звали его в кино. Кино было тесно и запылено, но Мишка нигде не чувствовал себя так хорошо. Сгрудившись около уборной, мальчишки жадно курили и вели интересные разговоры. Приятели восторгались силачами вроде Мациста, Мишка же предпочитал сыщиков и воров. Частенько, возвращаясь из кино, он крался, выглядывая из-за угла, как преследующий добычу бандит, или бежал, кружил по переулкам, спасаясь от знаменитого сыщика из Чикаго. Кино переносило его в мир опасностей, стычек, приключений. Темные лики святых, скучная возня с пончиками, ежедневные материнские нравоучения отходили в сторону.

Но чтобы ходить в кино и не отставать от приятелей, нужны были деньги. Копеечных подачек матери не хватало. Однажды Мишка попробовал, пользуясь родственным доверием рыжего, забрать десяток-другой пончиков сверх положенного количества. Операция оказалась прибыльной.

На базаре часто били карманных воров. Мишка видел однажды, как вели растерзанного человека в милицию. Кровь текла из его носа. Дрожала и прыгала рассеченная губа. Позади вора бежал щупленький торгаш с сапогами в руках. Через каждые два шага торгаш наскakивал на вора и бил его сапогами по затылку. Физиономия торговца выражала счастье, словно он пользовался в этот момент какой-то редкостной и приятной

привилегией. Вор, втянув голову, мерно покачивался при ударах.

Разница между торговым обманом и воровством была на базаре неощутимой. Откровенно говоря, Мишка не совсем понимал, почему бьют вора. Существовали, повидимому, разные способы воровства: законные и незаконные, причем первые были только трусливее и скучнее. Мишка смотрел на избитого вора с невольной симпатией.

В тот же день произошло событие, имевшее важные последствия. Вернувшись домой, Мишка застал свою мать в слезах. Она поссорилась со своим родственником. Рыжий делец произвел с ней такой расчет, что она не получила ни гроша денег. Мишка насунился и, не сказав ни слова, лег спать.

Утром, как и всегда, он пришел к дяде за пончиками. В тесной пекарне толпились продавцы. Когда пришла мишкина очередь, дядя отстранил мальчишку рукой.

— Не будет для вас товару! — категорически сказал он. — Хватит, попользовались моей добротой!

Мишка посмотрел на его влажные, слегка отвислые губы. Внезапная злость вдруг стиснула его горло. Мальчишка бросил корзинку и, похабно выругавшись, хлопнул дверью.

В ту же ночь вместе со своими приятелями он отбил замок с амбара дяди. Дело было непривычное, но Мишка к собственному удивлению не трусил и даже не очень волновался. Собаки его знали и не тявкнули ни разу. Пока более взрослые товарищи возились у амбара, Мишка спокойно сидел на корточках у ворот, чесал за ухом мохнатого Полкана, глядел суетливую Майру. Ночь была тихая и теплая. За рыбными лабазами пели подгулявшие грузчики.

Добычу, состоявшую из муки и масла, взвалили на спины и, не торопясь, ушли. На следующий день Мишка с удовольствием увидел, что с дяди слетела вся его важность. Потеря по тем временам была чувствительной. Рыжий торговец без толку бегал по базару и лез за сочувствием к знакомым.

Так началась новая карьера Мишки. Иногда торгуя, иногда воруя, частенько смешивая то и другое, он отвоевывал свое место под солнцем. Базар, кино, случайные бульварные книжонки были его школой. Мало-помалу провинциальный городок начал казаться скучным и тесным.

В двадцать втором году Накатников приехал в Москву. Столица поразила его шумом, обширностью, количеством людей. Мишка шел по тротуарам, то-и-дело сталкиваясь по привычке с прохожими. С грохотом и звоном тащились переполненные трамваи. Выстрелами и взрывами сопровождался бег полураз-



битых, испорченных авто. Все торопилось, бежало, орало. Казалось, в таком большом городе можно было сойти с ума, повеситься или убить кого-нибудь, и все равно на это никто не обратит внимания.

Мишка дошел до «Василия Блаженного», полюбовался диковинными его завитушками и той же дорогой вернулся на вокзал. В сущности он не знал, зачем сюда приехал. Даже хотелось снова сесть в поезд и уехать домой.

Приближалась ночь. На оставшиеся деньги Мишка купил ломоть хлеба и присел в укромном вокзальном углу для трапезы. Вокзалы в те времена были похожи на бивуаки. Вокруг Мишки в дикой пестроте лежали, сидели, спали, смеялись, плакали, пели. Многие люди казались просто кладью, пересылаемой по неизвестному адресу, — так безразличен и безучастен был их вид. Иные, наоборот, чувствовали себя, как дома. Рядом с Накатниковым, прямо на грязном вокзальном полу, уселся парень. Одет он был в неопишемую рвань — грязные пальцы торчали из рваных сапог. На голове у него было нечто среднее между кепкой и татарским малахаем. Он держал гигантский малосольный огурец и заразительно ухмылялся.

— Даешь хлеба! — просто и приятельски сказал парень, протягивая Накатникову половинку огурца.

Накатников поделился с ним хлебом, и на этом знакомство состоялось. Через полчаса биография весельчака была известна в подробностях. Это был беспризорник, квалифицировавшийся в домушника. Он только что вышел из Бутырок и настроен был жизнерадостно. Через час новые знакомые уже столковались.

На следующий день с чердака одного из обширных московских домов исчезло развешанное белье. Накатников стоял «на стреме», орудовал же Снегирь — так звали нового приятеля. Предприимчивый малый работал быстро и точно. Через каких-нибудь пять-шесть минут ловко увязанные узлы путешествовали на плечах у парней.

На Сухаревке удалось скоро и без осложнений сбыть украденное случайным покупателям. Сидя потом в ближайшей пивной, Накатников и приодевшийся Снегирь чувствовали себя как нельзя лучше. В пивной было тесно, шумно и после вокзала даже уютно. Теплое пиво приятно горчило. Накатников посматривал на окружающих со степенностью возмужалого человека, вступившего, наконец, на правильный путь.

Ночевали уже в дорогомиловской ночлежке. В полутьме огромного помещения среди разбросанных по нарам тел и грязного тряпья Снегирь свел нового знакомого с дорогомиловской «шпаной».

Ночью играли в карты. Остроумный парень с вывернутыми какой-то болезнью веками — анк. Каждый раз, сбрасы-

вая карту, он шлепал непомерно толстыми и красными губами и хриплой октавой говорил:

— Дама бубней и валет, четыре с боку — ваших нет!

Жадные, возбужденные взгляды игроков сопровождали движения его больших неопрятных рук. Мишка вошел в азарт. Пылкое его воображение требовало героического жеста. Он выбросил на нары всю заработанную наличность:

— Крой!

Банкомет насмешливо посмотрел на партнера и явно, подчеркнуто явно передернул карты. С Мишкой как с новичком не считались. С равными можно было играть, его же — только обыгрывать. Широкой своей лапой парень сгреб мишкины деньги и пренебрежительно проронил:

— Откатывайся!

Что-то горячее толкнулось вдруг в мишкиной груди, и он хлестнул по ухмыляющейся физиономии кулаком.

Все последующее развернулось в течение нескольких секунд.

Парень, как-то странно, не по-человечьи, зарывав, бросился на Накатникова. Теперь, когда он вскочил на ноги и поднял гигантские кулачища, несоответствие противников бросалось в глаза. Худощавый Накатников казался Давидом перед этим блатным Голиафом. Мишка был беспощадно избит.

Зрители, как всегда, поддерживали сторону сильнеешего. Но Мишка дрался отчаянно. Сшибаемый с ног, окровавленный, он вскакивал и снова лез на своего противника, пока не получил такого удара, от которого уже не мог подняться. Именно после этой драки он стал в «дорогомиловке» своим человеком.

Было в ухватках и поведении Накатникова что-то непосредственное, смелое и хищное, что привыкли ценить в блатном кругу. Год спустя после приезда в Москву он уже вполне акклиматизировался. В слишком опасные дела он пока не ввязывался, но в случае надобности он безусловно не остановился бы ни перед чем.

Жизнь текла в бездумной суете, дни проходили, не оставляя прочных следов. Правда, бывали и трудные времена. Не раз побывал Накатников в арестном доме. Там, на досуге, он мог подумать над своей судьбой. Но он не пользовался этой возможностью.

Думать, думать и думать — от этого пустого занятия Мишка не видел никакого толка. О чем думать? О прошлом? Не для чего... О настоящем? Бесплезно думать о нем. Нужно не думать, а просто как-нибудь устраиваться. О будущем? Там все темно... Что там может быть? Нет, туда лучше на заглядывать.

Работал он в доле с известным среди дорогомиловских воров пожилым и солидным Зубом.



Зуб был широкой натурой, и знаменитые его кутежи возбуждали зависть воров помельче. Толстяк, с полным ртом золотых зубов, он рассыпал вокруг себя веселость и смех. Он походил скорее на дореволюционного богача, который всю жизнь стриг купоны. Сияющее лицо, маленькие масляные глазки, беспредельное его благодушие и общительность располагали к нему любого человека. Так с шутками, каламбурами и острым словцом и обдeldывал Зуб свои дела.

С возрастом опустившись и потеряв былую расторопность, он не гнушался всяким заработком: учил молодежь разным воровским штукам, возглавлял компании карманников, домушников и железнодорожных воров. Накатников стал чем-то вроде его ближайшего подручного.

Зуб был очень вспыльчив и, всплыв, зверски избивал молодых воров. Однажды досталось и Накатникову. Мишка вытер рукавом окровавленное лицо и, повидимому, воспринял эти побои как должное.

Вскоре Зуб загулял. С песнями, с целым хвостом собутыльников и друзей он обходил одну пивную за другой. Разойдясь, он показывал фокусы: выпивал без помощи рук воткнутую в зубы бутылку. Золотая его пасть сияла в свете электрических ламп. Бутылка торчала кверху дном, и жидкость лилась в необъятное зубовское нутро, как в порожний бидон. Зуб взбирался на стол и откальвал под звуки заливистого баяна такого лихого трепака, что зрители, восторгаясь, лезли к нему целоваться. Рубашка была расстегнута на груди Зуба. Рыхлое тело, поросшее мягким рыжеватым пушком, вываливалось в прореху, как студень. Щеки дрожали. Таким его и запомнил дорогомилловский блат.

На следующий день утром Зуба нашли во дворе одной из пивных. Тучный весельчак лежал почти голый, без сапог, без шапки, даже без пиджака. Золотые зубы были вырваны. На месте рта зияла кровавая дыра.

Кто убил и ограбил Зуба — осталось неизвестным. «Пахань» говорили, что это мог сделать только молодой вор, до которого не дошли еще строгие блатные законы. Накатников был вне подозрения. Зуб как раз послал его с поручением в другой город.

Очень скоро Накатников понял, что ложь является могущественным средством, и широко пользовался ею. Обман доставлял добычу, выручал из рискованных положений. Накатникову нередко приходилось попадать в облавы. Он искусно разыгрывал роль простоватого паренька, случайно попавшего в воровскую среду. Жалостливые небылицы, которые он наспех придумывал, возбуждали живейшее сочувствие. Парня не раз отпускали, направляли на работу или в приемник.

Неизвестно, что случилось бы с ним, если бы воровская его карьера развивалась до революции. Вероятно, из него вышел бы наглый, опытный вор, а может быть, даже бандит. Но с некоторых пор начались непонятные и невиданные для блатного мира события. Воров начали «брать без дела» и отправлять в трудовые лагеря. Попался и Мишка. Теперь во внутренней тюрьме ему предстояла решительная схватка, и он готовился выкручиваться любыми средствами.

В коридорах этого обширного здания было тихо и безлюдно, как в больнице. Знакомой мууровской суматохи здесь не было и в помине. Бесшумно открывались двери, изредка попадались навстречу люди с серьезными, озабоченными лицами. Типшина веяла спокойствием, уверенностью. Накатников привык уважать силу и потому шагал по коридору с невольным почтительным страхом. Собственно это был даже не страх, а какая-то смутная непривычная тревога. В МУУРе он, вероятно, громко стучал бы каблуками, разговаривал и зубоскалил, здесь же, подчиняясь общему тону, покорно молчал и ступал по паркету осторожно, почти на цыпочках.

Парни вошли в просторный и светлый кабинет.

Через большое окно в комнату заглядывал прозрачный сентябрьский день. На фоне темных обоев четко обозначился голубой сияющий прямоугольник. Косо пересекая его, совсем близко, стремительно пролетел голубь. С улицы доносились приглушенные трамвайные звонки и автомобильный рев. Накатников и Васильев воровато обменялись взглядами — такой близкой и доступной казалась улица.

У письменного стола сидело двое людей. Один из них — военный с подвижным выразительным лицом — разговаривал по телефону. Он кивнул головой на диван. Воры уселись.

Накатников намеренно громко кашлянул и независимо положил ногу на ногу. Впрочем, через минуту он уже принял позу поскромнее. Странное и не совсем понятное смущение овладевало им. В ГПУ ему приходилось быть в первый раз, и он еще не нащупал нужной линии поведения. Он хорошо понимал значение мелочей и старался производить на людей выгодное впечатление. Иногда он прикидывался наивным, забитым простаком, который может быть только орудием в чужих руках. Иногда напускал на себя необыкновенную развязность, поражал остроумием или дерзостью. В МУУРе, например, он разговаривал с агентами со снисходительным апломбом, всякий серьезный вопрос превращал в шутку, словом, как он сам потом определял, «брал на ура». Здесь он испытывал чувство некоторой растерянности. Чекист, сидящий за столом, был опасен своей неразгаданностью, и Накатников почти обрадовался, что первым с ними заговорил штатский.



Это был человек среднего роста, плотный, с уверенными движениями и спокойным взглядом. Он встал с кресла, тяжело ступая, продвинулся к парням поближе. Некоторое время он пытливо всматривался в них, словно узнавал давних знакомых, затем, вздохнув, уселся рядом на диване.

— Вот что, ребята, — негромко сказал он наконец, — парни вы молодые, жить хотите, а жизнь-то ваша, чорт знает, как проходит.

Человек хлопнул ладонями по коленям, выражая этим движением сожаление и досаду.

— По тюрьмам, по притонам, по грязи третесь, — с подчеркнутым отвращением продолжал он. — Пора эту музыку кончить, подумать о чем-нибудь поумней. Как смотрите?

Парни настороженно, выжидательно молчали.

Начало им нравилось очень мало. Было непонятно, куда клонит этот человек.

— По ночлежкам вам, надо полагать, трепаться надоело. Впереди у вас, если не бросите воровать, Соловки, ссылки, концлагери. Нехорошо так, ребята. Не годится! Совсем никуда не годится!..

Повторяя одни и те же слова, человек произносил их все убежденнее и сильнее.

— Мы берем молодых, вот вроде вас, не окончательно испорченных воровской средой. Из таких парней мы организуем коммуны, где они будут перевоспитываться, сделаются советскими людьми. Хотите пойти туда? Там вы приобретете квалификацию, станете опытными рабочими и сможете навсегда бросить воровство. Вот сейчас с вами товарищ Погребинский об этом поговорит.

Человек, которого называли Погребинским, положил телефонную трубку. Он бросил на ребят решительный и быстрый взгляд.

— Ну, как? Пойдете в коммуну? — отрывисто произнес он.

Накатников медлил с ответом. Кое-что парни начали уже соображать. Коммуна представлялась, разумеется, делом темным, но возможность жить где-то не в тюрьме, откуда при случае можно «дать драпу», показалась привлекательной.

— Отчего ж не пойти? Пойдем! — мрачно сказал Васильев. — Самим надоело...

При этих словах он незаметно ткнул приятеля локтем.

Накатников в предупреждениях не нуждался. Он готов был «клеить» и «темнить», сколько угодно, но предложение все-таки озадачивало его. Недаром ГПУ пользовалось в воровской среде репутацией учреждения сложного и непонятного. Вместо объявления приговора — неожиданные разговоры о какой-то коммуне. Будь это МУУР, все было бы просто и ясно, здесь же при-

ходилось шевелить мозгами, чтобы не попасть впросак. Накатников посмотрел на сидящего за столом человека в упор, но не выдержал и отвел глаза. Случай был все-таки из прибыльных, и упускать его не стоило.

— Конечно, пойдем, — поддержал он Васильева. — Это правильно. Самим холку натерло. Теперь благовать-то — не при царском режиме.

Последнюю фразу Накатников прибавил не без расчета. Он хотел «попробовать» этого чудака на лезть.

Погребинский ухмыльнулся и пытливо посмотрел на Накатникова.

— Ну, вот и прекрасно, — сказал он. — Ты, я вижу, хлопец тертый. Учиться будешь, на рабфак пойдешь...

И он начал подробно рассказывать о коммуне.

От парней требовалось только не воровать, не пить, не нюхать кокаина и подчиняться общему собранию. Каждый уголовник должен в коммуне работать и хорошей работой и поведением может добиться снятия судимостей.

— Дело добровольное, — объяснил он. — Не хочешь — не иди... А пошел — так держись крепко. Сами собой управлять будете, сами и законы себе будете устанавливать. Парни вы толковые, и люди из вас могут получиться настоящие.

Погребинский говорил отрывисто, резко, но иногда между слов, как бы случайно, проскальзывали мягкие, ласковые нотки. Парни слушали и торопились соглашаться.

— Все-таки вы мне дайте слово, — потребовал Погребинский, — раньше, чем в коммуне не побываєте, деру не задавать. Тебе я верю, — приятельски кивнул он в сторону Васильева, — а ты вот скрытен очень, говоришь не то, что думаешь... Ну, обещай, дай слово, скажи: лягавый буду — из коммуны не уйду, — предложил он Накатникову.

Тот охотно поклялся. Побожиться перед «лягавым», хотя бы самой страшной уголовной клятвой, он считал ни за что. Разве могло это помешать ему уйти при первой okazji?

— Вы живете в Советской стране, — продолжал Погребинский. — Нашей целью является не наказание, а исправление преступника. Вы еще молоды, перед вами целая жизнь. Что вам дает воровство? Ночлежку, кокаин, сифилис, тюрьмы. Коммуна откроет вам выход в мир. Может быть, в тебе сидит математик или инженер, — посмотрел он на Накатникова, — а ты по окошкам лазаешь. Сами себя обкрадываете вы — вот что.

Накатников против воли представил себя на минуту инженером, и ему стало смешно. Вот бы таким фрайером с молоточками в дорогомилдовскую ночлежку явиться! Разговор в конце концов получился не лишенный занимательности. Не будь это работник ГПУ, с ним можно было бы приятно поболтать.



— Ну, так, значит, поладили, — заключил Погребинский. — Готовьтесь к коммуне. Через недельку поедете туда жить.

Он встал и, постукивая согнутым пальцем по столу, внушительно повторил:

— Ну, помните же, идете в коммуну по своей воле. Так смотрите же, не подводите, я за вас отвечаю, как за себя.

В камеру парни вернулись немного взволнованные. Предложение все-таки всколыхнуло смутные надежды, которые каждый оставлял при себе. Разговаривали об инциденте не иначе, как с насмешкой.

— Зафоловать хотят, гады, — небрежно бросил Васильев, валясь на нары. — Да только зря разоряются. Рылом не вышли, чтобы дорогомилловских разуму учить.

Помолчав, он прибавил:

— Посмотрим, что у них за коммуна такая...

— А разве ты туда собираешься? — удивился Накатников. — Утечь-то, надо думать, и по дороге можно...

— А оттуда нельзя, что ль? Удрать всегда успеем. Что нам, малярам? Понравится — поживем, не понравится — уйдем! Сам же говорит — по своей воле.

На этом и порешили.

# НОВОСЕЛЬЕ

**Н**а платформу дачного полустанка высадились необычные пассажиры. Они моментально подобрали все окурки, валявшиеся на путях. Это приехал в Болшево детский дом имени Розы Люксембург.

— Дети, зачем всякую дрянь в рот берете? — убивалась тетьа Сима, воспитательница детдома.

— С новосельем угостила бы нас «Ирой», — огрызнулся Умнов, низкорослый шестнадцатилетний парень.

— Маленьким вредно курить!

— Бог подаст за такие разговоры...

Местная публика с любопытством присматривалась к гостям.

— Погулять приехали? — вежливо спросил степенный мужчина, давая прикурить Умнову.

— На постоянное жительство, — не без достоинства ответил Умнов. — Заходите по соседству — с приятным человеком приятно познакомиться...

— В совхоз ГПУ беспризорников пригнали, — объяснил какой-то «знающий» гражданин в сдвинутой на самый затылок мятой кепке.

— Теперь держись, мужички, курочек пощупают!

Выйдя на дорогу, проложенную в старом еловом лесу, ребята разбежались. Спокойный важный лес, полный острых запахов и птичьих голосов, манил их. Под каждым пнем им чудилось по грибу. На каждом дереве — птичье гнездо. День был безоблачный, и в темном лесу кое-где золотыми брызгами падали солнечные лучи. Тете Симе, чтобы не остаться одной, тоже пришлось свернуть с дороги в лес. Стараясь удержать ребят около себя, она рассказывала им, что прежде эти места принадлежали фабриканту конфет — Крафту.

— В революцию фабрикант Крафт сбежал за границу. В его имени ГПУ организовало свой совхоз. А теперь здесь будете жить вы...

Окруженный хвойными деревьями, возвышался серый бревчатый дом, покрытый ржавой железной крышей. В подсле-





«Усадьба Крафта». Осенью 1924 года сюда привезли  
первых правонарушителей

поватые тусклые окна заглядывала из палисадника пышная зелень. Напротив, через дорогу, поблескивали стеклами ровные ряды оранжерей и парников. Еще дальше виднелись приземистые усадебные строения и запущенный, обсаженный плакучими ивами и сиренью пруд. Вправо от пруда раскинулся липовый парк, влево — сад, узловатые длинные ветки старых яблонь гнулись под тяжестью плодов; от сада ненаезженный проселок уводил к выгону, за которым ютились под соломенными крышами неприглядные избы деревеньки Костино.

Воспитанников встретили Погребинский, Мелихов и еще какой-то обрюзгший мужчина.

Погребинский уже успел познакомиться с ребятами. Несколько дней тому назад он пришел в детдом, собрал их в столовку и спросил:

— Надоело коробки клеить?

— Надоело, — весело ответили ребята.

Они уже ожидали от гостя чего-то забавного и в то же время значительного.

— На вокзал хочется? — продолжал гость.

Ребята притихли. Многим этот вопрос показался щекотливым. Наконец один нашелся и не без удали ответил за всех:

— Захочется, тебя не спросимся...

— Как тебя зовут-то? — спокойно полюбопытствовал Погребинский.

— Котов!

— Прогадаешь, Котов, — и Погребинский лукаво посмотрел на остальных ребят, точно они были его сообщниками.

— Ты не волнуешь — не с маленькими разговариваешь, — отрезал Умнов.

Погребинский взгляделся в его худенькое, сосредоточенное лицо. «Кажется, дельный мальчуган», подумал он.

— Ну что же, волнуешь не будем! — и он подошел к ребятам поближе.

— Есть у нас с товарищем Мелиховым предложение — людей из вас сделать...

— Придет время — сами сделаемся! — ухмыльнулся Котов.

Мелихов, заведующий детдомом, строго посмотрел на Котова, потом и на всех ребят. Ребята присмирели.

— Хочется нам из вас столяров, кузнецов, слесарей, сапожников сделать, — продолжал Погребинский, не обращая внимания на острооты Котова. — У тебя отец-то кем был? — неожиданно спросил он Умнова.

— Шофером...

— Профессия дельная... Погиб?

— Да, — сказал Умнов.

Участие этого чужого человека к отцу польстило ему.



— А мать?

— А мать, как увидела мертвого, тут же и умерла от разрыва сердца.

— С тех пор ты и бродяжничаешь?

Этот вопрос задел Умнова за больное место. Он давно уже затаенно мечтал о «настоящей» спокойной жизни, завидовал всем, кто жил ею. И поэтому он, охотно отвечавший на вопросы Погребинского, пока разговор шел о родителях, теперь вдруг озлился и крикнул:

— Ребята, поп пришел! Исповедует! Федор Григорьевич, где будем причащаться-то?

— В коммуне! — невозмутимо сказал Погребинский.

— В какой такой коммуне? — спросил Котов настороженно.

— Разве я вам еще не рассказал? Ну, так слушайте...

И ребята узнали, что их детдом предполагается перебросить из Москвы в Болшево.

— Вы там сами себе хозяева будете, — говорил Погребинский. — Заведете мастерские — заказчики к вам ходить будут. Будете деньги зашибать. Трудовая-то копейка — слаще ворванной... Едем?

Ребятам это предложение понравилось. Жизнь в Болшеве им рисовалась в розовых красках. Одним — Умнову и его друзьям — понравилось, что они будут налаживать хозяйство в коммуне, другим — это были в большинстве товарищи Котова — нравилась предстоящая вольготная жизнь, и коммуна в их представлении походила на веселый шалман. Котовцы, смеясь над Умновым, дразнили его «скопи-домоко», и Умнов, разозленный, неоднократно бросался на Котова с кулаками.

— Ну, ты еще не дорос до моих зубов, — снисходительно отпихивал его от себя Котов.

Но эти ссоры никому не мешали ожидать с нетерпением переезда. Стены детдома теперь казались постылыми. Ребятам было уже тесно и нудно здесь. Их безудержная фантазия наделяла будущее болшевское житье несбыточными и маловероятными обстоятельствами. Здесь были и охота на диких уток с ночевками на болоте и амуры с пышными молочницами... Иные же мечтали о том, что будут служить в ОГПУ и станут щеголять в галифе и хромовых сапожках. Все чувствовали себя приподнято, понимали, что их жизнь ломается, и это каждого заставляло думать о будущем...

Погребинский и Мелихов были настроены радостно. Они давно и нетерпеливо поджидали ребят; Погребинский был доволен, что ему так хорошо удалось подобрать место для организуемой коммуны.

Новое большое дело начиналось, повидимому, в благоприятных условиях.

Мелихов всегда мечтал о педагогических опытах большого размаха.

Планы организации трудовой коммуны правонарушителей захватили его. Погребинский неоднократно говорил ему, что в будущей коммуне необходимо поставить правонарушителей в такие условия, чтоб воспитанники по-настоящему работали. Не пичкать их трудом по рецепту, точно лекарством, а сделать труд таким же естественным содержанием жизни коммунара, каким он является для всякого пролетария в Советской стране. Он говорил, что не будет толку от навязывания бывшему вору учебы, политграмоты и газеты, когда еще одно упоминание об этих вещах вызывает у него ярость.

Ключ успеха лежит в умении создать такие условия, чтобы вкус к знанию возникал у коммунаров из нормальных потребностей их жизни.

Когда Мелихов слушал эти доводы, они казались ему неотразимыми, и он сам шутил над оранжерейной практикой некоторых известных ему колоний для беспризорных. Но когда он представлял себе, как это все будет на практике, то получалось менее ясно.

Со своими воспитанниками он, конечно, справится, но как обернется дело по перевоспитанию «урок»-рецидивистов? И он с тревогой думал о том дне, когда к его воспитанникам прийдут настоящих матерых воров. Порой ему казалось, что «урки» разбегутся, сманив детдомовцев. А он любил своих ребят, болел за их судьбу... Как-то все это сложится?

Ребята окружили Мелихова и Погребинского.

— Ну, знаешь, местечко — что надо, — сказал Умнов, здороваясь с Погребинским.

— Нравится? — засмеялся Погребинский. — Это вот хозяйство! Смотрите: пруд! Жареными карасями обеспечены. Ловите, не ленитесь. А вот и оранжерея и фруктовый сад. Эх, яблок-то, как футбольные мячи! Хорошо хозяйство? То-то. А то завели поросенка Машку — нос задрали: мы, дескать, настоящие хозяева!

Поросянок Машка уже мирно бродил под елками, пытаясь розовым пяточком выворотить корневище. Имущество детдомовцев лежало в лопухах у крыльца низенького деревянного домика с порьжевшими наличниками окон. Котова не было — он осматривал окрестности. Ребята алчно посматривали на фруктовый сад, на пруд, на таинственные оранжереи. Хотелось как можно скорее все пощупать, посмотреть, попробовать. Незнакомый толстый мужчина хмуро и недружелюбно слушал Погребинского.



— Вы все же здесь не особенно хозяйничайте! Яблоки-то еще не созрели! — сказал он вдруг сердито.

— Это что за пузо? — нарочно громко и как можно оскорбительнее произнес Умнов.

Мелихов строго остановил его:

— Не груби, запомните все, вы—коммунары. Вы должны быть вежливыми! Познакомьтесь, — кивнул он на толстого, — товарищ Медвяцкий, заведующий хозяйством.

Ребята, гримасничая, по очереди пожали руку Медвяцкому.

— У тебя что же, здесь везде «висячки» присобачены? — спросил Медвяцкого Почиталов.

— Не понимаю, — брезгливо сказал Медвяцкий.

— Он не понимает! — весело крикнул Почиталов, и все остальные ребята, хохоча и кривляясь, закричали, показывая пальцами на завхоза:

— Он не понимает!!!

— Ну ничего, дядя, мы к «висячкам» «мальчиков» подберем, — успокоил Умнов смущенного Медвяцкого, и ребята, довольные своей шуткой, пошли разыскивать Котова. Все они были уверены, что непременно найдут его в фруктовом саду.

Медвяцкий вот уже два года заведывал совхозом. Он привык здесь к спокойной и сытой жизни. Теперь он чувствовал, что его спокойствию пришел конец. Он был зол и на Погребинского и на Мелихова.

— Врагов наживете здесь, — сказал он им.

— Каких врагов?

Медвяцкий кивнул по направлению к деревне Костино, крайние избы которой вплотную примыкали к постройкам совхоза.

— Ваши сорванцы ведь никому покоя не дадут.

— Мы привыкли с врагами встречаться, — ответил Погребинский.

Медвяцкий не нашел ответа и, недовольный собой, медленно пошел к деревне. Там у него были дружеские связи. До последнего часа он еще надеялся, что затае с коммуной лопнет, как дождевой пузырь, что в Москве передумают и все останется по-старому. Но вот банда приехала, а вскоре жди новую. Что же теперь — уходить с насиженного хлебного места?

В Костине уже прослышали о приезде «жуликов». В избе своего приятеля Савина, по кличке «Купить-продать», Медвяцкий нашел компанию встревоженных мужиков.

— Поздравляю трудовое крестьянство, — сказал Медвяцкий.

— С чем бы так? — поинтересовался богатый мужик Разоренов.

— Значит, верно?.. Приехали?.. — тихо и вежливо произнес «Купить-продать».

— Приехали бандиты, — сказали сердито оба сразу — братья Немухины.

— Не бандиты, а правонарушители, — протянул Медвяцкий. — Советская власть их думает перевоспитать, — наставительно добавил он и строго посмотрел на Немухиных.

— Не воры, а душители, — ухмыльнулся Разоренов. — Несовершеннолетние эти мазурики у нас все вверх ногами повернут, всех обокрадут, да и вам, Владимир Григорьевич, в рот заедут, — продолжал он, обращаясь то к мужикам, то к Медвяцкому.

— Век прожил, а никто пока не заезжал ко мне в рот, — возразил Медвяцкий.

— Что же они, без решеток будут? — любопытствовали мужики.

— Без решеток! — подтвердил Медвяцкий. Он помолчал и добавил: — Работать будут!

— Не способен вор работать, — убежденно сказал Разоренов, — пропащий народ!

— Может, это какие лучше? — с надеждой спросил Мишаха Грызлов.

— Добра не будет, добра не предвидится, — твердил Савин.

— В революцию бы сжечь это проклятое имение! — сказал Грызлов.

В избу бурей ворвалась бабенка Карасиха. Ее не по годам молоджавое лицо было заплакано.

— Ты что, Настасья? Или что попритчилось? — спросил Разоренов.

— Пошла я в лесок около совхоза, — с плачем тараторила Карасиха, — и вот окружили меня эти ворюги: «Бабушка, слышь, узелок-то с петушком у тебя улетел». Какая я им бабушка, охальники!..

— Да стой... говори толком. Какой петушок, какой узелок?

— Петушка-то я придумала, чтобы ладней с ними говорить... Петушок, мол, у меня пропал, не видали ли. А узелок мой они в это время из-за пазухи и вытащили.

— Уголовство! Грабеж! — внушительно сказал Разоренов. — Сколько взяли?

Карасиха перестала плакать. Она окинула пристальным взглядом мужиков. Узелок ее и теперь грелся на тощей груди. Ребята и в самом деле было вытащили его, но тотчас же вернули, довольные тем, что поразили тетку ловкостью своей «работы». Под взглядом Разоренова Карасиха почувствовала, что мужики ждут большего.

— Червонец вытащили, окаянные, — нерешительно сказала Карасиха. — Мужики, — притворно всхлипывая, воскликнула



она, — что я вам скажу — это еще не воры, а ворята. Настоящие-то воры впереди. Со всей Москвы собирают, самых отпетых.

Мужики угрюмо молчали. Карасиха, довольная произведенным впечатлением, сложила на груди руки.

Медвяцкий поднялся.

— Баба верно сказала, — подтвердил он, — скоро из Бутырок бандитов пригонят.

Потом он надел шапку и ушел из избы.

— Вот что, старики, — решил, наконец, Разоренов, — это все — местная власть. Все она допускает. Хоть в могилу ложись. Бандюков и воров надо на цепь сажать, а они на крестьян их напустили. Главное начальство, может, и слыхом не слыхивало про это безобразие... Давайте бумагу писать Михал Иванычу. Он им окоротит руки с этой коммуной.

— Уберут враз!

— Пиши!

Разоренов задумался. Может, тут и не местная власть. Может, она, местная-то, и сама не рада. А тогда у кого защиту искать? Э-э... была не была... Хуже-то некуда!

— Пиши, пиши, — ободрял его «Купить-продать».

— Настасья! — сказал Разоренов, — обойдешь по дворам, кликнешь мужиков, слышишь? Мы тебе по гривеннику соберем за твою работу.

— Как ласточка, облетаю, — согласилась Карасиха.

Вечером, охорашивая свой новый уголок, тетя Сима обнаружила пропажу дневников. Взволнованная, она побежала к Мелихову.

— Я брошу все, я уеду... Они истерзали мое сердце!..

— Что еще за беда стряслась? — спросил Мелихов.

— Они украли у меня самое интимное.

Тетя Сима так расстроилась, что упала на стул и зарыдала. Мелихову было не до женских слез и не до утешений. Он сам был угнетен событиями сегодняшнего дня. Первый день жизни коммуны был для Мелихова тяжел и горек: распрощавшись с детдомом, ребята забыли про дисциплину, самовольничали и не проявляли никакой склонности к трудовой жизни. Даже самые отзывчивые воспитанники, как Умнов и Почиталов, отбились от рук. Несмотря на настойчивые призывы Мелихова никто из ребят не захотел сегодня вымыть полов в своих комнатах. А Умнов неожиданно ответил Мелихову совсем не свойственной ему фразой: «Работа дураков любит».

Обстоятельства осложнились еще тем, что Медвяцкий приехал на обед прокишее молоко. Ребята, поскандалив, перебили

всю посуду. На все это Мелихов готов был махнуть рукой. «Пройдет несколько дней, — рассуждал он, — и все уладится». Всего же больше его расстроило сообщение Медвяцкого, что воспитанники обокрали деревенскую женщину.

— Мужики волнуются, — многозначительно говорил Медвяцкий. — Знаете, деревенский народ скор на расправу. Эх, сидеть бы вам в Москве. Все было бы тихо-мирно.

Мелихов и до этого знал, что костинские мужики смотрят на то, что делалось в совхозе, косо. В ограбление женщины ему не верилось, но самый факт появления этого слуха говорил о недоброежелательстве и злобе. Все это угнетало Мелихова, и он готов был с сожалением вспомнить о размеренной московской жизни. Рыдания тети Симы были последней каплей, переполнившей чашу.

— Да говорите же, наконец, что там стряслось? Убили? Подожгли? Разбежались? — крикнул в раздражении Мелихов.

— У меня украли дневники, — сквозь рыдания проговорила тетя Сима.

— Фу, чорт!.. — не сдержался Мелихов, но тотчас же овладел собой. — Да что вы, право, плачете, — говорил он тете Симе, стараясь загладить свою грубость, — дневники... Эка важность!.. Не слишком уж великая утрата!..

— Ну ладно, пойдёмте выручать, — предложил он, чтобы утешить тетю Симу.

В иное время, в иной обстановке он отнесся бы к этому факту иначе, но после всех огорчений сегодняшнего дня история с дневниками казалась ему совсем невинной.

Они пошли в спальню. Усталые ребята сидели вокруг настольной керосиновой лампы. Ночь была теплая, и окна были открыты. Котов что-то читал вслух ребятам. Он читал, смакуя каждое слово:

«Нашла подход. Поняла сердце малолетнего преступника».

— Это вы — преступники, — объяснял Котов слушателям, и те счастливо ухмылялись. Для многих из них это было первое по-настоящему увлекательное чтение.

«Котов — сорви-голова, но любит материнскую ласку».

— Лет шестнадцати девчонки, — добавлял от себя Котов.

«Я убеждена, что сделаю его кротким и нежным...»

— Котыч, не зевай! — восхищенно кричали ребята.

Котов подморгнул — дескать, сообразим!

«Умнов молчалив, упрям, — продолжал он чтение. — Из него выйдет мыслитель. У Котова чистые, голубые глаза...»

— Дура, глаза описывает! — Котову чем-то сильно не понравилась такая характеристика его глаз.

Увлеченные ребята не заметили, как вошли Мелихов и тетя Сима.



— Что это вы читаете? — неожиданно для всех задал вопрос Мелихов.

— Сочинения тети Симы, — невозмутимо ответил Котов. — Федор Григорьевич, тут и про вас есть — хотите прочту?

Тетя Сима вскрикнула и бросилась на Котова, но тот ловко отскочил и, приподняв рубаху, сунул тетрадки за штаны.

— Не мучьте! Отдайте! — умоляла тетя Сима.

— А сделаете меня нежным? — спросил Котов вкрадчиво.

— Тетя Сима, а какие у меня глаза?

— А я кто — мыслитель или дурак? — интересовался Почиталов.

Тетя Сима упала на подоконник и закрыла руками лицо. Умнов, до сих пор молча сидевший за столом и с удовольствием слушавший чтение Котова, теперь гневно крикнул:

— Ты подлец, Котов! Какое ты имеешь право чужие секреты воровать?.. Отдай!

Котов выразительно показал кулак. Но Умнов был не из робкого десятка. Он подскочил к Котову и вцепился в его рубашку. Котов быстро подмял его.

«Еще перережуются из-за этих дневников», подумал Мелихов.

На помощь Умнову бросилось несколько человек.

Мелихов крикнул:

— Разведите их!.. Чтобы этого безобразия не было!

Его послушались. Через несколько минут тете Симе вручили измятые тетрадки. Котов — его изрядно помяли — выбежал на улицу, и оттуда в окно донесся его крик:

— Пиши завещание, Умнов! Нынче худо тебе будет!

Тетя Сима, овладев своим сокровищем, поспешила к себе.

Мелихов остался с воспитанниками. Они держались теперь как виноватые. Он долго дружески пенял их за все сегодняшние скандалы. Вспомнил он и про ограбленную бабу.

— Мы не грабили, мы ее только поугали, — признавались со смехом ребята.

— Разве так можно пугать? Нам нужно держать ухо востро, — говорил Мелихов. — Мужики вас бояться и ненавидят. Вы для них жулики. А нужно заслужить у них доверие. Вот вы пошутили, а разве вам поверят?.. Не узелки воровать да старух пугать — наше дело, а наше дело — хорошо работать, вот тогда нам от всех будет доверие.

...Ночь для Умнова была спокойная. Он имел все основания всерьез отнестись к угрозе Котова. Умнов лежал под одеялом и прислушивался к каждому звуку. Где-то тоскливым басом ревел бык. Бойко простучала колотушка. На колокольне отсчитывали полночь. Дремота одолевала Умнова. Грезилось детство. Тогда он спал крепко, беззаботно. Отец и мать не давали в обиду маленького Сашу. Ему казалось, будто он бежит по

рынку с куском сырого мяса. «Держи жулика», кричат со всех сторон. Кто-то подставляет «ножку», Умнов падает вниз лицом на мостовую. Мясо валяется в грязи. Умнова топчут сапогами, бьют палками, гириями...

Больно! Страшно! Он открывает глаза и думает: «Это меня Котов бьет». Но в спальне тихо. Нет, он не должен, он не будет больше спать.

Все ненавистное, полное слез и похабства беспризорное прошлое воплотилось сейчас для него в Котове. Он не дремал больше. Он напряженно ждал врага. И когда Котов, босой, в изорванной рубашке тихо вошел в спальню, Умнов был вполне готов к защите...

Котов подкрался к кровати. Умнов со всего размаху ударил его ногой. Котов ахнул и присел рядом с кроватью, держась обеими руками за живот.



## «ВИДАЛИ МЫ ПРИЮТЫ!»

**П**о тюрьме ползли слухи. Известия об организации коммуны, пока еще сбивчивые и неясные, возбуждали страстные разговоры. Паханы и воры с меньшим стажем держались единодушного мнения:

— Поиграть захотела ЧК и обожжется.

В двенадцатом номере новость эту обсуждали целый вечер. Днем вызывали нескольких молодых карманников. Один сразу согласился идти в коммуну. Теперь он стоял перед Шпулькой, страстным ругателем, и глупо улыбался. Старик осыпал его язвительными насмешками.

— Куда ты лезешь, дурачок? — говорил он презрительно. — Семь шкур будут с тебя драть, до черного поту. Ссучишься разве, а тогда, сам знаешь, — пропал! Видали мы эти дела. Похуже Рукавишниковки будет.

«Рукавишниковкой» старики пугали уже не в первый раз. Кто-то из молодых поинтересовался, что же там было. Шпулька поманил к себе стоявшего поодаль невысокого толстяка.

— Иди-ка сюда, Чурбак! Расскажи, как тебя в Рукавишниковском уму-разуму учили.

Чурбак любил, когда его слушали. Он сел поудобней, снисходительно оглядел молодых и неторопливо стал рассказывать.

Рукавишниковский приют для несовершеннолетних жуликов находился на Сенной площади, около Смоленского рынка, в мрачном двухэтажном здании.

Чурбак попал в приют перед самой войной, когда ему едва исполнилось двенадцать лет. Малый был толст, коротконог, тяжел и в первый же день получил кличку «Чурбак», крепко прилившую к нему. Упрямством и кулаками он скоро заработал себе равноправие среди сверстников.

Рано утром будил пронзительный звонок. Отделение, смеясь, шумя, улюлюкая, бежало умываться.

Затем собирались на молитву. Надзиратель, судорожно шевеля бороденкой, читал привычные слова торопливым срывающимся тенорком. Сзади, сохраняя внешнее благоприличие, приют-

ские воспитанники занимались, кому чем нравится. Шворал и Миха Тертый выразительно показывали друг другу кулаки. Чурбак, как и все, вечно полуголодный, косился на дверь, чтобы одним из первых проникнуть в столовую.

После завтрака начиналось ненавистное торчание в классе. Приютские обычаи были суровы: мальчишка, пытавшийся учиться всерьез, считался отступником, и такого изводили всеми средствами.

Чурбака определили в слесарную мастерскую. Ежедневно после обеда он отпрашивался в полуподвальное низкое помещение, где стояли вечные сумерки. Высокий тощий мастер бродил среди ребят, как тихопомешанный. Насколько Чурбак помнил, он никогда ничему не учил, на самые обыкновенные вопросы отвечал, как на оскорбление, свирепым рыком и толчками. Но бывали дни, когда мастер неожиданно впадал в страдальческую слезливость.

— Ну, что ты делаешь? — спрашивал он плачущим голосом, подходя к какому-нибудь ученику. — Разве так рубят? Разве так молоток держат? Утопиться от вас мало. Замучили. Затренили!

Мастер хватался за голову, так и не объяснив, в чем собственно дело, и бежал по мастерской, сея вокруг непонятные жалобы.

В приюте его звали «Малахольным».

В мастерской делали почему-то одни утюги. Чурбака посадили на обрубку. Год с лишним малый стучал молотком и не знал, куда деваться от скуки. Нередко мастер грозился:

— Ну, ты смотри, Чурбак! Баловать будешь — в медницкую переводу!

Медницкая шла у воспитанников за каторгу. Перевода в медницкую побаивались даже самые отчаянные из ребят.

Чурбак стучал молотком и с нетерпением думал о конце работы. Верстак, тиски, наваленные в груды утюги — все это вызывало тоску и отвращение. Малахольного он ненавидел. По звонку Чурбак бежал из мастерской первым.

По вечерам, после ужина, когда воспитанникам полагалось спать, начиналась настоящая жизнь. Докуривали исподтишка наворованные в учительской окурки, играли в карты, рассказывали похабные истории. Загибали кому-нибудь салазки, т. е. гнули какого-нибудь малыша в три погибели, спящих поливали из кружки водой и поднимали насмех. Били, сговорившись, «в темную» лягавых.

До приюта Чурбак воровал случайно и неумело, здесь же его стали учить всем тонкостям ремесла. Возвращенные обратно бегуны рассказывали о кражах и весело проведенном времени. Рассказы возбуждали фантазию и жажду подвигов.



Вместе с Шиворалом Чурбак вылез как-то через форточку на крышу, оттуда спустился в сад, а из сада через забор на улицу. Город спал, базарная площадь была безлюдна. Легко и свободно дыша, приятели свернули в ближайший переулок, и Москва проглотила их, как пылинки.

У Шиворала братья были опытными карманниками. Они ходили в розовых шелковых рубашках и в лаковых сапогах. Чурбака приняли в компанию и на следующий день повели на «дело». В трамвае неопытный Чурбак с трепетом наблюдал, как старший из братьев спокойно заворачивал поддевку какого-то купчика, тогда как другой толкался и лез мимо, отвлекая внимание. Спустя неделю обнаружилось, что Чурбак — вор вообще не из удачливых. При первой же попытке самостоятельно залезть в карман к какой-то необъятной бабище его поймали и здорово намяли бока. В следующий раз вместо бумажника он вытащил записную книжку.

Братья сказали напрямик:

— Работать с тобой нам не рука! Вора в тебе нет! Ищи себе другую компанию.

Чурбак спустился ступенькой пониже. На базарах он стал тянуть с лотков, обирать пьяных, при случае лез и в карман. Удачи не было. Вскоре его поймали и опять водворили к Рукавишникову.

На этот раз Чурбака, одаренного музыкальным слухом, начальство определило в приютский оркестр. Он дул в кларнет с наслаждением. Звуки будили в нем радостное волнение. Щеки его раздувались, глаза становились влажными, и вся его фигура выражала в такие минуты блаженство. Но даже музыка не могла скрасить серых и тягостных дней.

Как-то во время обеда заглянул сам Рукавишников. Это был известный богач, о котором по Москве ходили анекдоты. На базарах он бил у баб горшки и платил не считая. Скупал настоящие кресты людей, наложивших на себя руки. В ресторанах мазал лакеев горчицей и давал баснословные суммы «на чай». Приют на Сенной площади был одной из таких его причуд.

Кругленький, пухлый человечек с огромной лысиной ходил между столами и сладко улыбался. Он торопливо крутил головой из стороны в сторону и высоко поднимал брови, словно раскрывавшаяся перед ним картина была полна чудес.

По случаю приезда «благодетеля» воспитанников кормили блинами со сметаной.

Чурбак макал в чашку блин и следил глазами за ненавистным толстяком. Он не мог бы сказать, почему этот человек возбуждал в нем яростную злость, но, глядя на него, чувствовал, как дрожат ноги. Лучезарный старик Рукавишников подсел рядом и ласково спросил:

— Ну, как, сынок, живется? Доволен ли? Хорошо ли кормят? Слушаешься ли воспитателя?

Вместо ответа Чурбак неожиданно для самого себя что есть силы шлепнул блином по сияющей лысине.

По розовому лицу потекли мутные жирные струйки. Старичок втянул голову в плечи и мелкой трусой побежал к двери. Вслед, как по уговору, стаей полетели блины. Столовая выла, гремела, рычала и улюлюкала. Грохались об пол ложки, тарелки. В приюте часто вспыхивали такие на первый взгляд бессмысленные бунты. Чурбака качали как героя.

К вечеру его перевели в «Грачевку».

Непонятным этим именем назывался соседний с приютом дом, в верхнем этаже которого помещались карцеры. Властителями дома были Усан и Мося — люди страшные. Усан был тощ, высок и непомерно силен. Мускулистые его руки сжимали крепче тисков. Мося же был вдохновенно свиреп. Бил он людей с наслаждением, говорил же всегда тихо и даже умильно. Пороть начинал с причетами, а, выпоров, любил пофилософствовать.

— Ну что ж, друг, — вопрошал он, — сладка наука-то? Или, может, послаще хочешь? Ничего, милой, потерпи! Без лозы никакое учение нейдет. Вырастешь — благодарить будешь.

Мося и Усан били Чурбака скрученными полотенцами. Пять дней Чурбак лежал в карцере пластом. Выйдя через месяц из «Грачевки», он долго не мог забыть полученной там «науки».

Через два года у Чурбака кончался срок.

Не чувствуя большой склонности к воровству, малый помышлял о работе музыкантом.

И вот Чурбак с рекомендацией приютского воспитателя явился к предпринимателю.

Его встретил рыхлый бородач с припухшими от запоя глазами.

— Ну, ладно, — сказал он, — придется тебя поддержать. Я дам тебе кларнет и отправлю с оркестром в Орел. Потом сочитаемся.

Чурбак не знал, что между приютским начальством и бородачом Калгановым существовал договор о поставке дешевой рабочей силы. Получив кларнет, денег на железнодорожный билет и рубль на харчи, он уехал в Орел.

Работа музыканта оказалась значительно тяжелее, чем он предполагал. Дни поглощались бесконечными репетициями, вечера — публичными выступлениями. Свободного времени не было ни минуты. Жалованье на руки не выдавалось. Из хозяйских рук время от времени перепадали гроши, которых не-



хватало на самое необходимое. Ютился Чурбак на постоялом дворе, питался в «обжорке». В сизом махорочном дыму среди беспорядочного говора и брани он наскоро глотал подогретые щи и побольше налегал на хлеб. Водкой по бедности Чурбак «баловался» редко.

Жизнь проходила стороной. По вечерам к летнему саду, где Чурбак играл в оркестре, подкатывали лихачи. Из высоких колясок выпархивали нарядно одетые женщины в сопровождении подгулявших купцов. Звучал смех, мелькали улыбки. В ресторанах звенела посуда и металась от столика к столику официанты. Чурбак мрачнел и старался не замечать окружающего.

Радостью изобиловала жизнь только для немногих избранных. Чурбак был молод. Ему хотелось прокатиться на лихаче или сесть за опрятный ресторанный столик и потребовать хороший ужин. Девичий смех будил в нем тревожное волнение. Но он был прикован к своему кларнету, точно каторжник к тачке.

После трех месяцев работы он возвратился в Москву без копейки в кармане. На трамвайной остановке Чурбак встретился с приятелями по приюту. Их сапоги и шелковые рубахи ослепляли новизной. Чурбаку стало стыдно своего изношенного пиджака и порванных ботинок. Он прятал за спину узелок с бельем и виновато улыбался.

— Ну, каково живешь, браток? — спрашивали его. — Чем промышляешь?

Простодушный Чурбак честно рассказал о своей работе.

— Ну и чудак же ты, Чурбачище! — откровенно посмеялись над ним.

С ним внезапно заговорили снисходительно и насмешливо, издеваясь, как над мальчишкой. Чурбак избегал глядеть в глаза собеседников, и в его груди накинута обида.

Приятели толкались у остановки не зря. Они «торговали» какого-то генерала, солидного, тучного.

— Придержи! — шепнули Чурбаку.

Чурбак «придержал», мешая генералу пройти в дверь вагона. Пользуясь толкотней, товарищи сделали свое дело.

Через час все они вместе с Чурбаком сидели в шалмане за столом, уставленным снедью и бутылками. На долю Чурбака пришлось свыше двухсот рублей. Полу пьяный Чурбак смеялся над своим музыкантством.

С годами он стал опытным «ширмачом».

— Значит, ежели коммуна на Рукавишников дом похожа, так для нашего брата вроде университета выходит... — со смехом сказал бойкий молодой парень.

— Как раз, — одобрил Чурбак.

Он похлопал собиравшегося в коммуны паренька по широкому деревенскому плечу:

— Ишь, уши развесил! В коммуне посидишь, небось, губы-то подберешь. Там, брат, научат насчет картошки дров поджарить.

Старый Шпулька повторял:

— Видали, видали мы приюты!



# ОТПРАВКА

**С**ергей Петрович Богословский направился на Лубянку. Он шел и думал, что хорошо и правильно поступил, решив приняться за живое благодарное дело.

Трудности работы теперь меньше пугали его. Как врачу, ему случалось не раз сталкиваться с беспризорниками в провинции, молодые воры — это, должно быть, почти то же самое.

Погребинский разбирал у себя в кабинете груды чиненых ботинок.

В углу, на кожаном кресле, высился ворох ношеной одежды. Пахло дезинфекцией.

— Вот готовлю женихам приданое, — сказал Погребинский.

Богословский сел в свободное кресло.

— Придут разутые, раздетые. Куда таких поведешь?

— Да, неказисты, — подтвердил Сергей Петрович.

— Ты их разве уже видал?

— Да мало ли их... Вот и сегодня видел на бульваре.

— Не знаю, кого ты там видел, но наперед тебе говорю: не обольщайся — народ трудный, колючий.

— Да, конечно, — неопределенно сказал Сергей Петрович и подумал: «Прошлый раз уговаривал, а теперь пугаешь... не страшно!»

— Надо тон уметь найти, — добавил он, ободряя себя.

— Это верно. Самое главное — правильный тон. У нас до сих пор думают, что надо таким образом — ручки лодочкой и слезу пустить...

Вошел Мелихов. Он напоминал Богословскому украинского «батьку», каких немало повидал Сергей Петрович за свои скитания по фронтам.

— Прибыли, — сказал Мелихов и широким жестом указал на кого-то в коридоре.

В комнату вошли толпой шесть человек. Это была первая партия, направляемая в коммуну. За ней должны были после-



**М. С. Погребинский** — один из организаторов Большевской трудкоммуны НКВД



**С. П. Богословский** — один из организаторов Большевской трудкоммуны НКВД



довать другие. Среди вошедших находились Косой и Накатников.

— Ничего живешь, — по-хозяйски определил небольшой шустрый парень с бегающими глазами.

Другие его звали Малышом. Сергей Петрович, как ни старался, ни разу не мог поймать его взгляда за все время разговора. Накатников отошел к затемненному углу и важно стоял, покусывая губы.

Косой оглядывал комнату.

— А ты, правда, чудак! — сказал он Погребинскому. — Я думал, ребята клеят.

— Чем же я чудак?

— Толковый. Сколько припас коней! Поди, для нас? Видишь, форс у меня какой?

Парень задрал босую ногу и положил на стол.

— Грязная нога, — согласился Погребинский. — А со стола ты ее убери. У меня тут бумаги лежат, пачкать нельзя.

Косой снял ногу, пощупал лежавшую на столе раскрытую кожаную папку и подмигнул ребятам: кожа-то какая!

Сергею Петровичу стало не по себе. Он достал из кармана коробку папирос. Вихрастый, веснучатый парень легко поднялся с дивана и одним прыжком очутился рядом с Сергеем Петровичем:

— Не смею вас обидеть.

Он шутовски расклаиваясь, бесцеремонно запустил руку в коробку и воткнул папиросу себе в рот. Второй, с неприятным острым лицом, последовал его примеру. Сергея Петровича окружили. Он стоял с пустой коробкой в руках. Парни быстрыми, незаметными движениями рассовали папиросы по карманам.

Сергей Петрович подумал, что допускать панибратства нельзя. Он нахмурил брови.

— Вы это что же? — сказал он решительно и строго. — Хотите курить — попросите, а хватать из чужой коробки это все равно, что влезть в карман. Пора бы вам отвыкать.

— Гуляев, дай ему своей махорки, пусть не скулит, — презрительно сказал Малыш, обращаясь к угрюмому плечистому парню, равнодушно посматривавшему на всех.

— Это что за фрайер? — спросил Малыш Погребинского, указывая на Сергея Петровича.

— Жить с вами будет. Доктор. В случае заболете — будет человек, который поможет. Вы с ним подружитесь, — сказал Погребинский. — Ну, снаряжаться — так снаряжаться. Вот примерьте ботинки, кому нужны.

Все шестеро ринулись к куче башмаков. Они долго рылись, примеряли, откидывали и опять хватали.

Сергей Петрович с беспокойством наблюдал за своими будущими «пациентами». Поистине таких ему приходилось встречать впервые.

Обувшись, парни садились с размаху — кто в кресло, кто на кожаный диван. Накатников все стоял, не примыкая к общей компании.

Веснучатый дольше всех возился с башмаками. Ботинки пришлось ему по ноге, но зашнуровать их было нечем.

— Ну и хреновые башмаки. В футбол не поиграешь! Что ж, у тебя веревочки даже нет? Как без шнурка ходить?.. — обрушился он на Погребинского и прошелся по комнате, нарочно громко шлепая башмаками.

Малыш предусмотрительно отобрал себе три пары — запасные висели через плечо.

Погребинский позвонил. Вошел сотрудник.

— Принесите веревку тонкую — ботинки подвязать, — приказал Погребинский.

— Куда ехать? Скоро, что ли? — допрашивал веснучатый Погребинского.

— Подожди! Мне поговорить с вами надо.

— Думаешь, небось, купил за пару башмаков? А вот я посмотрю, далеко ли летит твое добро.

Веснучатый широко взмахнул парой ботинок, прицеливаясь в закрытое окно.

— Не дури, стекло разобьешь, — сдержанно предупредил его Мелихов.

«Разобьет», подумал тревожно Богословский, делая движение к окошку. Взгляд и умешка Погребинского остановили его.

— Что это у тебя с лицом, — внезапно крикнул Погребинский, и глаза его испуганно расширились. — Доктор, что у него с лицом?

Парень опустил башмаки и левой рукой схватился за щеку.

— Где? — обеспокоенно спросил он.

— Поди-ка ближе.

Погребинский стал внимательно рассматривать парня.

— Э, да это веснушки... — сразу успокоился Погребинский. — А я думаю — что такое? Посмотри-ка, Сергей Петрович, сколько веснушек!..

— Наладил: «Веснушки, веснушки!» Ну и что с того, что веснушки?

Парень раздосадованно отвернулся.

— Вот и рассердился, — с сожалением в голосе укорил Погребинский.

Малыш решительно подошел к окну.

— Ты говори делом. Зачем в коммуно-то везешь? — сердито сказал он. — Небось, очки нам втер?



Можно было подумать, что Накатников все время только и ждал этого вопроса. Он вдруг сорвался с места и тоже подбежал к Погребинскому:

— Довольно темнить, говори толком!

Погребинский внимательно измерил его взглядом:

— Горячий будешь.

— Да уж такой...

Погребинский, вздохнув, спокойно произнес:

— Жалеем вас, сукиных сынов.

Все шестеро шумно загалдели:

— Пожалел волк кобылу!..

— Катитесь вы со своей жалостью...

Погребинский отступил на шаг и, спокойно наблюдая орущих ребят, ждал.

— Я предупреждал вас, что в коммуны каждый едет по добровольному согласию, — сказал он, когда шум прекратился. — Никто вас не неволит. Не хочешь — вали обратно: в Бутырки, в Таганку — куда угодно. Вольному воля... Вы ведь сами желали ехать.

— А там часовые ходят?

— Говорил и об этом: никакой охраны, полная свобода. Убедитесь сами.

— Что мы там будем делать?

— Работать будете, учиться будете. Надо вам только немного изменить свою жизнь: не воровать, не пить, в карты не играть, работать... Только и всего...

— Хорошенькое дело!..

— А разве вы лучше живете? За счет чужих карманов! Знаете, кто так живет? Буржуй, классовый враг. Что же, лучше быть дармоедом, захребетником? Ведь вы же не хотите, чтобы рабочие ненавидели вас? Ведь ваши отцы и матери сами были трудящиеся — может, и теперь работают? Что же, вы и впрямь им классовые враги?

Парни сосредоточенно молчали. На лице веснучатого выступил пот.

— Разве плохо быть хорошим слесарем или, предположим, сварщиком? — продолжал Погребинский. — У нас не заграница... У нас все в руках рабочего, у нас рабочий сам строит свое государство, сам строит свою жизнь... Что ж, по совести, не завидно вам? Не хотелось бы и вам быть вместе с ними?

Он помолчал немного, как бы чего-то ожидая. Малыш несмело хихикнул и ущипнул Косого.

— Поймите же, — вновь заговорил Погребинский, вскользь посмотрев на Малыша, — ребята вы не глухие. Разве мне нужна коммуна? Меня советская власть без работы не оставляет, кое-какое жалованьишко получаю, проживу... А вот связался

же с вами. Для чего? Для вас! Вы думаете, коммуна — это дом, который оборудовали чекисты? Нет. Коммуна — это вы!.. Вы будете ее строить... как и рабочие строят свою жизнь. Что сделаете, то и будет... Захотите — всего добьетесь! Сегодня вы самые худшие, а завтра, может быть, членами профсоюза сделаетесь, судимость снимется. Никто и вспоминать не станет, кем вы были когда-то. Что, не верите? Уж будьте спокойны, в этом мы вам поможем... Но только это нужно заработать, нужно, чтобы рабочий класс мог поверить вам!..

Погребинский пытливо изучал выражение лиц парней, проверяя впечатление от своих слов.

— А ты, дядя, заплачь! — неожиданно крикнул Малыш в тишине.

— Все трепишься! — холодно сказал Накатников.

Парень с острым лицом — его звали Чумой — повел головой, точно прогоняя дремоту.

— Пускай потрепится, — произнес он, цинично усмехаясь.

— Ладно, ехать пора, — сказал Погребинский.

Остроты парней не произвели на него никакого впечатления.

Сергей Петрович посмотрел в окно. Над большим магазином «Шелковые ткани. Братья Токарь и К<sup>о</sup>» горел яркий фонарь. Перед магазином на табуретке сидел сторож.

— Ну, до скорого свидания, — прощался Погребинский. — В субботу, а может быть, и раньше выберусь к вам. Посмотрю, как у вас пойдут дела. Ну, айда!

Мелихов пожал руку Погребинскому и первый вышел в коридор. Сергей Петрович догнал его.

— Как вы думаете, пойдут они с нами или кто куда? — тихо спросил он.

— Пойдут, — сказал Мелихов, — насиделись досыта.

Сергей Петрович позавидовал уверенности Мелихова.

Ребята высыпали из кабинета. Позади всех независимо шагал Накатников.

Они вышли на площадь и свернули на скудно освещенную Мясницкую. Шествие возглавлял Мелихов, от него не отставал Сергей Петрович, сзади шагали вразбивку шестеро. Сергей Петрович несколько раз хотел оглянуться, но, видя, что Мелихов не оборачивается, смотрел с притворным равнодушием в стекла витрин. Там, в стеклах, парни то исчезали, то появлялись опять.

Богословский прислушивался к их непонятному разговору.

На углу какого-то переулочка ему вдруг показалось, что ребята свернули в сторону. Он поискал глазами их отражение в витрине и споткнулся о выбоину. Кто-то насмешливо заметил:

— Окривеешь, доктор, если на магазины будешь коситься...

«Идут», обрадовался Сергей Петрович и, стараясь скрыть свое волнение, сказал вслух самому себе:



— И когда только починят? Сколько ям на улице..:

У Мясницких ворот парни заметно стали отставать и задержались перед витриной кафе «Чашка чая», заставленной тортами, пирожными и соблазнительными стаканами кофе с пушистыми сливками.

— Опоздаем на поезд, — встревоженно сказал Мелихов и в первый раз обернулся. — В коммуне нас ужин ждет. Там все приготовлено.

— Ужин? — недоверчиво переспросил рябой.

Мелихов убедительно подтвердил:

— И какой!

Пошли, ускоряя шаг.

Мелихов хотел было повернуть к Красным воротам, но ватага дружно крикнула:

— Орликовым ближе, мы уж знаем!

Сергей Петрович понял, что парней потянуло пройти мимо «Ермаковки», мимо этого разгромленного, но все еще существующего шалмана. Огромный серый дом высился по левой стороне улицы. В открытых освещенных окнах, в пролетах лестницы виднелись люди.

Мелихов торопился:

— Быстрей, быстрей, к поезду опоздаем!

«А ведь и он нервничает», промелькнуло у Сергея Петровича.

Сзади слышался шопот. Пересекли грязную привокзальную площадь. На козлах дремали извозчики. Переминаясь с ноги на ногу, владельцы двухколесных тележек ждали пассажиров, ждали багажа. Поезда приходили еще с большими опозданиями.

Подымаясь по ступенькам вокзала, Сергей Петрович оглянулся. Парней осталось пятеро. Среди них не было шустрого Малыша.

# ПЕРВЫЙ ДЕНЬ

**В** комнате низко и тревожно гудел рояль; плохо пригнанные оконные стекла вторили ему ноющим звоном. Тускло горела керосиновая лампа, сдвигала темноту в угол, и, казалось, угла этого вовсе нет, а комната выходила прямо в ночь, в мокрые осенние поля.

Окно отливало черным глянцем. Леха Гуляев не видел в нем знакомых квадратов решетки. «Может быть, сетка с электрическим током», подумал он. Ему говорили, что в американских тюрьмах ставят такие сетки.

Гуляев был среднего роста, широкоплеч. Его светлорусые волосы гладко ложились назад, открывая большой лоб, разрезанный глубокой морщиной. Маленькие светлокарие глаза смотрели строго, густые брови постоянно хмурились, толстые, плотно сжатые губы выпячивались вперед, и от этого он казался злым и угрюмым. Ходил он по-матроски — вразвалку, сурово поглядывая то в одну, то в другую сторону. Но самым примечательным у Гуляева были руки — короткие, толстые, будто вырубленные из дуба. Возьмет в свою широкую шершавую ладонь руку какого-нибудь приятеля, сожмет ее и смеется. А приятель морщится, приседает от боли. Сильные руки были у Лехи.

Он встал и тихонько пошел, подбираясь ближе к окнам, рябым от дождя. Сеток не было. Он пожалел, что не «дал драгу» по дороге в коммуну. Если решеток и сеток нет, значит, внешняя охрана — «по лягавому на каждый аршин» — решил он.

«Обман, — заключил он, и мысль эта наполнила его холодной злобой. — Все равно убегу».

У рояля толпились бывшие воспитанники детдома имени Розы Люксембург. Они рассказывали уткам о коммуне. Детдомовцы держались развязно и свободно, как хозяева, — это усилило обиду Лехи. Действительно, привезли — к пацанам каким-то.

По лицам товарищей Гуляев видел, что они так же презирают детдомовцев и недовольны их компанией, как и он.

— Спальни у нас две. Идемте покажем, — говорил Умнов.



— Сами найдем, — оборвал Накатников.

Чума подтвердил:

— Без вас обойдется.

Осминкин достал портсигар и, вытряхнув из него пять папирос, раздал их товарищам. Кто-то из детдомовцев потянулся к портсигару. Осминкин намеренно ленивым движением закрыл его:

— Молод. Свои надо иметь.

Детдомовцы поняли, что воры не желают становиться на равную ногу с ними.

— Задаетесь? — ехидно спросил Умнов. — Приехали на говоенькое и задаетесь?

...Ужинали врозь. Воры чинно и тихо сидели за маленьким столом у окна. Пока в столовой был Мелихов — он ужинал вместе с детдомовцами, — за их столами тоже все было спокойно.

Урки удивлялись тому, что управляющий коммуной харчит-ся вместе с воспитанниками. Что же, не мог бы он дома поесть один послаще? Но детдомовцы к этому уже привыкли.

Мелихов торопился. Он быстро съел свой ужин, сказал что-то тете Симе и ушел. Что тогда началось за столами детдомовцев! Они визжали, дрались, гоготали, таскали друг у друга с тарелок куски. Взволнованная женщина унимала их. Гуляев, отложив вилку, долго слушал ее высокий, плачущий голос, следил за ее беспорядочной беготней. Наконец возмутился:

— Кабак какой-то!.. Зверинец!

— Шпана, — пренебрежительно сплюнул Чума. — Меня бы над ними поставили, я бы им объяснил.

Накатников солидно поддержал:

— Обучим — дай срок!.. Шелковые будут...

И не договорил. Огромная картофелина лягнула в середину стола и разлетелась липкими горячими брызгами.

Гуляев побледнел, встал, вытер щеку и, не спеша, раскачиваясь, подошел к соседнему столику.

— Вы, — грозно сказал Леха — ярость и презрение перехватывали горло. — Вы, шпана. Ребра выломаю. Научу порядок знать!..

— Потихе, — ответил Умнов, поднимаясь навстречу Лехе.

С грохотом сдвинув стол, воры встали все разом, готовые «объяснить» шпане правила приличия. Леха ткнул в грудь ближайшего детдомовца. Тетя Сима испуганно всплеснула руками, но драка не состоялась. Умнов промолчал. Гуляев вернулся к столу и сел доканчивать ужин.

Детдомовцы притихли. Не было ни визга, ни гогота за их столами. После ужина ни один из них не подошел к ворам. Гуляеву подбросили записку: «Если будешь задаваться — попробуешь ножка».

Леха усмехнулся: туда же, смеют грозить!

Ночью койка скрипела и визжала под его коренастым, сильным телом. Коммуна раздражала его. Он, как всякий настоящий вор, не любил беспорядка, шума и хулиганства. Ему приходилось подолгу жить в шалмане, в тюремных камерах, и там всегда был порядок — особенный, блатной порядок. Молодые воры уважали и слушались старших, никто не посмел бы там швыряться картофелем во время еды.

Еще больше возмущало Гуляева отсутствие часовых, замков и решеток в окнах. Он оценивал это как лицемерие и коварство. До сих пор, вероятно, и незачем было иметь здесь охрану — не эту же шпану караулить, в самом-то деле. Но кто поверит, что теперь, когда пришли такие люди, как они, выходы из коммуны остались попрежнему свободными? Обман.

Гуляев предпочитал Бутырки, где все понятно и дело ведется начистоту: есть решетки, стены, часовые, зато нет проволочных заграждений с электрическим током, автоматической сигнализации и прочих хитроумных и предательских выдумок, о которых Леха вдоволь наслышался. Ему представилось, что, может быть, в коммуне нарочно устроено все так, чтобы толкнуть на побег, потом схватить, подвергнуть унижению и набавить сроки.

Он резко сел на кровать и спустил босые ноги на холодный пол. — Все равно убегу, — сказал он шопотом.

За окном без решеток яростно сражались деревья, хватали друг друга сучьями.

Гуляев решил действовать осторожно и осмотрительно; ни в коем случае не бежать сразу, сначала подробно изучить систему внешней охраны.

Утром, фальшиво позевывая и потягиваясь, он вышел из дому. Моросил косой дождь; рябили под ударами капель лужи; порывами бил густой ветер, корежил деревья, скучно погромыхивал листом железа на крыше. Гуляев бродил вокруг дома, подбираясь все ближе к соснам. Потом он пошел тугим, пружинным шагом, готовый остановиться при первом же окрике. Никто не окликнул его. Миновал первую сосну, вторую, третью, и когда дом совсем скрылся — Леха замер, прижавшись к мокрому шершавому стволу. Сейчас лягавый или часовой выдадут себя каким-нибудь звуком; но гудели под ветром вершины сосен, мерно шипел косой дождь, и больше ничего не слышал Леха. В этом молчанье он чувствовал холодную и торжествующую уверенность врага. Он испугался и подумал: не вернуться ли, пока не поздно, в коммуны? Но вспомнил о ненавистных окнах, детдомовских ребятишках у рояля и пошел дальше, с вызовом похрустывая ветками, ожидая с минуты на минуту повелительного окрика «стой».



Выйдя из лесу, он остановился, пораженный мокрым лоском бульжника на шоссе. Рыжая лошаденка, широко расставляя задние ноги, тащила с натугой телегу, груженную бревнами. Рядом шагал мужик в полушубке морковного цвета, в расхлябанных ржавых сапогах. Голые просторные поля, синяя полоска леса, деревня и за ней — свобода, воля. Воля расходилась без конца на три стороны; она таила в мягком сером тумане дождя, над ней шел пустой ветер с запахом сырой земли и хвои, низко шли тяжелые тучи.

Гуляев взглянул назад, в четвертую сторону — единственную, где не было воли. Недалеко, за тонкой сосной жался человек и никак не мог спрятать себя — предательски выдавались нога и локоть. Но Леха сделал вид, что ничего не заметил.

Он понимал, что бежать нельзя: лягавый, спрятавшись за деревом, выстрелит, а расстояние было слишком маленьким, чтобы промахнуться.

Не лучше ли схитрить и пойти прямо на лягавого, а когда тот выскочит из-за дерева и потребует объяснений — изобразить на лице испуг и ответить, что он, Леха Гуляев, даже и мысли такой не имел — удрать из коммуны, а пошел просто-напросто погулять, а так как ни стен, ни проволочных заграждений не встретил, местности не знает и никто ему не объяснил, до каких границ можно гулять, то он и забрел нечаянно на шоссе.

Чем ближе подходил Гуляев к лягавому, тем плотнее прижимался тот к дереву. И когда их разделяли какие-нибудь три шага, человек выскочил. Шопот его был придушенным, изумленным:

— Леха... Ты?

Гуляев узнал Осминкина. Он был бледен, пот заливал его веснучатое лицо. Оказалось, что Осминкин тоже задумал сбежать, увидел Гуляева, принял его за часового и спрятался за дерево.

— Значит, охраны здесь нет? — уверенно спросил Осминкин.

Гуляев ответил:

— Проволока есть. С электрическим током.

Осминкин удивился:

— Какая же проволока на шоссе? Здесь вольный народ ходит.

— Все равно есть, — закричал Гуляев с непонятной злобой. — Есть проволока, и ток по ней пущен.

Он, конечно, понимал, что горячится зря, что на шоссе не может быть проволоки с током, которая — он слышал — употреблялась немцами на войне. Но отсутствие преград к побегу казалось обидным. Словно бы ему пренебрежительно сказали, открывая свободный выход из коммуны: «Ты нам вовсе не так нужен, как тебе кажется. Иди, если хочешь».

Осминкин неопределенно махнул рукой в сторону леса:  
— Пойдем...

Блестел неприветливо бульжник, и тучи заваливали горизонт.

— Сыро, — сказал Гуляев, — и ботинки у меня плохи. Погоди, вот солнышко выглянет, маленько подсушит, тогда...

Гуляев хотел сказать: «Тогда и сбежим», но не сказал и скучно закончил:

— Тогда и... пойдем.

Они медленно двинулись назад в коммуны — в четвертую сторону, которая оказывалась такой же свободной, как три остальные.

Сергей Петрович вошел в комнату к Мелихову.

За столом сидела «тетя Сима» — помощница Мелихова. Мелихов озабоченно расхаживал по комнате.

— Вы знакомы уже? Серафима Петровна.

Женщина кивнула головой и продолжала жаловаться:

— Федор Григорьевич, вы знаете, временами у меня руки опускаются. Я к ним с лаской, так мягко, так мягко, что, кажется, камень — и тот согреется, а они говорят такое, что мне повторить стыдно. Вот, например, вчера за ужином...

Она покраснела и отвернулась.

Мелихов остановился:

— Да, дело трудное. Теперь вот новых привезли. Эти полеще будут. Что вы скажете? — обернулся он к Сергею Петровичу.

Богословский, застигнутый вопросом врасплох, развел руками:

— Думаю, надо тон правильный найти, — повторил он фразу, которую уже сказал однажды, но фраза прозвучала неубедительно.

— У меня никого и ничего кроме этих мальчиков нет, — проговорила Серафима Петровна. — Я все силы, все отдаю им. Неужели они этого не понимают? С утра до ночи я за ними присматриваю, стараюсь как можно мягче указывать на неправильные поступки. Вчера опять на моих глазах лягушек мучили. Они просто не понимают. У них за последнее время только одно: «Надоело». Скажите, что им надо?

Мелихов задумчиво, медленно поглаживал усы. Сергей Петрович молчал.

— Вот сегодня, — продолжала тетя Сима, — я смотрю, этот паренек, из бутырских, с таким странным щучьим лицом. Простите, но лицо у этого мальчика не очень располагает, они его, кажется, Чумой зовут... Так вот этот мальчик...



Сергей Петрович подумал, что этому мальчику уже лет двадцать и на своем веку он видел много больше, чем Серафима Петровна.

— Этот мальчик влез на стол прямо в грязных сапогах и расхаживает, как по тротуару. А все кругом стоят и хохочут. Я его спрашиваю: «Зачем ты влез?» А он мне отвечает: «Здесь все лезут, и ты залезай...» Ну, разве это нормально?

Она истерично всплеснула руками:

— А все-таки я уверена — в каждом человеке есть доброе начало, надо только его разбудить, тогда придут человечность и любовь. Я в это верю.

Серафима Петровна порывисто поднялась и вышла из комнаты.

— Трудно ей работать, — вздохнул Мелихов. — Очень уж грубый народ. Придется, видимо, с ней распрощаться. А женщина чуткая.

Сергей Петрович ждал, когда, наконец, Мелихов скажет самое важное, что следует знать, чтобы с первых шагов правильно начать работу и быть уверенным в ее успехе.

Федор Григорьевич деловито говорил о том, что нужно прощупать для начала нескольких парней, создать из них опору в самом коллективе и что уже теперь можно смело опираться на некоторых ребят из детдома.

Он посмотрел в окно и покачал головой.

— Видите — ходят. Проверяют порядки. И держатся особняком, своей группой. Посмотрите — с ними ни одного из детдомовских нет.

Воры действительно ходили обособленной кучкой, сторонились детдомовцев, даже не разговаривали с ними.

Вероятно, воспитателям стала бы понятна причина этого, если бы они слышали разговор вновь прибывших. Бутырцы презрительно говорили о «подвигах» детдомовцев, ворующих в деревне кринки с молоком, об их мальчишеском глупом хулиганстве.

— Где спят, там и гадят, — раздраженно говорил Осминкин. — Через них и на тебя пятно.

Он, Осминкин, твердо помнил закон: «Где живешь, там не балуй!».

По деревне воры шли чинно, без песен и похабства.

Разговор вели серьезный, деловой. Многим в душе коммуна понравилась, но ругали они ее все в один голос. Трудно было брать ее всерьез. Охраны, правда, пока нет, но ведь совсем еще неизвестно, что будет дальше. Вероятнее всего, прикончат эту малопонятную затею — сажать воров в детдома.

— Винта нарезать надо, — заключил Осминкин. Румяное веснучатое его лицо было озабочено. — Нарезать надо винта!

— Это успеем, — лениво отвечал Чума, и все согласились с ним.

— Всегда успеем. Вот обсмотримся, узнаем, тогда...

Вслед вора́м открывались двери и окна. В степенной солидности вновь прибывших костинцам чудилось что-то необыкновенное, страшное.

— Вот они, когда настоящие-то приехали, — зловеще протянул остролицый мужик в теплой барашковой шапке. — Держись, братцы. Эти на куриц и глядеть не будут — этим подавай овцу, а то и корову!

И до самого вечера трудился остролицый мужик, прилаживая в сарае толстенный железный засов.



## «БОЛЬШИЕ» И «МАЛЕНЬКИЕ»

Гуляев исподлобья смотрел на Сергея Петровича и старался угадать, какую тайную цель преследует доктор своими невинными с первого взгляда вопросами. По собственному опыту Леха знал, что следователи часто пользуются таким приемом: долго спрашивают о разных посторонних вещах, а потом, равнодушно глядя в сторону и покуривая папироску, вдруг спросят между прочим: «А не помните ли вы, какой звонок в этой квартире — электрический или ручной?» — «Электрический», уверенно отвечает домовник. «Электрический, — подхватывает следователь. — А как же вы утверждаете, что никогда не были в этой квартире?»

— А ты что любишь, Гуляев?

Сергей Петрович спросил его вне очереди, через два человека, и Гуляев, не подготовившись к ответу, растерялся. Любил он голубей. Давно, еще в детстве, расстался он с ними, но воспоминание жило в нем до сих пор. Воспоминание это настигало его всегда неожиданно и в самых разных местах — в шалмане, в тюрьме, даже на «работе». Перед ним вставал темный чердак с прогнившими балками, паутиной в углах, широким столбом пыльного света, идущего через слуховое окно, и мягкий горловой говор голубей, гуляющих по облупленной крыше. Он видел вечерний сумрак над ветхой деревянной каланчой — белый голубь, мигая хрустким крылом, уходит все выше и выше в теплое небо и вдруг блеснет розсватой позолотой. Значит, за городом, за пологими холмами, еще не зашло солнце.

— Что же ты молчишь, Гуляев?

Ребята притихли, понимая, что Леха готовится какой-то необычайно дерзкий ответ.

И Гуляев не обманул их:

— Я старых баб люблю...

Неудавшийся разговор с Гуляевым был не последним из огорчений, которые свалились в этот день на Сергея Петровича.

Завхоз Медвяцкий сидел в кладовой и разбирал яблоки. Ему помогал конюх: он накладывал антоновку в железную мерку.

— Не столько сожрали, дьяволы, сколько напортили. И когда этому конец будет? — сказал Медвяцкий Сергею Петровичу, заглянувшему в кладовую.

— Чему? — поинтересовался тот.

— Когда вас унесет отсюда — вот чему. Ведь это разбой среди бела дня. Яблоня их не трогала, выстаивала, сколько ей положено, и на вот... — Он горестно ткнул в кучу яблок толстым пальцем: — Это что такое?

— Яблоки. — Притворяясь, будто совсем не понимает гнева Медвяцкого, Сергей Петрович надкусил спелую антоновку.

— Я сам знаю, что это яблоки. А кто им велел их трогать? Вы понимаете, что это такое? Это хулиганство — вот что. И я буду жаловаться. Я прямо скажу: вы их распустили. Разве так воров надо держать?

— А как же?

— А вот я бы вам показал. Они бы у меня узнали, — воодушевился Медвяцкий.

— Пойдите, — оборвал его Сергей Петрович. — Вы говорите — хулиганство. Скажем — так. Но по сравнению с тем, что они еще вчера делали... И, наконец, кто из нас в детстве яблок не воровал?

— Ты слышал? — обратился завхоз к конюху. — Тоже детей нашел. Таким жеребцам пора в упряжи ходить.

— Вы меня не понимаете. Ведь многие из них в первый раз очутились за городом, в первый раз видят природу, т. е., я хочу сказать, давно не жили нормальной жизнью. Им ведь привыкнуть надо. Понимаете?

Медвяцкий с нескрываемой злобой смотрел на Богословского:

— К чему привыкнуть? Что вы городите?

Сергей Петрович повернулся и вышел из кладовой.

«Что это я ему, правда, говорил? Выходит, точно яблоки воровать можно», огорченно раздумывал Богословский.

Но и это огорчение было еще не последним.

Не все детдомовцы относились к бутырцам плохо. Но все же между ними и парнями из Бутырок отношения с первой же встречи установились недружелюбные.

Бутырцы ведь были настоящими урками. Ведь это таким, как они, подражал и завидовал беспризорный!

До приезда бутырцев детдомовцев притесняли костинские ребята. Они мешали играть в футбол, отбирали у них мяч, случалось, даже прогоняли с поля. В первом же столкновении костинцев с Осминкиным, Чумой и Хаджи Муратом костинцы забились отбой и обещали больше коммунизмом не мешать. Вот что значит настоящие урки!

В довершение всего Осминкин вступился за детдомовца, обиженного Котовым во время игры в футбол, и крепко помял Ко-



тову бока. Влияние детдомовских главарей — Умнова и Котова — явно пошло на спад. Малыши все меньше чувствовали необходимость подчиняться им. Умнов и Котов затаили злобу против бутырцев.

Случилось так, что настала очередь детдомовца Андреева убирать общежитие.

— Брось, ребята рюх нарезали, — сказал ему Умнов. — Идем в городки играть!

Это услышал Гуляев.

— То есть как это брось? — возмутился он. — А убирать кто же будет?

Тогда ввязался Котов. Хоть он и не любил Умнова, но тут у них интересы были общие.

— А тебе что за дело? — крикнул он Гуляеву. — Откуда такой взялся здесь командовать? Захотим — будем убирать, захотим — не будем. Не тебя спрашивать!

— Нет, уберете!

— Не будем!

— Сейчас же убирать! И всегда будете убирать! Поняли? А кто посмеет отказываться, я тому...

— Ах, так! — завизжал Котов. — За вас работать? За женихов работать? Слышите, что говорит? За них работать! Вот что придумали... Ловко! Айда все в лес!.. Пускай поищут себе мальчиков!

— Повизжи! — рассвирепел Леха Гуляев. — Повизжи, так я тебе...

Возмущенные детдомовцы всей оравой выскочили из общежития и ушли в лес. Там они долго и звонко кричали, спорили.

А Гуляев и Осминкин собрали бутырцев.

— Вот тут, выходит, какие порядки. За них, пацанов, убирать, что ли? Этого не будет!.. Хоть отпрапляться назад!

Спальни так и остались неубранными.

О сходках «больших» и «маленьких» Мелихов и Богословский узнали позже всех. В сущности это был развал. «Хорошо, что сегодня должен приехать Погребинский», встревоженно подумал Сергей Петрович.

Волновался и Мелихов, но не терял своего обычного спокойного вида.

Погребинский приехал поездом только на другой день. Со станции он пришел пешком.

— Мы тебя вчера ждали, — обрадованно здоровался Богословский. — Такие дела тут!.. Немедленно нужно принимать меры.

— А вы с Мелиховым здесь на что? — спросил холодно Погребинский.

— Поговорить надо, — уклонился Сергей Петрович.

— Пойдем, поговорим, — согласился Погребинский. — Вот и ребята кстати здесь.

Сергей Петрович хотел было объяснить ему, что надо бы им сперва потолковать с глазу на глаз, но Погребинский слегка хлопнул его по спине и подтолкнул к общежитию:

— Идем-идем, Петрович.

Они прошли в спальню, окруженные болшевыми. Погребинский сел на табуретку.

— Ну и грязьца у вас. Хлев! Что же вы это? — сказал он брезгливо. — Кровати не убраны, одежда разбросана.

— Некому убирать, — проворчал Умнов.

— Ну, понятно. Вы ведь не можете. Вы же белоручки, барышни. Вам няньки надобны... Стало быть, я буду вам убирать? Мелихов будет приходить вам убирать? Так?

— Мы и сами можем... Это маленькие отказались. Очередь... — отрывисто сказал Накатников.

— Я знаю, он будет, — подтвердил Мелихов. — Но почему вы не пришли ко мне или к Сергею Петровичу, когда увидели, что есть такие, которые отказываются?

Ему не ответили.

— Плохо, совсем плохо... — осуждающе сказал Погребинский. — «Маленькие» и «большие», а где же коммуна? Значит, не выходит у вас, значит, не годитесь вы... Не сможет коммуна существовать.

Тягостная тишина стояла в спальне. Если бы кто-нибудь заговорил, зашумел, стало бы легче, но все молчали.

— Ну, что ж, ребята? Что будем делать? Как поправлять станем? — заговорил опять Погребинский. — Обсудим, что ли? Может, вместе и придумаем что-нибудь? Как по-вашему? Ведь совсем плохи дела!..

— Надо собрание, — неуверенно сказал Накатников.

— Вот и я думаю, — подхватил Погребинский. — Ну что же, если сами предлагаете, сейчас и начнем.

Перешли в так называемую крафтовскую контору. Мелихов сел рядом с Сергеем Петровичем, широкое лицо его было угрюмо и как будто осунулось.

— Кого в председатели выберем? — спросил Мелихов.

Ребята называли кандидатуры воспитателей. Мелихов отвел:

— Этого не должно быть. Самим решать, самим и вести.

«А если они что-нибудь не так?» подумал Сергей Петрович.

Собрание раскачивалось с трудом. Хотя уже собирались и не один раз, когда устанавливали дежурства по кухне и очередь дневальства в спальнях, но тогда все происходило как-то иначе.

— Чья была вчера очередь — Андреева? — помог Мелихов.

Ребята подтвердили в несколько голосов.





Там, где теперь высятся здания коммуны, в 1924 году  
была только деревня Костино

— Так пусть он и расскажет теперь, почему отказался от уборки.

Андреев, круглоголовый плечистый паренек лет шестнадцати, поднялся, потом сел. Лицо его было красно.

— Я не отказывался, я согласен, — мямлил он... — Только если убирать, так всем убирать. А то говорят: вы пацаны, вы теперь всегда будете женихам убирать. Это я не согласен.

— Кто говорит? — спросил Погребинский.

— Все говорят, — глухо сказал парень и замаялся.

— Да кто все? Гуляев, Осминкин?

Парень открыл рот, точно рыба.

— Ну, Котов, Умнов тоже... Все говорят, — сказал он растерянно.

Накатников издал какой-то нелепый звук и сейчас же пригнулся, чтобы стать незаметнее. Мелихов уловил это движение.

— Хочешь, Мишаха, поговорить?

— Нет, я ничего... Я потом, — отказывался Накатников.

— Я вот что скажу, — вдруг, осмелев, крикнул он резким, надтреснутым голосом. — Я так понимаю. Безусловно нас здесь собрали. Может быть, он сейчас вор, а завтра трудящийся... Я так понимаю... Не должно быть у нас здесь никаких ни «больших», ни «маленьких». Я вот так понимаю.

Он говорил, что в коммуне должны все вместе строить новую свою жизнь и помнить, что остались в тюрьмах товарищи. Он повторял все, что слышал от Погребинского, от Мелихова, от Сергея Петровича, с чем всегда был не согласен и что сейчас представлялось ему очень правильным, а, главное, своим личным убеждением.

Это была в его жизни первая речь. Он закончил ее высоко взведенным тенором:

— Довольно, пофилонили! Хватит дурака валять!

Никто не ожидал ничего подобного. Гуляева душила злость. Мелихов улыбался. Котов перешептывался о чем-то с Умновым, оглядываясь на Погребинского. Погребинский встал:

— Да, прав Накатников. Кто может ему что-нибудь возразить? Кто с ним не согласен? Кто не будет работать? Таких нет. Кроме Умнова и Котова здесь таких нет.

— Не моя была очередь... Может, я буду, — вызывающе крикнул Умнов.

— А как же? Конечно, будешь! А ты что думал? Тебе особенный заведут устав? «Вожаками» заделались тут с Котовым! «Паханами!» Мальчиков поделили... А теперь не нравится? Теперь кончилось, так вы бузу завели? Ребятам головы стали дурить? Что ж, не нравится — не держим, пожалуйста. Идите туда, где на «вожаков» спрос. А нам не надо, мы как-нибудь и без «вожаков» обойдемся.



Котов прикрыл глаза рукой. Умнов собрал лоб крупными складками и смотрел в одну точку.

— Никаких атаманов в коммуне нет и не будет. Зарубите себе на носу. Никаких «больших», никаких «маленьких». Общее собрание — всему голова. Управляющий коммуной и его помощники — ваши руководители. Решение общего собрания — закон. Постановления будем проводить в жизнь через передовиков, через актив. Все должны подчиняться собранию. Все отвечают за каждого. Принимать будем в коммуну только тех, за кого поручится собрание. И если кто-нибудь станет нарушать наши порядки, заводить свои, разрушать коммуну, — пусть не обижается, пусть не пеняет после, когда его на общем собрании попрут за двери коммуны грязной метлой. Правильно будет так?

Коммунары возбужденно переговаривались, их смеющиеся лица, одобрительные восклицания и шутки свидетельствовали о том, что сказанное Погребинским им понравилось.

Собрание затянулось почти до рассвета.

Вновь обсудили порядок дежурства, составили новые списки и вывесили их к концу собрания на стенке. Подняли вопрос о плите, которую надо переложить, о негодных кастрюлях; решили, что пол нужно мыть не меньше четырех раз в месяц. Решили выбирать еженедельно одного парня в «контроль», который бы следил за порядком, будил болшевцев по утрам, наблюдал, чтобы не нарушались правила коммуны, помогал воспитателям. Погребинский подчеркнул, что выбирать, разумеется, надо самых лучших. Для начала на первую неделю выбрали Накатникова.

Разговор с Погребинским, которого так хотел Сергей Петрович, произошел, когда ребята уже улеглись. Втроем перешли в кабинет к Мелихову.

— Все, что случилось без нас и помимо нас, говорит, что мы сами еще плохо разобрались в том, что здесь делается, — начал Погребинский. — Мы не овладели положением. Надо яснее видеть разницу между детдомовцами и бутырцами. У каждого из бутырцев по две-три судимости, у каждого срок — самое малое — годика три. Это не беспризорники. Они великолепно все соображают. Вот вам пример — Накатников. Помните, Мелихов, как он вел себя в Москве, а сегодня — смотрите. Эти больше чем кто бы то ни было привыкли презирать и ненавидеть работу, а работать все-таки будут, если сумеем правильно подойти к ним. А у детдомовских ребят и положение иное, да и помоложе они. Думается мне, что на практике мы это недоучли. Взять хотя бы тех же Умнова и Котова. «Они, дескать, не такие испорченные», рассуждала бы тетя Сима... Возможно, даже наверное, и это очень для нас важно. Однако

это, как видите, ничуть не мешает им быть среди своих «вожаками» и срывать дисциплину. Бутырцы поприжали их, высадили из «паханов» и... хорошо!

«Да, — подумал Сергей Петрович, — это верно. Но сколько же придется учиться, чтобы правильно разбираться во всем этом?»

Согласился с Погребинским и Мелихов.

— Конечно, мы промахнулись, — сказал он. — Мы больше полагались на то, что детдомовцы — давно существующий коллектив.

Погребинский улыбнулся:

— Потому мы его и взяли сюда в Болшево, и это еще скажется во всем. Однако это коллектив, имеющий свои особенности, и не учитывать их нельзя. Кстати, все можно было бы рассосать сразу же на общем собрании. Почему вчера, как только узнали о том, что случилось, не собрали парней?

Упрек показался Сергею Петровичу совершенно незаслуженным. Собрания не созывали только потому, что поджидали приезда Погребинского. Сергей Петрович хотел сказать об этом, но вспомнил фразу, которой встретил его Погребинский днем: «А вы на что здесь?» Вспомнил и промолчал.

— Промахнулись, конечно, — опять сказал Мелихов. — Мы с ребятами в прятки не играем, без них коммуны строить не собирались. Мы все вопросы выносим на общее собрание. Но откладывать его не следовало и на один день.

— Вообще собрания надо созывать как можно чаще. Особенно теперь, пока нет мастерских, — подтвердил Погребинский. — И чем острее вопросы, тем, может быть, даже лучше, — продолжал он. — Более здоровые элементы при нашей поддержке всегда возьмут верх. Втягивать ребят в интересы коммуны, заставляя их чувствовать себя ее хозяевами, отвечать за нее — лучше этого пути нет. Да вы сами это знаете лучше меня. Активистов надо выдвигать широко и смело. Но, разумеется, не передоверять им руководство, не выпускать из-под своего контроля, а по тенденциям «вожачества» нещадно бить! Сейчас актив — просто мало понятное ребятам слово. Со временем из активистов могут действительно выработаться помощники... Что касается решений общего собрания, то они должны быть законом для всех. Для всех — и для нас! — подчеркнуто заключил Погребинский.

— А если неправильное решение? — поинтересовался Сергей Петрович. — Можем, разумеется, отменить?

Погребинский насмешливо прищурил глаза:

— Плохо будет наше дело, Петрович, если понадобится отменить! Не должно быть ни одного неправильного решения! Какие же мы руководители, какой же у нас авторитет, если



мы не добьемся, чтобы были правильные решения? Будем обсуждать до тех пор, пока собрание не согласится с нами. В один раз не добьемся — обсудим еще раз, еще десять раз!

Ложась спать, Богословский улыбался, вспоминая выступление Накатникова:

«Верно... Наломали мы тут дров... А, пожалуй, ребята не уйдут».

# ГОЛУБИ И ФИНКИ

**С**олнце, до появления которого Леха Гуляев отложил свой побег, упорно пряталось за низкими тучами. Все время моросил дождь.

Многие бутырцы поговаривали о зимовке в коммуне как о неизбежном и само собой разумеющемся деле. Гуляев злобился, слушая эти разговоры. А когда его спрашивали, что он намерен делать дальше, он прямо отвечал: «Сбегу и воровать буду».

Все — и детдомовцы и бутырцы — верили в его неукротимость, относились к нему с уважением, даже с некоторой боязнью. Он чувствовал это и старался укрепить свою репутацию отчаянной головы, которой все нищечем. Держался он особняком, с воспитателями не разговаривал.

Сдвинув кепку и заложив руки в карманы, он ходил по коммуне, по улицам Костина, насмешливо посматривая на хмурых мужиков.

В одну из таких прогулок Леха пошел в компании с другими ребятами. Низкое небо было пасмурно, с утра шел мелкий дождь. Навстречу попала телега. Огромный заросший бородач сидел на ней, свесив ноги.

— Уйдите с дороги-то, охломоны, — лениво сказал он.

Парни посторонились. Гуляев продолжал стоять на самой середине колен. Лошадь повела ушами, остановилась, выпустила из ноздрей две густых струи теплого пара.

— Посторонись, эй! — миролюбиво повторил мужик.

Гуляев ответил:

— Обьедешь! Не барин.

— Так я же с телегой. Куды ж я обьеду? Видишь, грязь!

— Вот по грязи и обьедешь.

В голосе крестьянина появилась угроза:

— Уйди, говорю.

В его кулаке был зажат толстый кнут. Гуляев гокосился на кнут, взял лошадь под уздцы и завел ее в грязь, сам вымазавшись до колен. Мужик сидел, вытаращив глаза. Потом он сос-



кочил, стал чмокать и кричать, оглядываясь боязливо и растерянно на Леху.

А Леха вышел на обочину и зашагал дальше, сопровождаемый одобрительными шутками болшепцев.

Скука преследовала его. Дождь, грязь, этот испуганный мужик в телеге. Хоть бы драться полез, было бы веселее. Гуляев повернул назад в коммуну.

К вечеру дождь прекратился. Светлая полоска протянулась на западе. В лужах появился голубой отсвет. Деревья роняли капли, а светлая полоска все ширилась, точно солнце прильнуло к холодным тучам, и они таяли.

Тогда из деревни поднялись голуби. Они летели сначала плотной кучкой, потом разбились, и один — коричневый турман, — кувырнувшись, стремительно упал вниз и повис на струящихся крыльях над самой крышей коммуны. Это было как прекрасное, короткое видение. В следующую секунду голубь исчез за деревьями, и только потерянное перо все еще падало, медленно кружась, как осенний лист.

— Ты, значит, голубей любишь?

Гуляев вздрогнул. Сергей Петрович стоял перед ним. Леху так взволновал турман, бросивший на память перо, такое зло поднялось на Сергея Петровича, превратившего неясные мечтания, что Леха не удержался и выругался.

— Перестань, — сказал Сергей Петрович и, помолчав, спросил: — Ты за что мужика обидел?

— Так...

— Плохо! Говори спасибо — не было топора у него.

— Боюсь я топора! Видали топоры. Я бы ему кишки выпустил.

— Выпустить кишки — это не штука, — ответил Сергей Петрович, закуривая. — Выпустить легко, а вот собрать — затруднительно.

— Это не наше дело. Наше дело — выпускать, а докторское — собирать, а то доктора с голоду вымрут.

— Ты, я вижу, бывалый... А как думаешь дальше жить?

— Тебя не спрошу.

— Воровать будешь?

— Дело прибыльное!..

— Из коммуны сбежишь?

— А тебе что? — закричал Гуляев и даже подпрыгнул от ярости. — Чего пристал?

Сергей Петрович с усмешкой поглядел на Гуляева, сказал раздумчиво:

— Голубей, значит, Гуляев, любишь? — и спокойно отошел.

С каждым днем он чувствовал себя с болшепцами уверенней и тверже. Ему казалось, что он начинает глубже понимать

этих людей. Он учился на практике, перенимал опыт у товарищей-воспитателей. А у них было чему поучиться. Взять хотя бы недавнее событие с финками, произшедшее на Сергея Петровича особенно сильное впечатление.

Произошло это событие так.

Ребята шли из лесу и о чем-то спорили. Из детдомовцев среди них был один Котов.

— Вы бы мяч погоняли, — добродушно посоветовал Мелихов, когда болшевы поравнялись с ним.

— Надоело, — отвечал за всех Осминкин.

Должно быть, это было с его стороны неправдой. Он так увлеченно гонял с оравой детдомовцев и бутырцев мяч по костинским полям, так беспощадно бил по мячу, взметывая его выше сосен, что нельзя было ошибиться — игра в футбол всегда была для него радостью. Осминкин разорвал башмаки в восемь дней. Мелихов выдал ему другие.

— Хорошо ты играешь, Осминкин, — продолжал Мелихов. — Хорошо, даже отлично. Ты бы попробовал команду составить.

— Команду? — удивился Осминкин. Разве он тут собирается жить всю жизнь?

— Игра пошла бы организованная. Ведь это интересно. Надо столбы врыть, ворота сделать. Как думаешь?

— Что же, можно, — с деланным равнодушием согласился Осминкин. Предложение Мелихова было заманчивым.

Именно в этот момент Котов зачем-то нагнулся и выронил финку.

Мелихов знал, что воспитанники детдома имели финки. Сколько ни боролись с этим в детдоме, ничего существенного добиться не могли. Детдомовцы не расставались с финками и в коммуне. Бутырцы, прожженные воры, в большинстве своем не только не имели финок, но посматривали на маленьких финконосцев с насмешкой.

Накануне Почиталов подрался с одним из бутырцев и сгоряча выхватил финку. Бутырец презрительно пожал плечами и бросил драку.

— Что это у тебя? — спросил Мелихов, скользнув равнодушным взглядом по сконфуженному лицу Котова. — Я понимаю, хорошо иметь нож в лесу: прут вырезать, тросточку обстругать, а то и хлеба ломоть отрезать. Однако перочинный ножик лучше. Финку неудобно носить. Споткнешься — сам себе бок пропорешь. Хочешь — отдай мне финку, а я дам тебе перочинный нож? — предложил Мелихов.

Он вынул из кармана большой складной нож с пилкой, штопором, несколькими лезвиями. Болшевы, понимающие толк в ножах, залюбовались им.



— Меняемся? — соблазнял Мелихов.

— Меняемся, — согласился Котов.

Отточенная, как бритва, финка перешла Мелихову, а великолепный его ножик — Котову.

— Харчи-то вам здесь нравятся? — перешел на другую тему Мелихов.

— Подходящие, — отозвался один из парней.

Мелихов заметил, что Осминкин толкнул Котова.

— В чем у вас дело?

— Завидуют ножку, — проворчал Котов.

— Пускай назад отдаст, — грубо крикнул Осминкин.

— Нож обратно я не возьму. Поменялись — значит, точка, — заявил Мелихов.

Вечером перед ужином его ждал сюрприз. На стуле, где он обычно сидел, лежало что-то, завернутое в газету.

Мелихов взял сверток в руки и показал Богословскому. В газете лежало несколько финок.

Мелихов понял, что все происшедшее за эти дни — драки между детдомовцами и «женехами», сходки «больших» и «маленьких», затянувшееся собрание — все это положило конец атаманству Котова и Умнова.

Понял это и Богословский. И еще понял он, как бесконечно многообразны пути воспитания доверием, как важна известная предприимчивость, находчивость, даже риск со стороны воспитателя, и недопустимы штампы. Почему не попытаться подойти хотя бы к этому нелюдимому, озлобленному парню Гуляеву со стороны его наивной страсти к голубям?

После дождя несколько дней стояла ясная и сухая погода.

Гуляев не спешил с уходом. Все ждал, когда исчезнут лужи, подсохнут тропинки, точно бежать в Москву предстояло не по железной дороге, а тайгой.

Москва тянула его. А в коммуне удерживала та репутация, которую он завоевал. Так и жил на распутье. Воровать не ходил. Вокруг ни пивных, ни шалманов не было, в деньгах особенной нужды не чувствовалось. Один раз, правда, вышел он к дачному поезду, потолкался по платформе, но в карманы не лазил: публика по виду была неденежная, и почему-то не хотелось воровать вблизи коммуны.

— Тебя-то мне и надо. Зайди на минуточку! — закричал Сергей Петрович, завидя Гуляева из окна. Все эти дни он исподволь наблюдал за ним.

Гуляев, поднимаясь по лестнице, старался вспомнить про ступок, о котором, вероятно, будет сейчас нудный разговор.

— Вот тебе деньги, — сказал Сергей Петрович, — а вот увольнительная записка. Поезжай на Трубу, купи голубей.

Леха взял деньги, записку спрятал в картуз.

«Ну, вот и ушел — сам выпроваживает из коммуны да еще денег на дорогу дал», цинично подумал он.

Сергей Петрович остановил его:

— Ты все-таки... того... не задерживайся... — Он вдруг почувствовал всю ответственность предпринятого шага.

Гуляев неопределенно повел плечом и вышел из комнаты.

На станцию его провожали товарищи.

В лесу поднимался острый спиртовой запах гниющей хвои. Провожаящие, удивленные наивностью Сергея Петровича, просили Леху клясться на воле «корешкам». Он добросовестно старался запомнить все поклоны. О дальнейших своих планах говорил уклончиво.

Гуляев сидел в пыльном дачном вагоне.

Поезд, отстукивая, набирал скорость.

— Чудят, — сказал хриплый бас. — Набрали воров и чудят.

На соседней скамейке сидел толстый человек в бекеше и ругал скучным голосом коммуны. Голова у него была круглая, выбритая, синяя цветом; он рассказывал о небывалых кражах, будто бы совершенных болшевыми.

— А вот недавно мужика зарезали на дороге среди бела дня. Мужик говорил: посторонитесь. А они его ножом.

— Зачем ты, гражданин, врешь? — в упор спросил Гуляев.

Сосед побагровел и кашлянул. Гуляев повторил вопрос.

— Как это вру? — закричал толстый. — Я и сам видел.

— Видел ты, как же!.. Никто мужика не резал. В грязь его загнали — это верно.

— Да ты-то откуда знаешь? — подозрительно спросил толстяк, оглядывая Гуляева.

— А я сам оттуда, — торжественно сказал Гуляев.

Толстяк остался сидеть с полуоткрытым ртом.

Леха вышел на площадку. Он долго стоял под упругим ветром. «Ездят вот такие в поездах, трепяты, позорят. Вынуть у дьявола кожу, — думал Леха. — Знал бы тогда. А ну его к шуту... Свяжешься — и вовсе тогда начнет рассказывать, что его самого резали».

Весь день ждал Сергей Петрович Леху, выходил на опушку, смотрел на грязную дорогу. Гуляев не возвращался.

Мелихов успокаивал Богословского.

— Конечно, это большая беда, что Гуляев не вернулся. Но зачем опускать голову? Обдумаем спокойно этот факт, — мягко, но настойчиво говорил он. — После тюрем и пыльной Москвы воспитанники наши впервые попали сюда, на простор. Мы сделали все, чтобы ельник и луг работали на нас. А вот с Гуляевым у нас осечка. Мы недостаточно поработали над ним. Рискнули... Ну что ж, и неудачи приносят пользу... На будущее учтем, будем осторожнее.



«Все это верно, — думал Богословский. — Он слишком рано доверился Гуляеву. Побег взбудоражит парней, коммуны залихорадит, и не один уйдет, вероятно, вслед за Гуляевым».

Особенно тяжела была деликатность Мелихова, который брал на себя ошибку Сергея Петровича. И все же несмотря ни на что Богословский не мог поверить, что Гуляев действительно не вернется. Он упорно продолжал ожидать его. Вероятно, во всей коммуне он был единственным, кто допускал еще возможность возвращения Гуляева. Среди болшевцев на этот счет не существовало двух мнений.

Первым на отсутствие Гуляева обратил внимание Чума. Это было на утро другого дня. Чума имел привычку просыпаться раньше других. Проснувшись, он подолгу лежал в постели, вглядываясь в потолок, по которому бродили вялые мухи, выкуривал несколько папирос. Он ждал, когда встанет очередной контролер, позвонит в колокол, разбудит других. Последним, нехотя, поднимался с койки и, не убирая ее, шел на кухню. Ребята ворчали ему вслед. Тогда он возвращался и кое-как набрасывал одеяло на постель.

Сегодня, проснувшись, он, как всегда, посмотрел на потолок, потом поискал папиросы и случайно взглянул на койку Гуляева.

Постель Лехи стояла прибранной и несмятой. Чума перевел взгляд на стенку. Знакомой шинели с измазанной полкой не было на гвозде. Не было и измятой фуражки с надорванным козырьком.

«Вот оно что!» подумал он радостно. И вдруг громко, визгливо заулюлюкал:

— У-ю-ю-ю!

— Ты что? Чего сон тревожишь? — сердито высунул голову из-под одеяла Накатников.

— Вставай, паразиты! Леха не вернулся! — кричал Чума. — Видишь? Вон она, коечка-то!

Болшевы оглядывали одеяло, подушку, железные прутья койки, точно видели все это впервые. Гуляева не было.

И сейчас же все вспомнили, как он с кошелкой шел к станции, как сидел в компании приятелей на платформе в ожидании поезда.

— М-да-а, — сказал кто-то многозначительно.

— А мы тут киснем! — заорал Чума. — Сапоги, видишь, научат шить! А у Лехи, небось, сейчас! — И Чума залихватски, хрипло пропел:

Сigaretка в зубах,  
Сто червонцев в штанах,  
И костюм на нем горит —  
До чего ж шикарный вид!

— Леха, братва, сейчас в ресторан, а мы куда? Полю мыть! — Чума с отвращением выругался. Сегодня была его очередь дневальить по спальне.

— Заткнись, — закричал Беспалов, красивый кареглазый парень, облизывая пересохшие губы, — чорт, душу не выворачивай!

Он крепко тосковал по вину.

— А что, в ресторан не хочешь? — измывался Чума. — Тогда мой за меня пол... Слышишь?.. Папирос пачку дам...

— Поди ты, — огрызнулся Беспалов. — Я в лес уйду...

— Э-э! — протянул Чума с презрением и насмешкой. — Я думал, к Лехе в Москву поедешь, а ты — в лес!

— И в Москву поеду, — угрюмо сказал Беспалов.

— Чума, дай мне папиросы... Я пол вымою, — предложил, приплясывая, Чинарик, прозванный так за малый рост. У него была привычка непрерывно отбивать одной ногой чечетку.

— Ладно. Помоешь — получишь, — согласился Чума.

Беспалов набросил шинель и выбежал на крыльцо. Застегивая пуговицы, он огляделся по сторонам и скорым шагом пошел к перелеску.

— Эй, обожди! — закричал сзади Чинарик.

От коммуны вразброд, в одиночку, спешили за Беспаловым ребята. Позади всех, надевая на ходу непослушную шинель, бежал Чума.

— Ну, что делать будем? — спросил Накатников.

Прислонившись к дереву, он начал свертывать папиросу. Руки его дрожали. Табак сыпался между пальцев в мокрую от росы траву. Чума сел рядом с ним.

— Леха не спрашивал, что ему делать, взял да и смотался. А у тебя что, мозгов нет?

— Ну, уйдем, а потом что? — сказал Накатников.

— Сигаретка в зубах, сто червонцев в штанах, — запел Чинарик.

— Дай папироску, — сказал он Чуме, садясь и обнимая Чуму за плечи.

— Ты не садись, тебе пол мыть надо! Ступай, тогда и покуришь, — строго заметил ему Чума.

— Что я, нанялся?

— Хочешь курить — значит, нанялся.

Чинарик постоял, подумал, хотел что-то ответить, но не сказал ничего и не спеша пошел к общежитию.

Из окна своей комнаты Богословский видел возбужденную суету ребят. Он сразу догадался о причине возбуждения. Это было именно то, чего он так боялся. Вот они, последствия ухода Гуляева! Он поспешно вышел из дому. На прежнем месте ребят уже не было. Они завтракали.



Богословский вошел в столовую. Чума кончал есть. Он почтительно приветствовал Сергея Петровича. В присутствии воспитателей он всегда держался ярим защитником коммуны. Его выступления на собраниях походили на выступления Накатникова. Он работал тонко, имел авторитет среди воспитанников. Разоблачить его было нелегко, но никто из воспитателей не заблуждался на его счет: Чуме можно было доверять меньше всех.

— Гуляев-то не пришел?— озабоченно осведомился Чума, незаметно толкая в бедро сидящего с ним рядом Королева.— Неужели решил дать драпу?.. Какая скотина... И голубков вам не привез!..

За столами прислушивались, кто-то заглотал от удовольствия.

Сергей Петрович слегка побледнел. Было понятно, что от того, как он ответит сейчас, может зависеть многое.

— Гуляев придет, — сказал он. — Куда же он пойдет, на зиму глядя? А голубей он поехал покупать для себя...

По лицу Чумы скользнуло смущение. Да, глядя на зиму, уходить рискованно. Этот тихонький докторишка оказывался хитрецом, с которым, может, лучше не связываться.

— Ты сегодня в спальне дежуришь? — переменял тему разговора Богословский. — Смотри, чтобы все было в порядке. Полы будут грязные — придется перемывать.

Чуме захотелось скрипнуть зубами, но он сдержался.

— А как же?.. Будьте покойны, Сергей Петрович... Все будет, как зеркало!.. — отвечал он обычным наглым тоном с оттенком подчеркнутого подбострастия.

На воле Чума долгое время жил у барышника, помогал ему сбывать краденые вещи, ухитрялся обманывать его и хорошо зарабатывал. Дело это нравилось ему.

В коммуны он пришел из Бутырок. Так случилось, что из болшевцев Чуму никто на воле не знал. Это давало ему возможность слыть среди них заправским воров. Он не прочь был даже «повожачить», но он понимал и то, что если не сумеет подладиться к воспитателям, могут произойти всякие неприятности. Рег, воспитатели должны быть о Чуме наилучшего мнения. Только тетю Симу он не принимал в расчет, нарочито издевался над ней.

Он пошел в спальню.

Чинарик кое-как размазывал грязь по полу мокрой тряпкой.

— Это разве мытье? — заорал с порога Чума. — Разве так моют! Это что? Это что? — тыкал он ногой в густые полосы грязи. — Размазал грязь, а я отвечать должен? За что папирсы будешь брать? Перемой, чорт!

Чинарик покорно перемывал. Сам взялся, надо терпеть.

Одну особенно грязную половицу Чума заставил его перемывать три раза. Чинарик потел, сопел, мыл.

Чума обошел койки, оглядел застланные постели, хозяйской рукой опустил завернутые края серых грубошерстных одеял. Потом осмотрел еще раз свежевывмытые, влажно пахнущие половицы.

— Ну, ладно... Получай!.. Принимаю работу!.. — одобрительно сказал он замученному Чинарику и бросил ему нераспечатанную пачку дешевых папирос.

— Приходи теперь, пожалуйста, нюхай, где хочешь! — Он злорадно посмотрел на койку Гуляева. — Зима, подумаешь!.. Испугали зимой! Да у Гуляева в Москве, может, целый десяток квартир есть!..

Пришел Гуляев к обеду. В руках у него покачивалась объемистая плетеная корзинка, завязанная холстиной. Болшевцы молча окружили его. В корзине глухо гулькали и возились голуби. Леха присел на корточки, отвернул холстину и стал наводить в корзинке порядок. Он понимал, что все ждут его слов, что он должен объяснить свое возвращение в коммуны.

На Трубиной площади он купил голубей — четырех обыкновенных и пятого с желтой короной на голове. Голубь распускал длинные выгнутые крылья и рвался из рук. Лехе так захотелось посмотреть, как летает и кувыркается коронованный голубь, что прямо хоть выпускай его здесь же, на шумной площади.

В шалмане, куда принес Леха своих голубей, устроили гулянку. Было весело: пили водку, орали песни, обнимали девочек. Какой-то долговязый парень с желтым рябым лицом и оттопыренными ушами клялся Лехе в дружбе, приглашая на верное тысячное дело. «Выпьем!» поминутно кричал парень. Дрожащей рукой он наполнял стакан, проливая водку на стол и на пол. Потом Гуляев ушел в темный угол, лег на кушетку и там незаметно уснул под звон стаканов и выкрики.

Проснулся он на рассвете. Побаливала голова. Приподнявшись на локте, он осмотрел комнату. На столе в лужах водки мокли огрызки колбасы, хлеба и огурцов; люди валялись прямо на полу, среди мусора и окурков. Тяжелый воздух был отравлен застоявшимся табачным дымом, запахом водки, дыханием людей. Вся эта неприглядная картина освещалась холодным светом пасмурного утра; свет был ровный и, не давая теней, проникал беспощадно всюду. И лица спящих, испитые и вздутые, казалось, были уже тронуты могильным тлением; невозможно было поверить, что живые, настоящие люди могут иметь такие страшные лица.



Так вот она, счастливая, веселая жизнь, о которой он, Леха Гуляев, мечтал, покидая коммуны! Он не удивлялся ее безобразию.

Он знал, что в шалманах не бывает иначе, что сколько бы ни прожил он здесь — хоть до ста лет, — каждое утро, просыпаясь, будет он видеть тот же залитый водкой стол, те же мертвые лица, будет дышать тяжелым, отравленным воздухом...

Он лег на спину, чтобы не видеть комнаты. Он думал. Собственные мысли пугали его. Он не любил редкие минуты просветления, когда разум из верного друга, обладающего неоценимой способностью утешать, обещать и придумывать оправдания гнусным поступкам, превращался вдруг в строгого судью и, подобно сегодняшнему утру, освещал всю жизнь Лехи ровным светом, беспощадно проникающим всюду. И прошлое вставало такое же грязное, постыдное, заплеванное, залитое водкой, как эта комната.

Что мог он вспомнить? Его голодное детство бродило босиком по мутным осенним лужам на Сухаревском, Смоленском и Тихвинском рынках. Оно мчалось от преследователей с выпрыгивающим сердцем и зажатым в руках кошельком, оно лежало на холодной и скользкой земле, под тяжелыми сапогами озверевших людей.

Что мог он вспомнить? Своего первого учителя — безногого инвалида Капитонова. Поместив короткое, подобное чугунному бюсту, туловище на маленькую тележку с четырьмя железными колесиками, Капитонов проворно ездил по улицам, отталкиваясь зажатыми в руках деревяжками, ловко лавируя среди бесчисленных ног. Точно в насмешку, он был обречен видеть у людей только то, чего был лишен сам, — ноги. Может быть, потому он так ненавидел людей. Забавы его были злобны и мерзки.

Ругаясь с прохожими, он весь багровел, хватал, не нагибаясь, горсти грязного снега с дороги и торопливо ел его. Он первый обратил внимание на бойкого и озорного Леху и надоумил его грабить около булочной ребятишек, которых родители посылали за хлебом. Сначала Леха грабил, боясь, что инвалид заподозрит его в трусости, потом этот грабеж стал для него обычным делом.

Инвалид жил в глубоком подвале и содержал там шалман. Он свел Леху со взрослыми, опытными в воровском деле ребятами, которым было уже лет по восемнадцати.

В подвал собирались часам к шести. Сначала играли в очко, причем инвалид всех обыгрывал — он, вероятно, этим и жил; потом пили, всегда с песнями и девочками. Кто-нибудь поднимал инвалида на стул. Топорща жидкие свои усы, он кричал, перебивая всех:

— Ну, что — живем! Одни с ногами, а я, например, без ног. А хоть без ног, да если бы был ученый, такой бы выдумал газ — все бы сразу подошли. Все! Понял? А я хоть и безногий, да остался бы жив.

Много рассказывал он о своих победах над женщинами. Даже взрослые, видавшие всякие виды воры отплевывались, слушая его.

Погиб он страшно. На дворе перед самым входом в подвал случилась драка; инвалид принял в ней участие, тыча деревяжкой всех без разбора в низ живота. Кто-то в сердцах ткнул его ногой так неудачно, что тележка поехала по лестнице вниз, подпрыгивая на ступеньках, стуча и звеня колесиками, все быстрее и быстрее, а инвалид дрожащим от тряски голосом кричал: «Де-е-ерж-и!» Лестница насчитывала ступенек тридцать, и инвалид расшибся.

Что мог еще вспомнить Леха Гуляев? Дежурства «на стреме», бесконечные приводы в угрозыск, любовь, купленную за трешник.

Еще мог он вспомнить тюрьму, где познакомился со вторым своим учителем, которого все называли Студентом.

Студент — черный, смазливый — проститутки дорого платили ему за его любовь — усаживался на койке, поджав ноги калачиком, и витиевато громил советскую власть за непоследовательность политики.

— Коммунисты против собственности, — говорил он, — и мы против собственности. Коммунисты говорят — все общее, и мы говорим — в шалмане все общее. Подходи к столу и пей, сколько хочешь. Почему же коммунисты сажают нас в тюрьму?

И заканчивал с пафосом, высоко подняв смуглую руку:

— Пусть все воруют у всех. Воровство не порок, а добродетель. Воровство есть стихийное стремление против собственности! Да здравствует воровство!

Камере эти речи ужасно нравились, и она шумно выражала свой восторг. Гуляеву слова Студента казались мудростью. Вскоре он применил советы Студента практически и украл у самого же учителя пять рублей.

Студент немедленно отыскал вора и, загнав Леху в угол, долго сосредоточенно бил по лицу тяжелым кулаком, а блатяки, видимо, не понимая, что поступок Студента прямо противоречит его убеждениям, крикая, приговаривали:

— Дай ему еще, дай ему! Ишь, завелась паскуда: этак все в камере разворуют!

На этом примере Гуляев понял ту истину, что люди часто бывают великодушными, щедрыми и справедливыми только за чужой счет.



Что еще мог он вспомнить? Да и не хотелось ему вспоминать. Чтобы отвлечься от омерзительных, гнусных воспоминаний, он встал и, шагая через головы, ноги и тусклые пятна осеннего света на полу, пошел к двери — проведать своих голубей. И не сразу нашел корзину с голубями: кто-то бросил на нее вчера пальто. «Задохлись», горестно подумал Леха, поднимая пальто. Он просунул ладонь в корзину, голуби щекотали ладонь клювом — просили зерна.

Гуляев поочередно кормил их крошками. Коронованный голубь опять выгибал тонкое крыло — тосковал о полете. «Выпустить его, — подумал Леха. — Держать здесь негде, в шамане голубятню не устроишь».

Он вышел с корзиной на двор. Стены поднимались отвесно и помешали бы видеть голубиный полет. Как-то сразу решил Леха съездить за город и там выпустить голубей. Когда брал в кассе билет, назвал Болшево. Некуда было больше ехать ему. Он только посмотрит полет этого желтоголового и, конечно же, не останется, уедет опять.

И вот он снова в коммуне.

Он сидел на корточках перед корзиной и с преувеличенной внимательностью разглядывал голубей. Он посмотрел в глубокое небо, сказал, как бы советуясь с товарищами:

— Выпустить, ведь и не вернутся, пожалуй. Не привыкли еще.

— Улетят, — подтвердил Осминкин, — обязательно улетят. Ты погоди.

Это простое замечание обрадовало Гуляева, и он пустился в пространные разговоры о голубях. Никто не спросил его о причине возвращения.

Целый день Гуляев устраивал голубятню. Через свисающие вершины сосен, между их чешуйчатыми стволами пробивалось теплыми полосами вечернее солнце. Новый лакированный замочек поблескивал на дверцах голубятни. Подошли товарищи, похвалили работу. Чума не мог скрыть своего разочарования. Гуляеву показалось, что в словах Чумы сквозит насмешка, не чувствуется прежнего уважения к нему. Он ударил Чуму тут же у голубятни. Помочь Чуме никто не посмел. «Значит, боятся еще», самодовольно подумал Гуляев.



Любовь к голубям удержала многих воспитанников  
от ухода из коммуны



# МАСТЕРСКИЕ

**М**елихова очень беспокоило, как отнесутся его воспитанники к труду. И возможно ли, чтоб люди, на языке которых понятие «работать» переводилось словом «ишачить», научились любить и уважать труд?

— Ведь надо же, чтобы они захотели работать! Надо же, чтобы они каким-то образом поняли необходимость этого? — говорил он Погребинскому перед приходом бутырцев. — Что кроме хорошей книжки, которая будила бы воображение, может дать им такое понимание?

Но Погребинский не согласился с Мелиховым:

— Не книжка, а потом жизнь, а прежде всего — жизнь, а с нею — книжки. Товарищ Ягода это ясно определил: нужна человеку обувь — пусть сошьет ее себе! И когда он увидит, что хороших сапог или табуреток без книг не сделаешь, — он сам их запросит, будьте уверены!

Воры любят обувь. Особая страсть, особый шик — сапоги и ботинки. Значит, их должно заинтересовать обувное дело. Они ценят физическую силу. Значит, многих из них может увлечь кузница. И главное, чтобы не было скучно, чтобы работать было интересно, весело... В дальнейшем, когда мастерские наладятся, можно производить спортивный инвентарь. Спорт для молодого парня — дело кровное!

Все это воспитатели понимали, но самое трудное было в том, чтобы правильно начать.

В коммуну приехали инструкторы по обувному и кузнечному делу.

Мелихов повел их знакомиться с болшевицами.

— Вот они, наши молодцы, — сказал негромко Федор Григорьевич.

Ребята ожидали завтрака, курили, развалиясь на койках, вяло о чем-то спорили. Рябоватый, приземистый паренек, задрав ногу на подоконник, прикручивал проволокой отставшую подошву. Может быть, он готовился в далекий путь.

— Теперь в коммуне жизнь весело пойдет! — сказал Мелихов громче, чтобы его услышали все. — Знакомьтесь — это приехали к нам мастера.

— Хм, мастера, — иронически протянул кто-то.

— Мы сами мастера, — хвастливо намекнул Калдыба — парень, известный тем, что с двумя другими ворами бежал из арестного дома, связав охрану двух внутренних постов и наружного часового. Он был действительно в своем роде «мастер».

— Фальшивомонетки, что ли? — с ехидством осведомился из угла Умнов.

— Молодцы, бойкие! Кое с кем я в прошлом году на рынке виделся, кажись, — ухмыльнулся пожилой, высокий приезжий.

Под глазами, на переносице, на скулах у него дрожали мелкие добродушные морщинки.

— Фальшивую монету я чеканить не умею, — продолжал он с притворным сожалением. — Зато настоящую деньги могу ковать. Кузнец я. Зовут меня Павел, по фамилии Демир.

Мелихов представил другого приезжего — сутулого, молчаливого человека:

— Это инструктор по сапожной специальности. Тоже вольнонаемный.

Сутулый инструктор смущенно переминался с ноги на ногу. Он держал под рукой большой тяжелый сверток.

— Вы знаете, что жить в коммуне и не работать — нельзя, — сказал Мелихов. — Все должны работать! Каждый может выбрать себе специальность по своему вкусу. А так как всякий труд должен быть оплачен, то и у нас будет зарплата.

— Будете деньги платить? — заинтересовался Калдыба.

Деньги ему были очень нужны: вот уж третий день никак не удавалось раздобыть водки.

— Нет, денег не будем платить. Деньги будем платить, когда мастерские станут работать с прибылью, когда вы сделаетесь мастерами! А до тех пор... Вы все курящие... Требуете махорки. Вот мы и будем рассчитывать на махорку. Кто хорошо будет работать, тому полторы столовых ложки махорки, кто похуже — тому ложку или ложку с четвертью, а то и пол-ложки...

— Ну и зарплата! — фыркнул Калдыба с презрением.

— Работайте лучше, учитесь скорее, будете получать и червонцы.

— А если я не буду работать, что же, вы мне махорки не дадите? — спросил Гуляев, ни на секунду не допуская такой возможности.

— А конечно, — подтвердил Мелихов с удивительным спокойствием. — Раз ты не будешь работать — значит, не хочешь быть в коммуне. Почему же коммуна должна давать тебе махорку?



Дело приобретало неожиданный и мало приятный оборот. Федор Григорьевич объявил, что мастера приступят к работе завтра.

На другой день после завтрака сапожник, дядя Андрей, обошел весь дом в поисках места, где поудобнее расположиться с инструментами. Переходя из комнаты в комнату, он недовольно качал головой. Везде было тесно. Пришлось обосноваться в коридоре. Сюда он приволок со двора пахучую соновую доску, приладил ее на два толстых обрубка и проверил устойчивость временного верстака.

Потом развязал, не торопясь, сверток, который все время таскал подмышкой, и вывалил на доску разнообразный инструмент: молотки, ножи, рапшилы, шила, колодки. Из мешка шлепнулись также три изношенных кривых ботинка — женский, мужской и детский.

— Э, сынок! — неожиданно окликнул дядя Андрей проходившего мимо Гуляева. — Что у тебя на ногах, никак лапти?

— Врешь, старая перешница, — возмутился тот и лихо пристукнул о пол каблуками. — Сам лапотник. Ботинки у меня — класс.

— То-то, класс. Проволоки, заметно, полпуда. Горит на вас обувь, — и дядя Андрей таинственно поманил Гуляева к себе пальцем:

— Подь ко мне.

— Зачем?

— Иди, не укушу, дельце есть.

Гуляев засунул руки в карманы и подошел с таким независимым видом, словно оказывал сапожнику величайшее одолжение.

— Проволока зря намотана, — качнул головой сапожник. — Давай гвоздочками подобьем подошву? Оно понадежнее будет.

Гуляев хитро прищурился:

— А за работу три шкуры сдерешь? Знаем мы вашего брата, частных.

Щетинистые губы дяди Андрея обиженно надулись.

— Какой же я частник? Починю задаром! Скидывай башмаки, — вразумлял он.

— Что, сдрейфил, Леха? — подзадорил его сзади болшевец Хаджи Мурат.

Хаджи Мурат был увлекающийся парень. По национальности он был поляк. Звали его Юзиком. Черные, жесткие, прямые волосы и выпуклые скулы делали его похожим на монгола. На вопросы, откуда он родом, он неизменно отвечал: «С Кавказа». И принимался пространно рассказывать свою историю.

На Кавказе он командовал отрядом чеченцев, воевал с русскими войсками. Однажды поссорился с чеченским команди-

ром Шамилевым и, чтобы спастись, убежал в горы. Кое-как добрался до русских. Однако у русских ему не понравилось. Через неделю он в сопровождении пяти верных товарищей бросился обратно в горы. С великим трудом они отбивались от погони, дрались с целым батальоном русских. Гибель была неминуема. Тогда Юзик выхватил саблю наголо и бросился на русских с криком: «Хазават!» Русские оробели, смешались, расступились перед ним.

— Что такое «хазават»? — спросил его как-то Умнов.

Находчивый Юзик ответил, не моргнув глазом:

— Смерть капитализму!

Третьего дня Юзик, к несчастью своему, рассказал эту историю Накатникову. Тот молча выслушал его и вместо того, чтобы похвалить за храбрость, заметил пренебрежительно:

— Ну, это клеишь! Эта история случилась сто лет тому назад, когда твой дед сосал мамкину грудь, а тебя и твоего отца еще и на свете не было. Это был такой Хаджи Мурат, и написано о нем в сочинении графа Толстого.

Юзик был посрамлен. Он потерял славу храбреца, хотя и приобрел — имя Хаджи Мурата.

С момента появления инструкторов он находился в возбужденном состоянии. Он и сам не знал, что его собственно так беспокоило. Он то возмущался тем, что теперь махорку будут выдавать только работающим, то начинал объяснять болшевецам, что раз они знали, идя в коммуну, что в ней надо работать, — теперь нечего зря бить языком.

Сейчас ему хотелось посмотреть, как будет мастер ковырять шилом башмаки Лехи. Его поддерживали другие ребята.

— Уважь гостя, скинь коней!

— Дай ему с условием, чтобы за десять минут сделал, — солидно советовали они Гуляеву.

Но солидность эта была напускная.

Гуляев начал снимать ботинки.

Дядя Андрей сел на табурет и придвинул к верстаку еще два табурета.

— Ремесло сапожное — не шуточка. Прыткий какой: починить этакую рвань в десять минут! — ворчливо рассуждал он, ощупывая и разминая закрутивший лехин башмак. — А, впрочем, тово... берусь в десять минут эту посудину подправить. Только я, приятели, тоже птица стреляная!.. Пушай ваш Леха садится рядом со мной — в помощники... Я за один, а он за другой башмак. Я ему форшиком наколю, а он молотком гвоздочек стукнет... Не хочешь? Зря.

Сапожник посмотрел вокруг себя и продолжал:

— Ты прикинь, чудак. Может, судьба твоя горькая когда-нибудь занесет тебя, куда Макар телят не гонял, где за сто



верст вокруг не сыщешь сапожника. А украсть там нечего. Ведь может статься? А в те поры обувка твоя продырявилась, на шнурке держится... Как будешь? Босым пойдешь? Вот и прикинь мозгой. Ремесло в жизни — вещь важная. Для своей же пользы подучись.

Воспитанники придвинулись ближе. Гуляев стоял впереди разутый, в портянках. Все ждали, что он сделает.

— А, пожалуй, верно? — вопросительно сказал Гуляев.

Никто ему не ответил. Гуляев сел.

Это было как бы сигналом.

— Вали, ребята! Шей! — крикнул Хаджи.

— Обувай!

— Подковывай!

Воспитанники набросились на верстак, растащили принесенные башмаки, с бранью вырывали друг у друга молотки, кожу, шилья.

Дядя Андрей попробовал было объяснить, что железными гвоздями подбивать подошву не годится — надо деревянными, но его никто не слушал. Большевики, смеясь, вбивали гвозди куда попало. Подошва женского ботинка засверкала от множества шляпок гвоздей. Мужской изрезали на клочья. Детский утащили куда-то.

Вероломный Леха развлекался наравне с другими. К своему ботинку он не притронулся.

Грохнула опрокинутая табуретка. Хаджи Мурат захлебнулся руганью:

— Удаvisь ты со своими конями!.. Чтоб вас задушило вашей махоркой!.. Гад буду, если я еще хоть раз сяду калечиться!

Он иступленно размахивал уколотым пальцем.

— Кончай! Ну их! Вали на улицу, — загалдели большевики, бросая инструмент. — Без рук останешься... Отыскали ишаков!

Гуляев наспех натянул недочиненные ботинки и галантно расшаркался перед дядей Андреем:

— Разбогатею — марафетом угощу. Нюхнешь разок — понравится.

— Ты бы лучше угостил меня завтра махорочкой! — лукаво сказал дядя Андрей.

Через минуту он остался один, но морщинистое, хитрое лицо его было спокойно.

Очередь поближе познакомиться с воспитанниками коммуны пришла и кузнецу.

После обеда он открыл плечом дверь и грузно ввалился в спальню.

— Соскучились, сударики! — приветственно загремел он с порога и, растопырив руки, вразвалку двинулся к койкам.

На угловой койке, закрыв лицо фуражкой, дремал долговзый Калдыба. Он не успел еще протереть глаза, как дядя Павел ощупал его плечи и одобрительно похлопал по животу:

— Го-о-ден! — весело сказал он и пошел к следующей койке.

На ходу он сопел и отдувался. Его ладони были так огромны, что, казалось, могут сплющить человека.

— Этот пистолет хорош, а этот жидковат, — объявлял он на весь дом.

Ошеломленные развязностью кузнеца, ребята не оказывали сопротивления. Даже Королев, славившийся атлетическим сложением и строптивостью характера, затаил дыхание на своей кровати.

Дядя Павел добрался до Королева в последнюю очередь. Он слегка пощекотал его за ухом:

— Хорош парень. Годен!

И тут произошло совсем невероятное событие. Могучий Королев, сделав страдальческое лицо, вдруг заскулил, точно щенок, который почувал прорубь:

— Куда годен? Не трожь меня, дяденька. У меня руки, ноги ломит... Вроде — тифозный...

Когда-то в угрозыске Королев с успехом симулировал сумасшедшего. Его отправили на Канатчикову, откуда он и бежал. Однако сейчас притворство совсем не удалось.

Кузнец участливо склонился над ним:

— Болен? А ну, посмотри на меня. Может, доктора кликнуть? Нет, ты смотри прямее, вот так. Здоров! — голос кузнеца был громок. — По глазам вижу — здоров. Из тюрьмы в коммуну жить пошел — за это умен. А что в коммуне очки втираешь — это негоже.

— А кто тебе позволил в мертвый час до нас прикасаться? — обидчиво, однако не слишком смело вступился за Королева Умнов.

Дядя Павел медленно, с достоинством потянул серебряную цепочку на своей груди и вынул часы. Щетинистые губы его строго шевельнулись.

— Рекомендую убедиться: мертвый час кончился девять минут назад, теперь живой начался. Ну, собирайтесь... Поведу я вас в такое прибыльное место, где сразу две пользы будет: физкультурой подзайметесь и деньгу ковать научитесь. Годные — за мной! — скомандовал он и повернулся в сторону двери.

Четверо признанных годными, почесываясь, поднялись с матрацев. Королев, притворно охая, поплелся последним.

— Малахольные! — крикнул вслед им Умнов. — Забыли, что от работы кони дохнут.

Умнов был одним из лучших учеников в обувной детдома имени Розы Люксембург. Там ему хотелось, чтобы все ребята



видели, что он способнее и ловче каждого. В коммуне с приходом урок появились люди, бесспорно более ловкие. И Умнов потерял всякий интерес к обувному делу. Впрочем, в кузницу он пошел бы работать... если бы ему предложили. А дядя Павел даже не подошел близко к щуплому, низкорослому Умнову. Он распластался на матрасе животом вниз и прикрыл голову подушкой, чтобы ничего не видеть.

Неподалеку от дома коммуны стоит покосившаяся, ветхая лачуга — кузница. Когда-то, еще до совхоза, в ней обитал кузнец-кустарь со своей женой. Супруги занимались не столько горячей обработкой металла, сколько винокурением: по ночам гнали самогон. Предприимчивую чету осудили. Кузница стала пустовать. Ржавела и протекала крыша. Дожди размывали горн. Несколько раз по неизвестным причинам кузница загоралась. Но почему-то бревенчатые стены ее не поддавались огню, лишь слегка почернели и обуглились.

По дороге дядя Павел расспрашивал ребят: хорошо ли их здесь кормят, крепко ли спят по ночам, какие болезни перенесли в детстве и нет ли у кого грыжи?

Ребята рассказывали о себе не очень охотно.

Лишь Калдыба подробно пожаловался, что у него на сердце сидит твердая, как орех, опухоль. Появилась она после того, как он однажды на рынке украл буханку хлеба. Нагнали торговцы. Били по голове страшно. Голова уцелела, но сердце повредилось. И когда ноет опухоль, он может выпить хоть две бутылки и все равно останется трезвым.

Он сетовал также на то, что в коммуне запрещают пить водку, нюхать марафет. Главное же — нет девочек! А теперь вот и махорку надо зарабатывать.

В кузнице дядя Павел велел большевцам снять шинели, надеть принесенные им кожаные фартуки. Он положил не спеша трехметровую стальную полосу на ребра наковальни.

— Пригото-овьсь! — нараспев скомандовал дядя Павел и вызывающе подмигнул. — Ну-ка, попробуйте, молодцы. Эй, парень, держи зубило. Ну, кто хочет ударить?

«Тифозный» Королев соблазнился первым. Он изо всей силы замахнулся кувалдой.

— Легче! — поправил его дядя Павел, наставляя в метку отскочившее зубило.

За Королевым ударил Калдыба. Длиннорукий, он размахнулся так неудачно, что кувалда ударилась о дверь, посыпались труха и щепы. Все прыснули со смеху. Калдыба сконфузился. Санька Королев толкнул его в спину:

— Уйди, криворукий! Дай-ка вот людям!

Дядя Павел посоветовал открыть дверь, чтобы можно было шире размахнуться кувалдой.

Первый раз в жизни парни рубили металл. Зубило отскакивало. Стальная полоса, не прилегая плотно к наковальне, пружинила. Каждый неверный удар грозил увечьем. Кузнецы чертыхались.

Королев одумался раньше других. Он вытер рукавом свой высокий мокрый лоб и удивленно посмотрел на ребят мутными от усталости глазами.

— Ослы! На какого чорта вам это железо нужно? — и выпустил из рук кувалду.

Она клюнула землю толстым носом.

— Перекурим, — сказал спокойно дядя Павел и распечатал голубую пачку папирос.

— Знато, косопузые, работали. Глядел на вас и думал: не пропадем. Вылечимся от разных там опухолей и болезней! Ей-богу, вылечимся, не пропадем. — Он щелкнул в доньшко пачки, и оттуда выскочили стройным рядком, как в обойме патроны, пять папирос.

— На дешевку не продаемся, — предупредили кузнеца большевцы, угощаясь папиросами.

Дядя Павел сел на порог, сдунул пепел папиросы с фартука:

— Слов нет — рубили знато, а все-таки с изьяном. Вы какие-то все кривобокие, нескладные, опять же бьете с правой, а с левой руки ни один не ударил. Молотобоец девяносто шестой пробы бьет с плеча и с левой и с правой руки, бьет и с головы частыми ударами, например, при сварке металла... Это я вот вам погода покажу.

— Нет уж, другим показывай. С нас хватит, — сказал Беспалов.

Пыхтя папироской, к дяде Павлу подошел Королев, нагнулся и осторожно пощупал на левой руке кузнеца мускулы.

— Ишь, пес! Жернова какие... Небось, трудно левой-то бить, а?

— Отдохнем — покажу, — повторил кузнец. — А сейчас поясню, для чего мы рубили металл. Это заготовка на резакки — ножи сапожные. Как ехать сюда, я договорился с обувной фабрикой «Парижская коммуна» взять у них заказ на эти резакки, по четыре целковых штука. Работа капризная, аккуратная. Когда научимся да пойдет у нас работа — часть вырученных денег мы будем распределять между собой как зарплату, а другую часть откладывать на покупку инструмента, материала, одним словом, на расширение производства. Разговаривал я и с костинскими мужиками и совхозом ОГПУ. Мол, мои ребята будут вам за продукты и плату лошадей ковать, перетягивать шины, что надо, ремонтировать. Заказов, выходит дело, хоть залейся. Вот и хочу спросить, как ваше мнение: разговаривать мне насчет этих заказов или уж пусть другим отдадут?



Калдыба курил, сидя на корточках. Он вдавил окурок в землю и поднялся:

— У меня предложение: в кузнице занять огнетушитель, чтобы на всякий случай...

— Заткнись! — перебил его Королев. — Я вот что скажу. Заказы непременно бери. За хорошую плату мы, отчего же, сделаем...

— Фабрика, небось, богатая. Будешь братъ — не продеши!

— Луши с нее все четыре шкуры, — решительно посоветовал Беспалов.

После «перекурки» ребята не ушли, как собирались. Зашипел горн. Началась горячая обработка нарубленных полог. У дяди Павла обе руки заняты: в левой — клещи, в правой — молоток-ручник.

У Королева по лбу текут едкие, смешанные с копотью струйки пота. Из-под кувалды брызжут пучки малиновых звезд. Бить с головы труднее. И когда удары становятся реже, когда Королев совсем уже готов бросить кувалду и прохрипеть: «К чорту, не хочу больше», — дядя Павел, придерживая клещами розовую полосу, вдруг начинает вызванивать ручником что-то необыкновенно складное, хоть плясать начинай.

Молниеносными движениями ручника он показывал, где и как надо бить кувалдой, и это завораживало молотобойца, захватывало, как игра.

В конце концов Калдыба не вытерпел, схватил кувалду, и в две руки посыпались частые удары на остывающую вишневого цвета сталь.

Ночью Борисов, «бутырец», натянув до шеи одеяло, таращил в темноту глаза и вполголоса, чтобы не разбудить соседей, рассказывал Умнову:

— ... Приехали за нами в тюрьму на рассвете трое: один в кубанке, лицом круглый, другой Мелихов, а третий — этот кузнец. Вывели меня из камеры, велют переодеваться, торопят: дескать, машина ждет. Говорят — «в коммуну». Я об ней-то уж слышал, просился. А не верю, вроде как испугался, тряусь весь. Одежда попалась широкая, сзади хлястик тычу пальцем, никак не застегнуть. А кузнец подходит. «Эх, ты, — говорит, — хлястика застегнуть не можешь». Да и застегнул. Ей-богу! Завтра пойду к нему. Попрошусь хоть в подметалы. Больно парень свойский. Всему научит... Ей-богу!.. Пойдем вместе, Саш?

Из раскрытого рта Умнова вылетали сильные звуки. Он спал.

В другом конце комнаты перешептывались:

— Ежели обманут насчет будущей зарплаты, — фартук кожаный заберу и загоною... А что? За махорку, что ли, работать?

— Конечно... А, как думаешь, за кожаный фартук сколько у Каина выручишь?..

На следующий день Павел Демин кроме полагающейся махорки получил у Мелихова для кузнецов дополнительное питание и спецодежду — ватные брюки, фуфайки. В полуденный перерыв кузнецы после того, как одолели удвоенную порцию обеда, качали в знак благодарности дядю Павла, тоже отяжелевшего от еды.

Штат кузницы пополнился Борисовым и Умновым. Борисов во время работы норовил быть поближе к мастеру, толкался у горна и наковальни. А Умнов свой приход озаменовал изобретением. Ему поручили «дуть». Он дергал веревку, привязанную к рукоятке, развалиясь на куче угля. Меха тяжело дышали.

Не дремал и дядя Андрей. Он было исчез куда-то, но когда к дому коммуны подъехала военная повозка, на которой высился ворох истрепанных красноармейских сапог, он появился снова. Пахнущую плесенью и пылью кучу сапог, полученную для коммуны из пехотного полка, сложили в коридоре у верстака. В куче кое-где выглядывала и обувь, отливавшая черносиним глянцем хрома.

Когда подошли воспитанники, дядя Андрей застегнул ворот на рубаше, поправил складки за поясом и приосанился:

— Ребята! Сапоги вот. Для вас привезены.

— Ну-ка, что за сапожки? — заинтересовался Гуляев.

— Рвань...

— А выбрать можно! Хороший есть сапог.

— Дайте мне слово сказать, — взмолился дядя Андрей. — Вы себе сами хозяева. Можете разобрать эти сапоги сейчас, как они есть — дырявые. Но по-моему лучше бы так: каждому я дам по паре. Вы маленько почините их под моим наблюдением и потом каждый свою пару носите. А кто всех лучше будет работать у меня подручным — тому, вроде как в награду, отдадим хромовые. Идет?

— Обманываешь!.. — усомнился Хаджи Мурат.

— Нужно мне тебя очень обманывать, — спокойно ответил ему дядя Андрей. — Ну, кто ко мне подручным?

— Хромовые? — переспросил Гуляев.

Он колебался.

— Ладно, я согласен.

— Это каждый согласится, — позавидовал Хаджи Мурат.

Все успели разглядеть среди хлама несколько хромовых пар. Когда рассаживались по табуретам, Гуляев подошел к Хаджи Мурату и, наклонившись к нему, прошептал на ухо:

— Сапоги будет распределять инструктор, и ежели ты опять забузишь сегодня, то я тебе вот что... Понял? — и он погрозил кулаком.



Хромовые сапожки Гуляев решил не упускать.

Понемногу воспитанники осваивались. По коридору пошла стукотня.

Удача с ремонтом сапог внушила ребятам чувство самоуважения. Каков бы ни был ремонт, но он был сделан собственными руками. Все щеголяло в обновленной обуви, хвастались друг перед другом своими успехами. Многие, удовлетворившись достигнутым, отлынивали от новой работы. Неплохо узнавший повадку своих сапожников, инструктор решил посоветоваться с Сергеем Петровичем.

— Велико дело кожа... Ну, попортят, ну, поуродуют, зато своими руками делали. Уж если у кого сапог выйдет, того не оторвешь от дела, будет сапожником, — горячо убеждал Богословского дядя Андрей.

Он все-таки опасался, что его могут не поддержать: что там ни говори, а кожа — добро, зря переводить ее не годится, она денег стоит... Но Сергей Петрович вполне согласился с ним.

Для первого раза дядя Андрей отпустил товар одному Гуляеву. Тот несколько дней усидчиво горбатился на табуретке. Инструктор подходил к нему, указывал. Но Гуляеву только досаждало это. Что он, сам не понимает? И он делал не так, как показывал инструктор, а как хотелось самому. Все с нетерпением ждали первой пары сапг. И — ахнули: это были огромные сапожищи, с подошвой толщиной в два дюйма, с квадратными каблуками, прямые, негнущиеся голенища высились, как чугунные трубы. Весили они пятнадцать фунтов.

Гуляев с нежным и гордым отцовским чувством смотрел на дело своих рук.

— Да, — ввернул Хаджи Мурат, — на Петра Великого как раз.

— Не для господ сработаны, — с достоинством пояснил Гуляев. — На каждый день.

— А кто же их носить будет?

— Я сам! — угрожающе огрызнулся Гуляев.

Хаджи Мурат не верил, а Гуляев изо всех сил защищал честь своих сапог, доказывая, что размер и вес их были предусмотрены и объясняются наступлением зимних холодов — чем толще портянки, тем лучше. А хромовые для этого мало годятся. Гуляев решил немедленно продемонстрировать полную пригодность своих сапог и надел их, обернув предварительно каждую ногу мешком.

Он разулся только вечером. Утром он снова надел эти же сапоги.

Вторую пару, сделанную Лехой недели через две, все единодушно признали верхом изящества и легкости. Весила эта пара только двенадцать фунтов.

# КЛЮЧИ ТЕТИ СИМЫ

**Н**а кусок хлеба, жирно намазанный маслом, накладывались квадратики пиленого сахара. Это было пирожное. Сахар и масло похищались из кладовой понемногу, но постоянно.

Этому мелкому хищению содействовала рассеянность воспитательницы Серафимы Петровны, наблюдавшей за хозяйством. Память у тети Симы, как заметили большевцы, была плохая. Она постоянно забывала ключи от кладовой на столах и на подоконниках, хотя уверяла Мелихова, что хранит их, как зеницу ока.

Прежде чем отдать найденные ключи, ребята наведывались в кладовую.

А тетя Сима жаловалась на прожорливых крыс.

И в этот раз, заговорившись, она оставила ключи на столе. Почиталов взял ключи и, насвистывая, пошел в кладовую.

Он уже предвкушал удовольствие от «пирожного», но в кладовой было пусто.

Почиталов перестал свистать и степенно подошел к Мелихову.

— Ключи вот на столе брошены, — лениво сказал он. — Возьмите, Федор Григорьевич. А то ведь народ у нас разный — долго ли, в сахар залезут.

Серафима Петровна хватилась ключей, когда надо было собирать чай. Она клохтала, точно наседка, растерянно вертела головой.

— Я говорю, тетя Сима, у вас память короче куриного гребешка, — вяло поддразнивал ее Умнов.

— Ключи ищите? — спросил, входя в столовую, Мелихов.

— Не порядок такую вещь бросать, где попало. Благодарите Почиталова. Нашел и сейчас же доставил.

Тетя Сима пошла в кладовую. Вернулась совсем огорченная. Она часто моргала, ключи тревожно звенели в ее руках:

— Как хотите, Федор Григорьевич, а сахару больше нет. Утром еще было немного, а сейчас хоть бы кусочек!



Озадаченный Мелихов пожал плечами.

— Ничего едочки, — крикнул он. — Месячную норму съели за полмесяца!

— И масла нет, — упавшим голосом добавила тетя Сима. Мелихов порозовел.

— Ну, что ж? — рассерженно сказал он слушавшим этот разговор болшевецам. — Когда пусто, когда густо, когда нет ничего. По мне — ешьте месячную норму хоть в один день, а двадцать девять суток поститесь. Дело ваше... Как вам лучше.

Сели пить чай без сахара.

В коммуне уже существовали выборные из воспитанников, помощники воспитателей — «доверители» — и две хозяйственных комиссии — продуктовая и вещевая. Работали в этих комиссиях Андреев, Васильев и Смирнов. Теперь они почувствовали себя совсем неважно. Были все основания думать, что дело не кончится гневными словами Мелихова. Если начнут разбирать причину нехватки продуктов, кто же поверит, что руководители комиссии не знали о систематическом хищении масла и сахара!

— Сегодня общее собрание, — почти приказал Мелихов и сердито вышел из столовой.

Стало ясно, что готовится взбучка. Очевидно, кто-либо выслежен и будет уличен на собрании. Сахаром «баловались» почти все, даже те, кто в прежней жизни не любил никаких сладостей, предпочитая им водку. Было бы величайшей несправедливостью заставить отвечать за всех одного или двоих. У всех вдруг вспыхнула против Мелихова злоба.

— Сахару пожалел, усач!

— Себе, небось, не жалеет!..

— За кусочек сахару в Соловки отправляет.

Вновь возникало то круговое, блатное единомыслие, которым держался воровской мир и которое здесь, в коммуне, за последнее время несколько распаталось.

Посредине длинной комнаты стоял массивный, с порванным сукном бильярдный стол, вдоль стен — некрашенные скамейки. В углу чванно лаком блестел рояль. На стенах в нарядных рамах висели холсты, изображавшие кровных рысаков, фаворитов Крафта. Всегда аккуратный Мелихов на этот раз заставил собравшихся подождать его. Опоздал он умышленно, в этом Богословский не сомневался.

В памяти Сергея Петровича встал недавний случай.

Одной черной дождливой ночью он и Мелихов обходили спальни и застали воспитанников за картами.

— Отдайте карты, — потребовал Мелихов.

Но карты мгновенно исчезли.

Вновь и вновь воспитатели сталкивались с воровской «круговой порукой», которая сковывала у воспитанников языки. Восторжествовав раз, другой, неписанный закон этот мог укорениться и разлагать коммуны изнутри. Недаром Погребинский не уставал говорить об этом. Момент был ответственный. Мелихов тщетно искал нужное слово или действие, которое принесло бы победу. Сергей Петрович с надеждой взирал на него. Мелихов высоко поднял руку и крупно шагнул вперед. Его лицо побледнело.

— Вы мелкие, неблагодарные люди! — загремел он на всю спальню. — Вы не заслуживаете того, чтобы тратить на вас нервы и силы. Живите, как знаете... Я завтра же уезжаю... и навсегда!

«Что он говорит... Нелепость какая», подумал неприятно удивленный Сергей Петрович. Мелихов круто повернулся и ушел — оскорбленный, суровый.

С минуту никто не произнес ни слова. Потом чей-то грубоватый голос начал с угрозой:

— Если ты, Митька, не отдашь карты...

Все закричали, замахали кулаками, обвиняли в чем-то друг друга. Два паренька подскочили к Богословскому. В руках у них были карты.

— Нет, сами заварили кашу, сами и расхлебывайте, — отступил от них Богословский. — Несите Федору Григорьевичу, а я не возьму...

В ту же ночь делегация из нескольких парней отнесла во флигель к Мелихову карты и заодно обещала от всей спальни больше никогда не играть. Неожиданный этот результат показал Богословскому, что иногда воспитателю приходится пользоваться любовью воров к театральному, эффектному жесту.

И сейчас, ожидая его, Сергей Петрович предполагал, что готовится новый, не менее внушительный выпад.

Федор Григорьевич вошел, ни на кого не глядя. Большевики поспешно избрали президиум.

— Прошу слова, — спокойно сказал Мелихов.

Слово было дано.

— Сейчас мы проверили кладовую и твердо установили, что крыс там не было. Крысы, съевшие сахар, — двуногие и бесхвостые крысы. Грызуны эти сейчас сидят передо мной и смотрят на меня, точно на врага. А враги-то они сами себе. Коммуна в опасности!.. Дело не в сахаре... Дело в другом. В том, что коммунары начали поворовывать. И где? У себя, в коммуне. Мне неинтересно, кто именно и когда воровал сахар. Я знаю, что воровал не один человек, а многие, может быть, все. И тем позорнее, тем отвратительнее и тем опаснее это. Значит, не дорога вам коммуна, и чужие вы ей.



Мелихов говорил резко, но искренно, просто и горячо.

— Вам доверено все. Вас считают хозяевами здесь, — продолжал он.

При последних словах Васильев насмешливо улыбнулся и, повернувшись к Андрееву, сердито зашептал:

— «Доверие!» Я ему сейчас покажу! Этот сахар ему боком выйдет.

Он сидел злой и заранее торжествовал.

И едва Мелихов кончил, Васильев взял слово. Он не вышел к столу, а говорил с места, раскосо посматривая на Мелихова, уверенный в поддержке всей коммуны:

— Вот вы, Федор Григорьевич, сказали насчет доверия. Хорошо... И Погребинский это же говорит... А если разобраться — очки втираете, зубы заговариваете... Не было нам от вас доверия и нет! За каждую пуговицу, которая хранится в кладовой, говорите, отвечает Смирнов. Отлично. За масло, за сахар — я и Андреев... А ключи у кого? У тети Симы. Доверяют, нечего сказать!

— Не доверие, а насмешка! — вырвалось у Андреева.

Мелихов старался овладеть собой. Удар был нанесен хитро, во-время, в самую точку. Злые смеющиеся лица парней говорили об этом. Вот, мол, когда обнаруживается чекистский обман... Вот когда обнаруживается правота тех, кто издевался над Накатниковым за его речь... Недаром еще в тюрьме предупреждали: ничему не верить в коммуне.

Все, что с таким трудом удалось до сих пор сделать, грозило рухнуть теперь от одного неудачного слова. Только бы не показать ребятам растерянности, выиграть время для размышления. Сергей Петрович видел благодущную, снисходительную улыбку Мелихова, ленивый его жест, с которым он вытащил из кармана портсигар. «Не понимает он, что ли?» нервничал Богословский.

— Вот что, друзья, — мягко сказал Мелихов все с той же простецкой улыбкой. — Устали... Заервничали... Может быть, перекурим?

Расчет был правилен. Объявили перерыв.

Богословский был убежден, что выступление Васильева было для Мелихова полной неожиданностью. Но когда они, закурив, начали совещаться, то Сергей Петрович почти усомнился в этом.

— Они уж давно толкуют о ключах, — рассудительно говорил Мелихов. — Ключи придется им отдать. Я уже об этом думал. Если они захотят украсть — украдут... Разве замки для них задержка? Да теперь ничего другого уже и нельзя сделать.

А большевцев между тем была лихорадка негодования.

— Доверят они тебе ключи — держи карман! — будоражил ребят возбужденный собственной дерзостью и успехом Васильев.

— Воры были — ворами и будем! Трепатня все...

— А на дьявола мне их доверие... Я и без ключей хаживал.

— До чего же ловко — заговорят, заговорят — ну, прямо вот слепым ходишь!

Показались Мелихов и Богословский.

— Думаете — изловили, прижучили? — начал Мелихов при общей напряженной тишине. — Они, мол, нам турысы на колесах разводят, а вот мы им — соли на хвост! Вон Васильев каким героем ходит. И Умнов тоже. Ты-то с чего? Эх вы, публика!

Мелихов выставил вперед грудь:

— Я уже не одну неделю думал об этом. Мы с Сергеем Петровичем много раз хотели передать вам ключи, но отложили. Отложили потому, что хотелось, чтобы вы сами доросли до этого, сами поставили этот вопрос. Ну вот... Теперь то, к чему мы стремились, случилось. Товарищ Васильев, подойди сюда!

Васильев подошел — непонимающий и смущенный.

— Прими, товарищ Васильев, ключи, — торжественно, подчеркивая каждый слог, произнес Мелихов. — Отныне тебе доверяется все имущество нашей коммуны. Мы все — и воспитатели и воспитанники — поручаем тебе его и верим тебе.

Васильев почти машинально протянул руку. От волнения она у него дрожала, и ключи тихо позванивали.

Это было важное событие в жизни коммуны. Его долго помнили все. Отчужденность, которую замечал Мелихов по отношению к себе со стороны бутырцев, явно шла на убыль.

— Что ж, сделаем и еще один шаг, — говорил Мелихов Сергею Петровичу. — Попробуем теперь смелее давать им отпуска в город.

В Москву болшевцев тянуло. В отпускной день необыкновенное возбуждение овладело коммуной.

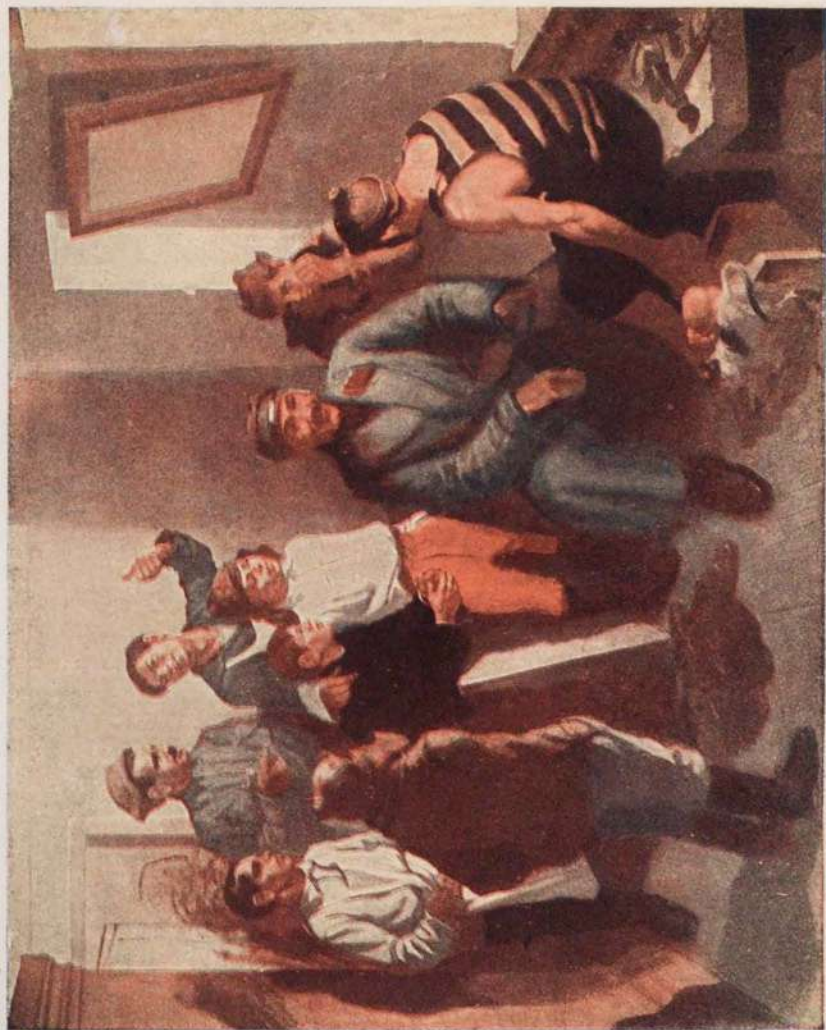
В проходной комнате, где помещалась спальня старших, то-и-дело шныряли люди. Коммуна брилась, чистилась, прихорашивалась.

Размахивая увольнительной запиской, через комнату промчался Осминкин. Волосы его торчали лохмами во все стороны. Лицо выражало восторженность.

— В Москву! — орал он во все горло. — Все ли там в порядке? Он шел в отпуск в первый раз.

Взял увольнительную и Накатников. В городе у него не было ни родных, ни знакомых. Он просто решил не отставать от компании. Ему было весело, и он напевал какой-то плясовой бурный мотив.





«Г. Г. Ягода у большевцев». Картина художника-большевика А. Щепетова

В углу на койке лежал, отвернувшись к стене, приятель Накатникова — Васильев. С тех пор, как ему вручили на собрании ключи, он стал много солидней. Но сегодня с утра он начал как-то особенно мрачнеть. Ходил среди общего радостного волнения, повесив голову, огрызался на болшевцев. Сегодня он не походил на самого себя.

Накатников подошел к койке приятеля и окликнул:

— Косой, в Москву едешь?

Широкая спина оставалась неподвижной. Накатников дернул Васильева за рукав.

— Едешь, Косой, в Москву, что ли?

Васильев резко повернулся к Накатникову. Голос его прозвучал хрипло:

— Шары гонять или воровать? Зачем мне в Москву ехать?

Он опять повернулся лицом к стене.

— И потом... не все ведь едут. Мало ли что может понадобиться... Ключи-то ведь у меня, — прибавил он.

Накатников знал характер своего приятеля и больше к нему не приставал. Однако ответ Васильева поразил его необыкновенно: «Не в ключах тут дело».

Действительно... Зачем он сам, Накатников, собрался в Москву? В городе ему делать решительно нечего. Внезапно он понял и мрачность Васильева и явную зависть его к тем, кто имел в Москве рождественников.

Ему представилась возможность случайной встречи с Кожаном, и смутные его опасения оформились в определенный образ. Кожан был чем-то вроде воровского аристократа. Красавец и щеголь, он служил образцом для подражания. Хромовая куртка блестела на нем, как латы. На бледном лице четко выделялись синевато-черные усы и тонкие яркие губы. Его улыбка уничтожала, голос звучал насмешливо. Он был носителем традиций и законодателем мод. Подражая Кожану, дорогомилловские карманники ходили в кожанках и синих галифе. С молодыми ворами этот блатной «лев» разговаривал покровительственно.

В свое время Накатникову трудно было привыкать к кожану. Белый порошок вызывал у него рвоту. Насмешки и пренебрежительное пофыркивание Кожана заставили парня преодолеть отвращение. Однажды Накатников отказался от предложенного опасного дела. Кожан сладко улыбнулся, прищурил ничего не выражающие глаза, и одна эта улыбка заставила взять отказ обратно. Накатников терял перед вожаком весь свой задор и самоуверенность.

Что скажет Кожан, если Накатников вдруг встретится с ним в Москве? Он представил презрительную гримасу Кожана и почувствовал, что обязательно скрыл бы свое поступление в



комму. Но ведь скрыв это, он должен будет вести себя так, как будто ничего не переменялось, и даже, может быть, пойти на «дело». Накатников ощутил неопределенный страх и, что-бы справиться с неприятным чувством, запел еще веселее и громче.

Ему вспомнилась его недавняя речь, Погребинский... Коммуна нравилась чистой постелью, едой, простотой обращения Мелихова и Богословского, но это вовсе не значило, что он решил в ней остаться. Накатников был человек настроения. Он давно бы ушел, если бы не уверенность, что уйти можно в любое время. Успеется...

Он стоял у окна и пел. Мелодия отражала движение его дум. Он напевал то что-нибудь веселое, бравурное, то вдруг переходил на минорный лад. Потом круто повернулся на каблуках и пошел к двери.

— Помчал, ураган, — сказал ему вслед Почиталов.

В комнате Мелихова толпились обиженные — из числа прибывших в комму. Они еще не отпустили в Москву. Они кланчили, настаивали, сердились. Перед крижистым управляющим прыгал и кипятился маленький, тощий паренек и при каждом слове бил себя в грудь:

— Чем же мы хуже других, Федор Григорьевич? Почему же нас вы не пускаете?

Мелихов не громко, но веско доказывал парню, что отпустить его рано, что со временем поедет и он.

Накатников влетел в комнату, как ветер. Лежащие на столе бумажки вспорхнули от стремительных его движений.

— На, вот! — грохнул он, протягивая Мелихову увольнительный билет. — Возьми обратно. Не поеду.

Смятая увольнительная лежала в широкой и крепкой ладони. Мелихов бросил ее в ящик стола и искося, с ласковой ухмылкой посмотрел на быстрого парня.

— Хорошо, Миша! — произнес он дружески. — Съездишь в другой раз!

И, немножко помедлив, прибавил:

— Вот расскажи-ка, пожалуйста, этому человеку, что Москва от него никуда не уйдет. А то он все не верит.

Раздав увольнительные, Мелихов пошел по комму. Он проходил мимо открытой кладовки. Васильев, пыхтя, переставлял там мешки с крупной и сахаром. Около двери вертелся щупленький, голубоглазый Дединов, по кличке «Херувимчик». Мелихов давно присматривался к Дединову: в хрупком этом парнишке угадывался холодный цинизм, вероломство и лживость. Дединов вертелся около кладовки, разумеется, не спраста. Мелихов уже миновал кладовую, когда услышал зычный, сердитый голос Васильева:

— Ложь назад! Ложь, говорю, назад, паразит!

Раздался слабый вскрик Дединова.

Потом снова с угрозой прозвучал голос Васильева:

— Так и знай! За каждый кусок голову расшибу!

Первой мыслью Мелихова было вернуться и сделать Васильеву внушение, потом он махнул рукой и двинулся дальше.

«Драка в коммуне — это плохо, — думал Мелихов. — Но если коммунары дерется, отстаивая имущество коммуны, и предотвращает воровство, так это, пожалуй, уже не так плохо».



# ОТПУСК

Осминкин в десятый раз перечитывал свою фамилию, вписанную чернилами в печатные слова увольнительного бланка.

«Куда? — спрашивал он себя. — К родителям?» Он представил себе, как мать всплеснет руками, заплачет. Все же решил ехать домой — пускай порадуетя.

Родителей Осминкин не видал уже около года, а не жил у них давно.

Отец его — серебрянник, профессия — не ахти какая доходная и очень грязная. Домой возвращался прокопченный, денег приносил мало: пил. Мать зарабатывала сама: стирала, мыла, стряпала у людей. Дома хозяйничала сестра.

Ушел Осминкин от родных, когда познакомился с Морозовым. Произошло это так.

Осминкин бегал в школу. Учился он в первом классе. Учился хорошо. Учительница так прямо и говорила матери: — Отличный мальчик, примерного поведения и лучший ученик в классе.

Витька перешел во второй класс. Мать пообещала сшить к осени новую рубашку.

— В школу пойдешь — нарядишься!

Летом Витя повадился ходить к Крестовской заставе. По словам матери там жили самые отпетые золоторотцы. И действительно, ребята оказались на редкость шустрые. Они отчаянно резались на пустыре в «три листика», в «буру», в «двадцать одно». Витька пристроился к самым маленьким; сначала глядел, потом рискнул на пятачок и выиграл. Ему повезло, он теперь мог пойти в кино, купить мороженого.

В кино ребята бегали всей оравой, норовя проскользнуть бесплатно мимо зазевавшейся контролерши.

В это же лето Виктор пристрастился к футболу. Играли, правда, тряпичным мячом, но старательно и с азартом.

Домой он приходил со сбитыми ногами. Мать укоризненно качала головой:

— Смотри, не вадумай играть в башмаках!

— В каких? — удивился Виктор.

— А вот которые я тебе куплю. Только для школы и покупаю, а так — на вас разве наготовишься!

Осенью она сама повела Виктора в школу. На нем были новые башмаки и рубашка. Всю дорогу мать заботливо предостерегала:

— Смотри, не разорви!

Однажды Виктор в школу не пошел, не пошел и на следующий день.

Уже похолодало. На пустыре встречаться стало холодно, сыро — ни сесть, ни поиграть. Витька наладил ходить к новому приятелю Васе Морозову. Морозовых было четыре брата. Старший был выслан из Москвы; второй, Константин, занимался воровством и помаленьку приучал к этому Васюка, а самый младший из братьев чурался их, обходил. Любил, говорят, музыку и ездил куда-то в центр учиться.

Мать Морозовых — вдова (ее покойный муж содержал трактир) — боялась при сыновьях сказать лишнее слово. Сейчас же кто-нибудь из них на нее прикрикнет, попрекнет:

— Но-но, поговори! Тебе батька на детей деньги оставил! Куда деньги дела?

А деньги у вдовы одолжил ее родной брат, да так и не возвратил: мол, разорила революция.

Старуха боялась сыновей, боялась милиции. У нее всегда дрожали руки, и когда она нюхала табак, то просыпала его на засаленную бордовую кофту.

Дружбу Виктора и Василия одобрял Константин:

— Это хорошо, что корешками становитесь. У меня вот есть такой дружок, да его сослали, никак не могу узнать — куда. Да все равно узнаю. Человек не иголка — не потеряется.

Домой Виктор возвращался неохотно. Временами он даже жалел, что у него есть отец, мать, сестра. Он завидовал Константину и Василию. Не раз хотелось войти в дом с насупленными бровями, сказать матери что-нибудь обидное и дерзкое, как покрикивали на свою старуху Морозовы: «Заткни плевательницу!» или «Не суйся, куда не спрашивают!» Но всякий раз мать встречала его заботливыми расспросами о школе, совала кусок хлеба, иногда конфетку, и Виктор смягчался, ослабевал.

Он пил морковный чай и вдохновенно врал что-то про школу, про то, как его опять хвалила учительница. Придумывать каждый день новое надоедало, и он все чаще стал повторять одно и то же.

Мать покорно качала головой, потом переспрашивала:

— А ведь это она тебе еще на прошлой неделе говорила.

— Она любит одно и то же цовторять! — вывертывался Витька без всякого смущения.



— Да и то сказать, вас много, а она одна, — успокаивалась мать. — Где на всех новое-то придумаешь. Трудная у нее должность. Ты учительницу люби!

— Я ее люблю, — говорил Виктор, правдиво глядя матери в глаза.

Открылось все это само собой.

Мать встретила учительницу на улице. Поклонилась. Учительница узнала мать Виктора:

— Жаль мне вашего мальчишка. Он такой способный. Не надо было его в мастерскую отдавать.

— В какую мастерскую?! А разве он к вам в школу не ходит? — испугалась мать. — Где ж он, разбойник, пропадает? — закричала она в голос.

Вечером обо всем узнал отец. Он бил Виктора и допрашивал:

— На кого ты нас поменял? На кого?

Витька молчал, рукавом вытирал слезы.

— Отступишь ты от него. Убить так можно, — упрашивала плачущая мать.

— И убью, — пообещал отец, больно ударив сына по голове.

На другой день Виктора из дома не выпускали. Мать ходила в школу. Учительница обещала принять Виктора среди учебного года. Вечером Витьку опять бил отец:

— Не будешь учиться — шкуру сдеру!

Однако ученье так и не наладилось.

Весной Виктор переселился к Морозовым совсем. По старой привычке он еще заходил домой, но мать постоянно встречала его слезами и причитаниями, и Виктор, недовольный, уходил. До ворот его всегда провожала сестра и, нетерпеливо оглядываясь, жадными глазами следила за витькиными руками: она ждала, даст он денег или нет.

— Матери передай, — неизменно говорил Витька, сунув бумажки в руку сестре.

— Она не возьмет, — привычно отвечала сестра и торопливо убегала во двор — боялась, что Витька передумает, отберет обратно.

В критические минуты Морозов советовал Витьке:

— Иди ночевать к своим. Как бы не пришли по нашу душу.

Виктор покорно плелся к знакомому переулку, но медлил заходить в дом. Он несколько раз проходил взад и вперед по длинной Мещанской и, дотянув допоздна, тихонько стучал в дверь.

Отец, если был дома, сурово выговаривал матери:

— Чего ты гонишься? Опять подлецу постель стелешь? Гони его, откуда пришел.

Виктор, сидя на кухне, смотрел веселыми глазами, будто отец ругал не его, а кого-то еще.

Иногда он приносил домой продукты.

Мать отмахивалась:

— Полно, Витя, зачем нам?

Но велик был соблазн, и продукты она оставляла.

Виктор стал уже совсем взрослым. Даже мать начала пугаться дерзкого взгляда сына.

— На кого ты злобишься? — спросила она его раз.

— Я? — удивился Виктор. — Да чего ж мне злобиться? Я сам себе хозяин. Вот с весны буду в футбол играть.

— Чего? — переспросила мать.

— В футбол буду играть. Понимаешь? Мяч гонять буду.

— Полно, ведь ты скоро жених. Тебе мяч гонять не пристало. Ремеслу бы лучше какому выучился...

Но гонять мяч Виктору не пришлось. Его вместе с Морозовыми арестовали во время кражи. В милиции, куда их привели, начальник сразу признал Морозовых:

— Вы опять тут?

И, повернувшись к Витьке, удивился:

— А ты, красавец, за что попал?

— С ними, — объяснил милиционер.

— Ишь ты! — еще более удивился начальник. — Что ж это ты, молодой товарищ, такими делами занялся? А? Сколько тебе лет?

— Много, всего не сочтешь!

Глаза Виктора смеялись, будто с ним шутили, и он только ждет, когда начальник разрешит уйти домой.

Но начальник вдруг нахмурился и придвинул лист бумаги:

— Что ж, будем писать протокол.

Виктор рассчитывал, что и на этот раз его выпустят, как выпускали раньше. Он упорно повторял, что он несовершеннолетний, случайно попал в эту компанию, но начальник, косо посмотрев на него, сказал:

— Хитер ты, братец! — И Виктор впервые познакомился с тюрьмой.

Воровал Виктор легко. Все шло как по маслу. Старший Морозов одобрял: «У тебя рука счастливая». Раз он обронил в квартире, которую только что «взяли», документы. Передав вещи Морозовым, Виктор вернулся в ограбленную квартиру и разыскал свой документ. Хозяева еще не возвращались. Из озорства Виктор прихватил банку с вареньем. Вечером он угощал Морозовых и все посмеивался, когда старший Морозов говорил, что вороной быть нельзя, а еще глупее — возвращаться. И кто это с собой носит бумаги кроме «липовых»?

В тюрьму Осминкина брали не надолго: то верили его слезам и отпускали как малолетнего, то теряли протоколы, и Виктор мирно возвращался в переулочек у Красной часовни. Опять



начиналась привычная жизнь — грабеж, барышник, карты, вино, поимка... Витьке казалось, что никакой другой жизни и быть не может. Круг знакомых в тюрьме расширился. Виктор был уже не новичок: его знали в Грузинах, в Марьиной роще, на Бутырках.

Он не любил Замоскворечья. Однажды там поймали с поличным и били старшего Морозова, а Виктор стоял в толпе и, покусывая губы, все смотрел на избитое, окровавленное лицо Константина.

— Как бьют, проклятые! Ну их к чорту!

В двадцать третьем году Виктор сел крепко. Он перепробовал все свои штучки — совал следователю свои года, неосознанность и прочее, но ничто уже не действовало, и его выдержали в Бутырках.

Осминкин пробовал навести справки, где Морозовы, но никто не знал. Матери Виктор не писал, хотя и не сомневался, что старуха, напиши он ей, придет украдкой и в узелке принесет махорки и лепешек.

«Пусть думает, что убили. Поплачет, может, легче станет».

А весна отцветала, осыпалась, ночи становились жарче, тюрьма казалась все томительней. Виктор из хлеба скатал шарик и гонял его по столу, разместив поле с воротами, и все подговаривал кого-нибудь из ребят сыграть с ним в футбол. Над ним посмеивались:

— Не воровское это дело. Желаете в «буру»?

«Бура» Осминкину опротивела. Он знал наличный капитал и повадку каждого в этой камере, а новых не приводили.

И когда ему уже стало совсем невоготу, когда он в тысячный раз обдумал все возможные варианты побега, его повели на Лубянку.

Люди все шли чужие, скучные; день был серый, дождь моросил. И все же пришли так быстро, что Витька пожалел.

Говорили с ним долго. Он прикидывал: стоит рискнуть или нет? И как ни прикидывал, все выходило, что стоит. Во-первых, можно удрать. Потом обещают волю — тоже надо посмотреть. И Бутырки надоели. Чем чорт не шутит? Виктор согласился поехать и жить в коммуне.

И вот теперь он ехал в первый раз из коммуны в отпуск.

На дорогу ему дали денег.

«Все-таки есть, значит, здесь к нам доверие», думал Осминкин, рассматривая увольнительную.

А сколько раз до этого слова воспитателей о доверии казались ему лицемерием.

«Чудаки, — улыбался Осминкин, — удивительные они чудаки. Кто и что может теперь заставить Виктора возвратиться назад в коммуну?»

До квартиры матери Осминкин добрался в сумерки. Матери дома не было. Сестра встретила радостно и все как-то выжидательно поглядывала на брата.

«Ждет денег!» рассердился Витька и грубовато спросил сестру:

— Мать скоро придет? А то мне некогда!

Мать притащила узел грязного белья — брала стирать на дом — и, увидев Виктора, опустила узел у порога.

— Здорово, мать!

— Ох, господи, а я-то думала...

— Думала, что я не вернусь?

— Полно, Витенька...

Виктор съел селедку — домашнее угощение, встал из-за стола, так и не рассказав ничего о себе.

— Пойду, с ребятами повидаюсь, — сказал он.

Мать не перечила.

Осминкин зашел к Морозовым. Старуха расплакалась и все расспрашивала Виктора про сыновей. Потом достала письмо от старшего. Тот сидел в тюрьме, просил, чтобы выслали ему белье.

От Морозовой Осминкин вышел грустный. У часовни заметил знакомых и замедлил шаг.

«Что сказать? — перебирал он в уме. — Сказать, что в коммуне — посчитают лягавым. Ожидай пера! Нет, надо сказать, что из тюрьмы».

Его встретили настороженно.

«Может быть, уже знают от кого-нибудь», промелькнула опасливая мысль, но отступать было нельзя. Виктор пожал протянутые руки.

— Где пропадал? — спросил Курносый.

— Да так, по разным местам, — небрежно сказал Осминкин. И, чтобы опередить Курносого, сам задал вопрос:

— Морозовы где?

— Да ты же с ними сел? Что спрашиваешь?

Осминкин сообразил, что этот вопрос он задал, пожалуй, напрасно. Он машинально пошарил в кармане и вытащил махорку.

Курносый демонстративно достал пачку папирос. Закурили. «Сейчас начнется», догадался Осминкин.

И Курносый начал:

— Темнишь, Виктор!

— Я? — Виктор пожал плечами. — Мне темнить нечего.

Курносый усмехнулся:

— Я думаю, и работать разучился? Руку мимо ширмы сунешь?

— Попробуем! — отшутился Виктор.



— Это хорошо. Нам деловые нужны, — опять усмехнулся Курносый. — Ну, пошли, что ли? — сказал он, обращаясь к своим.

Виктор понимал, что разговор с ними будет, вероятно, не простой. Рассказать всю правду? Скорее всего не поверят ни одному слову. Отобраться как-нибудь? Сказать, что убежал из коммуны? Можно... А что потом?

Хорошо бы не пойти с ними, остаться... Но Курносый повернул в переулок, и все тронулись за ним. Осминкин шел в середине, словно арестант.

— Витька! — услышал он знакомый голос.

Осминкин остановился. По Мещанской бежала сестра.

— Витька, там пришли к тебе... Идем! Человек ждет! Обязательно, говорит, нужно!

Витька кивнул Курносому:

— Где будете?

— Приходи к часовне, — не поворачиваясь, бросил Курносый, и Витька с облегчением пошел за сестрой.

— Может, агент? Милиция? — спросил Осминкин, когда они остались одни.

— Не похож! — отозвалась сестра. — Разве я стала бы звать, если агент!

— Дура, — обозлился Витька. — Что же, ты всех агентов знаешь?

— Не похож на агента! Мать говорит — позови! — упорствовала сестра.

Пройдя к воротам, Осминкин открыл калитку и, пригнувшись, чтобы в окно его не видели, прошел к сеним. Там из-за притолки он заглянул в комнату. Около стола сидел Мелихов. «Вот тебе на!»

Осминкин вошел в комнату.

— Гуляешь? — осведомился Мелихов. — А я был тут поблизости, решил — зайду, навещу...

Осминкин не знал, что отвечать. Мать грела самовар, кричала из кухни:

— Что же ты, Витя, не объяснил мне? Радость-то какая!

Она вошла в комнату, с умилением глядя на Мелихова.

— Сердце на место встало. А то приехал сын и не говорит — откуда. Поел и на улицу. Думаю, опять к ворам пошел, а тут вы как раз. Вот как обрадовали!

Мелихов поднялся.

— А чайку, чайку-то как же? — заволновалась мать.

— Спасибо... В другой раз поьем. Итти я должен. У меня к тебе, Виктор, слово есть. Я вот что тебе предлагаю: поедем ко мне? У меня тут в Москве квартира, семья; я тебя познакомлю, а завтра вместе в коммуну тронем... А?

— Нет, — решительно отказался Виктор. — Мне тут дела надо всякие устроить.

— Какие же дела?

— Да нет, не дела, а просто я дома хочу побыть. Ведь вы меня сами отпустили.

— Не горячись, парень!.. Разве я тебе не от сердца предлагаю? Конечно, ты в отпуску... Можешь и дома оставаться. Я только тебе по дружбе советую. Ведь не мед на улице-то... Я думаю, как для тебя лучше. Погостил бы у меня... Граммофон послушал бы... А согласиться или не согласиться — твое дело.

Витька вспомнил сцену у часовни. Он знал, что самое лучшее теперь уехать, но тогда все скажут: струсил, слягавил, и ему не будет назад возврата.

— Нет, я останусь, я сам завтра рано приеду. Я и отца еще не видал, — вдруг уцепился Витька за неожиданную для него самую причину.

Мелихов еще выжидал, переминался с ноги на ногу. Мать стояла в дверях и умоляла глазами чужого человека, чтобы он взял с собой сына. Она хотела бы уговорить Виктора, но не осмеливалась и только вздыхала. Сын понимал ее.

— Нет, все-таки останусь, — сказал он совсем твердо.

И, проводив Мелихова до ворот, еще раз крикнул ему вдогонку:

— Завтра чем свет приеду.

— Занавесь, мать, окошко, чтобы со двора не видно было, — попросил он, вернувшись в комнату.

Мать достала из сундука праздничный шерстяной полушалок и завесила окно.

— Ты бы вышла, посмотрела, хорошо ли я закрыла! Глазасты, проклятые! — сказала она дочери.

Осминкин притворился усталым, потянулся:

— Ты мне, мать, постели, я должен рано ехать.

— Будить тебя?

— Сам проснусь... А то — побуди!..



# ВЕЧЕРИНКА

Лыжи слегка проваливались в свежий снег. Дышалось легко. Чинарик и Гуляев бежали через Костино к морозному тихому лесу.

Василий Петрович Разоренов взглянул в окно и нахмурился:

— Полюбуйтесь, вон жулье разгуливает!

Церковный причт за рождественским столом Разоренова был уже под хмельком.

— Да, — вздохнул поп, — до каких порядочков дожили — воров в коммуны организуют!..

— Им жулики-то — родные братья, — поддакнул дячок.

Повторяя на разные лады эти мысли, гости и хозяин чувствовали глухое раздражение не столько против самих жуликов, сколько против большевиков, против страшного для них слова «коммуна».

Певчий, молодой бритый мужик, по прозвищу «Божья Дудка», до сих пор скромно сидевший с краю стола, тоже ввязался в беседу.

— Жулик жулику рознь, — сказал он. — Есть жулики, которые от тяжелой жизни воровать пошли. Намедни я был у них в кузне — лошадь ковал. Мастер у них хороший — может учить...

Василий Петрович и поп строго поглядели на певчего, потом друг на друга: ясно, что певчий — легкомысленный человек.

— Все это до весны — и кузня и сапожничество, — сказал Василий Петрович. — Пригреет солнышко, инструмент растащат и сами разбегутся. А какого человека из-за этой рвани обидели, — вздохнул Разоренов. — Душевного человека обидели.

Всем было понятно, что хозяин говорит о Медвяцком, уволенном из совхоза.

Вскоре духовенство собралось уходить. Ему нужно было обойти с крестом костинских мужиков.

— Кому сегодня рождество, а для нас, пастырей, самая страда, — пожаловался поп.

Василий Петрович проводил их до калитки.

Гуляев и Чинарик обежали окрестные костинские поля и леса. Было тихо, бело. Снег, беззвучный, легкий, как мыльная пена, спадал с ветвей от малейшего шороха. Из Костина доносился праздничный звон. На обратном пути болшевики опять проходили через деревню. В избах плясали, пьяные голоса ревели песни. На улице, по еловым аллеям, гуляли девушки, угощаясь кедровыми орешками. Одна с любопытством посмотрела вслед возвращавшимся на лыжах парням и визгливо спела частушку:

Не стой на льду —  
Лед провалится!  
Не люби вора —  
Вор завалится!

Болшевики не обиделись. Они даже приветливо помахали бойкой девке варежками и крикнули:

— Приходите вечером к церкви.

С костинскими девушками у них постепенно устанавливалась дружба.

Они нагнали изрядно подвыпившего дьячка Левонтия. Дьячок шел, размахивая руками и рассуждая вслух:

— Марфа — подлая! Блудная вдова! Гривенник сунула, как мальчишке. Где это слыхано, чтобы духовному лицу — гривенник? — выругавшись, он ненадолго успокаивался. Потом вновь глубокая обида хватала его за сердце.

— Марфа — стерва! Грешница, — начинал он снова, — я плюю на твой гривенник. Вот как я твой поганый гривенник, — и он бросил монету в снег, плюнул, а потом, одумавшись, стал искать ее в пышном сугробе.

— Вот, козлиная борода, — удивился Чинарик, — обобрал православных да еще лается.

— Эй, пославь Христа, семишник дам.

— Ему теперь не до Христа. Он святой водички хватил.

— Аферисты, карманники, — ворчал дьячок, прибавляя шагу.

Болшевики нагнали его. Лыжи разъехались, и Гуляев с размаху ударил дьячка концом лыжи в пятку. Дьячок присел. Чинарик взял его под руку.

— Так, значит, Марфа-то — стерва? — спросил он дьячка.

А Гуляев решительно заявил:

— Ну, святой отец, идем в милицию. За оскорбление гражданки Марфы ответ держать.

Дьячок струхнул:

— Голубчики! Я пошутить люблю.



— Хороши шутки, рыжий чорт. Богу служишь, а деньги любишь?

— Какие деньги — медяки одни, — жаловался дьячок, прикрывая свободной рукой карман. — Отпустите, голубчики, — ласково попросил он.

— Ладно, вали, беги, старый хрыч, пока у меня душа добрая, — великодушно согласился Гуляев и на прощанье поддал дьячку коленом.

— Дешево отделался, — кричали большевцы, — моли бога за нас!

Левонтий подбежал к церкви, закричал: «Караул! Грабят!» И, дергая веревку сторожевого колокола, стал иступленно бить в набат. Из всех изб выбегали перепуганные бабы и мужики.

«Горим!» закричали где-то на другом конце деревни.

Все бежали к церкви, озираясь по сторонам, не полыхает ли где пламя, не вьется ли где столбом страшный сизый дым.

— Будет мордобой, — мгновенно оценив создавшееся положение, сказал Чинарик. — Ты лыжи-то скинь, — посоветовал он Гуляеву и сам сбросил лыжи с ног. Бежать было поздно.

Вокруг дьячка собралась толпа.

— Жулье распоясалось! — кричал дьячок. — Среди бела дня грабежом занимаются!

— Брешь! — крикнул Чинарик.

— Кто врёт — милиция разберет, — бойко сказал какой-то мужичок с плешью на макушке, — второпях он даже шапку забыл надеть. — Я сам видел, как воровские руки в дьячков карман лезли.

— Жулье, а, как порядочные, на лыжах катаются! — злобно крикнула только что подбежавшая Карасиха.

— Чего разговаривать, веди в милицию!

— Давно пора за решетку.

В толпу вошел Разоренов.

— Распустили жулье! На власть плохая надежда, она жуликов балует, — сказал Разоренов.

Было тихо. Все словно ждали, кто же первый поднимет руку. Большевцы стояли рядом, готовые защищаться.

— В коммуны их отправить. Пусть свои поучат, — сказал певчий Божья Дудка.

— В коммуне-то их за эти дела жирными щами кормят! — крикнул Разоренов.

Божью Дудку поддержали было еще несколько мужиков.

Может быть, так и не вышло бы то, чего хотела душа Разоренова, если бы к Гуляеву не подскочил тщедушный мужичок «Кушить-продать». Он, яростно вращая глазами, замахнулся и ткнул тщедушным своим кулачком Гуляева в зубы.

Гуляев вскипел:

— Ах ты, водохлеб пермяцкий! — и хлестким ударом спиb мужичонку с ног.

Божья Дудка испуганно подбежал к Гуляеву.

— Не дерись... Убьют! — закричал он, но Гуляев, не разобравшись, смахнул и Божью Дудку.

Толпа сдвигалась. Гуляева ударили сзади по голове.

«Дело дрянь», тоскливо подумал Чинарик и оглянулся. Со стороны коммуны на звон набата бежали ребята.

— Наших бьют! — громко и радостно закричал он и, сбросив варежки, кинулся на мужичка без шапки.

— Я покажу тебе, сукин сын, как мы дьячка грабили!

В толпу врезались подоспевшие болшевики. Мужики подались назад. Раздергивая плетень, они вооружались кольями. Кто-то бежал по улице, размахивая вилами. Драка разыгрывалась не на шутку. Болшевики понимали — дело их плохо. Придет милиция — прощай, коммуна! Крепко их подсадили кулачки!

Но пропадать — так не дешево! Они прижали мужиков к паперти, когда прибежал запыхавшийся Богословский. Он подбежал то к одному, то к другому болшевику, но его не слушали.

— Отойдите, дядя Сережа... Попадет и вам невзначай! — предостерегающе крикнул Чинарик.

Сергей Петрович растерялся. Это была горькая минута его жизни. Неужели погибло все, неужели пропали все труды!

К нему подошел Разоренов, уверенный и важный.

— Наделала нам хлопот ваша коммуна, — вздохнул он. — Волки-то сбросили овечью шкуру. Смотрите, как распоясались. Послал за милицией.

— Из-за чего началось?

— Дьячка ваши ограбили.

Приехала конная милиция и прекратила драку.

Разоренов настаивал, чтобы всю коммуноу отправили в отделение.

— Деревню разнесут! Разбойники!

Но милиция взяла с собой только двух зачинщиков — Гуляева и Чинарика. Они прошли мимо Сергея Петровича, истерзанные, в кровоподтеках. Гуляев крикнул ему:

— Прощайте!

Они прощались с коммуной. Их новая, едва возникшая трудовая жизнь разбита вдребезги, навсегда.

В коммуне наступил унылый вечер. Кое-кто еще переживал воинственный пыл, легкомысленно хвастаясь успехами боя, но у большинства уже не было обычной развязности. Торжествующее Костино буянило, шум доходил до болшевицев, и от этого тоскливее становилось на душе.



— Что будет с арестованными?

— Или всех или никого — вот как нужно было требовать, — приглушенно говорил Умнов.

Все соглашались с ним. По обычаям коммуны судить виновников должно общее собрание, но кто же посмел бы судить товарищей сегодня? Или всех или никого!

Ребята знали, что Сергей Петрович хлопочет об арестованных, но никому не верилось, что их удастся освободить. Их считали пропащими.

В общежитие зашел Сергей Петрович.

— Не расходитесь, — сказал он, — приедет Погребинский.

— А что с арестованными?

— Свободны. Сейчас придут.

Эта весть порадовала большевцев, но предстоящий приезд Погребинского встревожил их.

Гуляев и Чинарик пришли оба черные, как трубочисты: в отделении милиции их заперли в угольном сарае. После недавней прогулки по широким снежным полям сидеть в темном сарае было горько и оскорбительно. И, главное, разве они виноваты, что произошла драка?

— Все люди — сволочи, — сказал Чинарик.

— Будем воровать до гробовой доски, — поклялся Гуляев. — С лягавыми нам сапог не шить...

Велика была их обида и злоба. Ах, если бы изловить когда-нибудь этого проклятого дьяка!..

— Мильтоны! Мильтошки! Фараоны египетские! — кричали они на милиционеров в щели сарая.

Милиционеры словно и не слышали их. Тогда они стали бить кулаками в ветхие стенки. Под мешками с углем нашлись поленья, и яростная, разрушительная работа пошла быстрее. Вероятно, они разнесли бы этот старенький, вздрагивающий под их ударами сарайчик, если бы неожиданно не открылась дверь.

— Выходите. Вас берет коммуна, — сказал милиционер.

И вот они вернулись... Они не успели еще досказать свои приключения, когда за окном прошумел автомобиль. Приехал Погребинский. После короткой беседы с Мелиховым и Богословским он зашел к воспитанникам.

— Ну, справили поповский праздник? — спросил он, едва за ним закрылась дверь.

Никто не ответил.

— Расскажи, Чинарик, глубок ли у дьякона карман?

— Не знаю... не лазил.

— Так ли? Ну, а ты, Гуляев?

— Я этого дьячка пришибу когда-нибудь.

— Довольно, пошутили, — оборвал его Погребинский. Он снял кубанку и присел возле кровати.

— Вы, сознательные члены трудовой коммуны ОГПУ, полезли драться с пьяными мужиками... Стыдно, позор! Вы должны были не допускать драки. А вы что сделали? Коммуну «защитили», «честь» ей прибавили? Никто, мол, о нас худого слова не скажи. А на деле-то худшим ее врагам пошли на помощь...

— Там певчего избили, — продолжал Погребинский. — Приходил жаловаться к Сергею Петровичу, чуть не плачет. Последние портки на теле. За какой грех? Он-то чем перед вами провинился? Так вот подумайте, что он о вас теперь скажет. Да всякий, не только он, кто вам добра хотел. Бандиты, скажут, только и всего. Прав, мол, Разоренов — горбатого только могила исправит... И выходит, Васька Разоренов нам всем морду наколотил! Не только вам. И мне, и Мелихову, и Богословскому. А вы ему в этом помогли!..

Чорт знает, как все у него повертывается! Их «геройство» на поверку оказывалось такой ошибкой, из-за которой невозможно посмотреть этому человеку в его насмешливые глаза.

— Запомните, бравые кулачные бойцы, — продолжал Погребинский, — запомните раз и навсегда: как бы вы правы ни были — вам не поверят. Доверие надо заслужить. А доверие кулаками не завоевывается. На кулаках-то и последнее можно растерять.

Слушая эту речь, ребята понимали прежде всего, что этот человек им поверил, верит и, видимо, будет верить. Погребинский оглядел лица болшевцев и, выдержав длинную паузу, продолжал более мягким тоном:

— Вот думали костинскую молодежь позвать сюда в гости, да разве кто теперь в такую компанию пойдет!

— Смотри зачем, — робко сказал Леха Гуляев.

— Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала, — повернувшись к Лехе, сказал Погребинский и, обращаясь ко всем ребятам, добавил:

— Я кой-что придумал для вас... Не драки устраивать надо, а... Скажите по совести, девки пойдут сюда? — перебил он себя.

— Будьте покойны! — уверенно ответили ребята, и их испещренные синяками и кровоподтеками физиономии расплылись в довольные улыбки.

— Ну, конечно, за таких молодцов они в огонь и воду, — засмеялся Погребинский. — Значит, дело решенное — организуем вечеринку?

Погребинский поговорил о том, как нужно эту вечеринку устроить и какое она может иметь значение для коммуны.

— Вечеринки вас на голову выше поднимут, авторитет создадут, — говорил он. — Все увидят, что болшевцы не только



драться могут... Люди культурные, сознательные... мол, к ним зайдешь — есть чему поучиться, есть что послушать, да и посмотреть.

— У нас Карелин хороший балалаечник!

— Чинарик пляшет — ноги за плечи закладывает!

— Я буду распорядителем, — сказал Хаджи Мурат, — я трепаться мастер.

— Видите, сколько талантов зря пропадало, — смеялся Погребинский. — Ну, так залечивайте синяки, зачесывайте кудри, учитесь галантерейному обращению — и в поход.

— А пока я предлагаю, — сказал Сергей Петрович, — запретить большевцам ходить в Костино. Нечего им там делать!

Предложение Богословского было неприятно. Не слышать девичьих песен и речей было тяжело. Но они чувствовали себя виновными и не возражали. В этот вечер девушки долго гуляли около церкви, напрасно ожидая большевских кавалеров.

За подготовку к вечеринке взялись дружно. Вскоре вся костинская молодежь знала, что в коммуне организуется вечеринка.

— Рояль будет играть! — говорили костинские девушки.

И хотя они предпочитали веселиться под гармонику, им все же было приятно слышать о рояле. Это как-то облагораживало воров, и девушкам уже казалось, что они пойдут веселиться в «порядочную» компанию.

На обычные деревенские вечеринки девушки ходили в валенках, но в коммуну к городским ребятам в валенках идти было неудобно. Они обулись в башмаки, начистив их до блеска. А Таня Разоренова завилась у местного парикмахера и приколола на кофточку позолоченную ласточку с распростертыми крыльями.

Накануне вечеринки Гуляев тщательно отмыл сапожный вар с рук, разгладил свою чесучевую рубашку.

— Пропала Таня, — сказал Накатников, намыливая подбородок.

— Пропала, — согласился Калдыба.

— Не пропала, — с печальным вздохом пошутил Гуляев. — У меня нос картошкой, нужен я ей...

Девки — народ привередливый. Нужно пожарче печи натопить, в лампах стекла почище вычистить, чтобы светили лампы в этот вечер, как солнце. Все эти хозяйственные заботы взял на себя маленький Чинарик, но каждый большевец считал необходимым все проверить самому. После драки с костинцами Чинарик был всегда чисто выбрит и вообще весь как-то подтянулся.

— Дядя Сережа, — докладывал он Сергею Петровичу, — к вечеринке все готово. Полы мыты, ребята бриты, гости будут. —

И при этом степенно раскланивался, как гостеприимный хозяин перед гостем.

В общезнании нашлись новые таланты: силач, фокусник. Чинарик протестовал против чтения на вечеринках.

— У нас не училище, — возмущался он. — Если мы с девушками начнем таблицу умножения считать, они разбегутся. Девке музыку дай, кавалера к танцу дай.

В чисто вымытой и ярко освещенной столовой большевцы встречали гостей, вежливо, по-городскому снимали с девушек пальто и складывали на рояль горой. «Про вешалку забыл», думал Чинарик огорченно, но зато заслуженно гордился освещением: три лампы «Чудо» сияли ослепительно.

— Вальс! — кричит Хаджи Мурат Карелину.

Кавалеры разбирают дам.

Чинарик фертом пошел в первой паре. Никто не думал, что он окажется таким ловким танцором.

Накатников пляшет с Леной Грызловой, Гуляев — с Таней, племянницей Василия Разоренова.

Таня довольна танцами, хотя ее кавалер неуклюже топчет-ся и невпопад кружится. Она нежно говорит Гуляеву:

— Медведь неуклюжий.

— «Барыню», — кричат Карелину, — плясовую!

И в круг выходит Чинарик. Прижимая картуз к груди, он бежит, форсисто притопывая каблуками, бежит мимо Клаши Ефремовой. Потом останавливается, его ноги выбивают мелкую дробь, затем вновь наступает на Клашу, раскинув руки. И вдруг, отбросив в сторону картуз, молодецки встряхнув головой, идет в присядку. Он то взлетит к потолку, то сядет у самых ног Клаши. И, наконец, властно стукнув правым каблуком, гордо выпрямившись, замирает. Тогда Клаша, томно помахивая над головой белым платочком, подбоченившись, идет мимо Чинарика, чуть задев его юбками. Чинарик вновь срывается с места, и они пляшут рядом, взявшись за руки.

А Карелин, не жалея струн и пальцев, «режет» на балалайке «Барыню». Когда Чинарик с Клашей кончили пляску, он громко провозгласил:

— Объявляю отдых и музыканту и ногам.

— Давайте споем, — предложила Лена.

У нее был хороший голос, и ей вовсе не хотелось отставать от Клаши Ефремовой. Она запела свою любимую «Рябину». Задшевнее ее никто этой песни не пел.

Как бы мне, рябине, к дубу перебраться,  
Я б тогда не стала гнущься и качаться,

пела она, лукаво поглядывая на ребят, и каждому из них в эти минуты казалось, что он-то именно и есть тот дуб, по которому тоскует рябина.



Подтягивали все. Чуткое ухо Карелина мучили фальшивые голоса болшевец.

— Нужно ребят петь учить. Послушайте, как они козла дерут, — пожаловался он Сергею Петровичу.

А Богословский думал о том, что скоро этим вечеринкам станет тесно в столовке и время позаботиться не только о хоровом кружке, но и о клубе. Он поделился своими предположениями с ребятами.

— Закручивайте, дядя Сережа, честное слово! Не подкачаем, — одобрил Чинарик.

— Драмкружок не плохо бы, — сказала Таня и смутилась.

Ей вспомнилось, что она в гостях у воров, и мать, узнав об ее самовольстве, быть может, больше уже никогда не пустит ее к болшевцам. Разговор перешел на театр, на пьесы, и Сергей Петрович постепенно овладел вниманием. Многие согласились работать в драмкружке. Сергей Петрович, вынув из кармана книжку рассказов Зощенко, сказал:

— А вот мы сейчас маленький экзамен устроим. Ну-ка, Хаджи Мурат, прочти нам что-нибудь. Посмотрим, какой из тебя актер выйдет.

Или книжка всем понравилась, или Хаджи Мурат оказался хорошим чтецом, но чтение затянулось. Чинарик сердился. Срывались выступления фокусника и силача.

— Кому скучно, могут идти фокусника смотреть, — предложил Чинарик.

Но сам фокусник так заслушался, что позабыл о своем номере.

Таня предполагала посидеть на вечеринке час-другой и не заметила, как время подошло к полуночи. Гуляев пошел ее провожать.

Дорогой он воспользовался случаем поговорить о своей любви.

— Все вы, ребята, одинаковые, — ответила она мягко.

На обратном пути Гуляев увидел, что в столовке попрежнему ярко светят три лампы «Чудо». За роялем сидел Карелин и настойчиво бил пальцем по клавишам.

— Костя, — для чего-то сказал Гуляев, — а я Таню провозжал.

— Ну, и будь здоров, расти большой, — равнодушно ответил Карелин.

На другой день в Костине все знали, что в коммуне была вечеринка и что многие костинские девки были там, пели, плясали вместе с ворами. Говорили, что Василий Петрович Разоренов потаскал свою дочь за косы, досталось от родных и Тане — его племяннице. Девушки, оправдываясь, рассказывали, что вечеринка была очень приличная — сам доктор,

Сергей Петрович, читал им вслух книжки. Для полноты впечатления они позволяли себе немножко приврать.

— Потешные ребята в коммуне в этой, — говорили девушки. — Фокусник такие чудеса показывал — ума не приложить!

Удача первой вечеринки окрылила болшевцев. Они решили устраивать их еженедельно. Теперь уже без всяких приглашений по средам, как говорили в коммуне — «на огонек», из Костина шли девушки, парни, а иногда даже и старики. Особенно пристрастился ходить на вечеринки певчий Божья Дудка. Он подружился с Гуляевым и восхищался тем, как тот ловко поет песни. На первых порах Божья Дудка был в коммуне как бы за регента, и это очень льстило ему. Потом пришел на работу в коммуну приглашенный Погребинским опытный руководитель струнных оркестров Чегодаев. Это был страстный любитель музыки.

Нелегко ему пришлось в коммуне на первых порах. Ребята охотно наигрывали на гитаре блатные мотивы, но долгое время их никак не удавалось сколотить в кружок. Им было скучно разучивать какую-нибудь новую мелодию, не нравились инструменты, на которых требовалось лишь вторить.

Кое-кто из ребят начал поговаривать о том, чтобы поставить свой спектакль. Почему не попытаться? Выйдет!

Мелихов посоветовал, прежде чем браться за это дело, съездить в один из московских театров.

— Вам не мешает посмотреть, как это делается, — говорил он.

Совет Мелихова был принят с воодушевлением. Среди ребят нашлись и такие, кто вообще ни разу не бывал в театрах. Поездка в театр привлекала теперь внимание всей коммуны. Даже дядя Павел и дядя Андрей увлеклись этим делом. Они откровенно завидовали ребятам. Дядя Павел за всю жизнь только один раз был в цирке, а дядя Андрей даже и в цирке не был, хотя о театре поговорить любил и утверждал, что знает толк в этом деле, потому что у него был знакомый актер.

— Балуют вас, — говорили они. — Работать как следует еще не научились, а уж в театр везут.

— Не ворчите — и вас возьмем, — посмеивались ребята. Наступил день поездки.

— Из руководителей с вами поедет тетя Сима, — объявил Мелихов.

Болшевцы запротестовали:

— Мы с инструкторами поедем.

— В театре вам необходим толковый руководитель, — убеждал Мелихов.

— Инструктора толковые.



— У нас дядя Андрей спец по театру! Он с актерами знаком!

— Мы его в драмкружок режиссером поставим.

— Ну уж нет, — возразил дядя Андрей. Он присутствовал при этом разговоре. — Вы лучше меня на работе больше слушайте. А в кружок вам кого другого придется поискать.

Мелихов уступил ребятам. В конце концов это только хорошо, что у воспитанников завязывается такая дружба с их инструкторами.

Инструктора, получив от Мелихова билеты, распределили их среди ребят.

— Мы на Мейерхольда идем, — сообщил дядя Андрей тем, кто должен был ехать вместе с ним.

— А мы на «Д. Е.», — говорил дядя Павел.

— «Д. Е.» — это значит «Даешь Европу», — объяснил Накатников.

— Ты куда? — спросил Гуляев Чинарика.

— На Мейерхольда! А ты?

— Я на «Д. Е.».

Не хотелось им расставаться в этот радостный и веселый вечер, а пришлось. Они разделили между собой махорку, которую держали в общем кисете. Дядя Андрей со своей группой уехал первым.

Подтянутые, праздничные, перепопаянные широкими военного образца ремнями, в зеленых рубахах, собранных на спине в сборки, ребята чувствовали себя необыкновенно хорошо. Ярко освещенное фойе, зрительный зал с высоким потолком, масса движущихся людей — все это восхищало, как-то по-иному приоткрывало новую жизнь, заставляло сильнее ценить ее.

Каково же было удивление и радость болшевцев, когда они вдруг столкнулись в фойе с дядей Павлом, Гуляевым и другими товарищами по коммуне. Ребята изумленно стояли друг перед другом, не понимая, как это могло случиться. Потом все дружно захохотали.

— Это что же? Как же это у вас так? — кричали они, подталкивая под бока своих руководителей.

Дядя Андрей не менее ребят был удивлен этой встречей.

— А шут его знал, что «Д. Е.» — это Мейерхольд, — смеялся он.

Гуляев и Чинарик вытащили из карманов махорку и демонстративно вновь ссыпали ее в общий кисет.

Эта забавная история долго потом потешала коммуну, и постороннему человеку было непонятно, что ж произвело большее впечатление на болшевцев — спектакль или этот случай. Им было весело и от того и от другого.

Гуляева же театр настолько увлек, что он потребовал себе главную роль в пьеске, принятой к постановке драмкружком.

Он мечтал об актерской славе. Ему поручили играть ответственную и эффектную роль французского офицера. Он добросовестно зубрил свою роль, не давая покоя ни себе, ни соседям по общежитию. Увлечение театром посорило его даже с закадычным приятелем — Чинариком. Произошло это незадолго до спектакля. В красном уголке шли последние репетиции. Гуляев расхаживал по сцене в офицерском мундире, гремя шпорами, поддерживая рукой кривую саблю. Он был доволен собой, своим костюмом и теми словами, которые он говорил пышной сестре милосердия, соблазвившей его коварными улыбками.

— Чудная! Несравненная! — декламировал Гуляев, гордо выпятив грудь, — ты, жестокосердная! Положи руку на мое сердце, и ты почувствуешь, как оно горячо бьется. Так знай же, оно бьется для тебя!

— Вы коварны, вы меня обманете, — слабо защищалась сестра.

Офицерский монолог был длинен и горяч. Гуляев думал о том, как он будет блистать на освещенной сцене в день спектакля. Зрительный зал будет кричать молодому актеру «бис». И вот в минуты этих мечтаний в красный уголок прибежал Чинарик. Он только что отдежурил на кухне. Он старательно вымыл и вычистил песком все кастрюли, аккуратно по ранжиру расставил их на полках, подмел кухню, снял длинной щеткой черную паутину и, взглянув на яркое сияние меди, на тусклый блеск алюминия, на чисто выметенный пол и протертые стекла в окнах, он вдруг умилился и притонул:

— Ай да Чинарик, золотые руки! — сказал он сам себе, и ему захотелось похвалиться перед Лехой чистотой своей работы.

— Бросай свою волюнку! — крикнул он. — Иди-ка посмотри, что я на кухне сделал!

— Отстань! — отмахнулся Гуляев и продолжал повторять свой знаменитый монолог.

Равнодушие друга обидело Чинарика.

— Не отстану, — заявил он вызывающе и нарочно стал приплясывать и петь перед носом будущего прославленного актера.

Тогда Леха тихо, но совершенно отчетливо и искренно сказал:

— Катись отсюда, паразит!

— Я паразит? — вскипел Чинарик. — Ах ты... белогвардейская морда!

И, не стерпев обиды, Чинарик ударил приятеля и кинулся бежать. За собой он слышал разгоряченное дыхание и звон шпор. В кухню они вбежали почти одновременно. Чинарик схватил топор, Гуляев, сбросив бутафорскую саблю, взял сто-



довый нож. Мгновенно плотным кольцом их окружили ребята. Торопливо вошел в кухню Сергей Петрович.

— Бросьте! — Он перевел дух и стал проталкиваться в круг, чтобы встать между Лехой и Чинариком.

Но его не пропускали.

— Третий не лезь... — напомнил кто-то блатной закон.

«Неужели, как и во время драки с костинцами, я не найду, что нужно сделать?» подумал Сергей Петрович и вдруг, точно успокоившись, отошел к окну.

— Драмкружок организовали, артистами сделались! — крикнул он горько. — Остался бы ты, Леха, в Москве.

Леха взглянул на Чинарика. Тот стоял совершенно белый, с пустыми глазами, с прикушенной нижней губой.

— Живи! — крикнул Леха. — Живи, гад!

И, скрипнув зубами, черкнув ножом по воровскому обычаю крест на подметке, с размаху переломил нож о колено.

# АКТИВ

**Е**ще с первых дней в коммуне начали выбирать контролеров. Обычно в субботу за ужином на целую неделю выбирался один парень помогать воспитателям.

Он будил по утрам воспитанников, следил за порядком в спальнях, наблюдал за кухней, за приготовлением завтрака, обеда и ужина, проверял спальни вечером перед сном.

Контролер вставал раньше всех и ложился позже всех.

Когда уже все спали, он шел к Мелихову рапортовать о состоянии коммуны. Бывшие воры скоро привыкли к звону тяжелого валдайского колокола, размерявшему их жизнь. Этот колокол переходил от одного контролера к другому.

Была суббота. Кончался ужин. Отдежуривший неделю контролер Котов приготовился сдавать свои полномочия и колокол.

— Кого в контроль? — спросил Богословский ребят.

Выборы занимали их. Они с увлечением обсуждали кандидатуру каждого, вспоминали при этом все его грехи и провинности в прошлом, хотя эти провинности не имели никакого касательства к делу контроля.

Молодой паренек из бывших воспитанников детдома, Дима Смирнов, давно страдал оттого, что его обходят, видимо, считают неподходящим, малолетним.

Совсем неожиданно для него Умнов назвал его фамилию.

Дима покраснел, опустил глаза.

— Он колокол не подымет, — заметил Косой.

— Ему еще мамку сосать, а он — в контроль, — угрюмо поддакнул Андреев.

Начались шутки, мучительные для Димы. Но подоспела подмога.

— Велика Федора, да дура!.. — сказал Накатников, смеясь насмешливыми глазами Андреева. — Я за то, чтобы Димку. Он мал, да удал!..

— Ладно! — сказал Богословский. — Выбираем, что ли, Смирнова?



Так Смирнов взял в первый раз в свои руки валдайский колокол.

Светлоглазый и светлобровый мальчишка — вырос Смирнов в Коломне, на зеленой улице, оглашаемой криками воробьев. Отец, рабочий на паровозостроительном, умер, когда Диме не было и девяти лет. Пожалуй, один отец только и уважал Диму. За глаза он называл его не иначе, как «наследник», а к нему обращался по имени и отчеству: «Здравствуйте, Дмитрий Михайлович!»

После смерти отца, жалея больную мать Димы, тетки корили мальчишку, попрекали куском.

— Другие хлеб зарабатывают, в дом несут, а ты, кабан, из матери последние жилы тянешь.

Димка обижался, раздумывал — как ему быть? Потом надумал. Он уехал в Москву, к другой тетке, жившей неподалеку от Триумфальных ворот. Но и московская тетка оказалась не лучше коломенских, также попрекала дармоедством.

В Москве полюбился Смирнову Белорусский вокзал, поезда, грохот и ритм движения. Под вокзалом, в подвалах жили молодые чумазые дикари — шайка беспризорников под атаманством скуластого Мишки Андреева. Он был старше других и уже сидел в Бутырках. Беспризорники не корили друг друга хлебом, не выматывали душу пустыми, надоедливими проповедями. Они жили голодно, грязно, но беззаботно, словно коломенские воробьи. Дима перебрался в их компанию.

Но и тут было не сладко. В шайке уважали сильных, ловких. Смирнов был моложе и слабее всех. Воровал он плохо, похвастаться прошлыми подвигами не мог — не было их. Только и приходилось на его долю, что грязь, вши да побои. Любил он книги, но в шайке издевались над ним за это. Да и где было эти книги доставать и читать?

И когда на вокзал явился сивоусый плечистый человек — это был Мелихов — и предложил сменить катакомбы на чистый и светлый дом на Малой Калужской, Дима искренно обрадовался этому.

Так Дима Смирнов попал в детдом имени Розы Люксембург, а оттуда в Болшевскую коммуну.

В коммуне, как и в шайке беспризорников, решительно все были старше, опытнее, сильнее и выносливее Димы. Он потел от обиды, когда восемнадцатилетний Котов бросал мимоходом:

— Сынок, на горшочек не хочешь ли?..

У него вспыхивали огоньками глаза, когда Андреев подмигивал:

— Старик, пошли футбол гонять...

Однажды Накатников назвал его в шутку «Михалычем», и Дима долго страдал, боясь, что это словцо прилипнет как

кличка. Вот каков был самый молодой болшевец — Дима Смирнов.

Контролерство его вышло удачным. За завтраком ребята ели пироги и пили какао, которое не пахло дымом, как это было в контролерство Котова.

Скучное осеннее воскресенье было скрашено походом в кино на соседнюю Первомайскую фабрику. Когда шли туда, Мелихов сказал всем, что инициатива этого посещения первомайцев принадлежит Смирнову.

Дима учел, что Котов — предыдущий контролер — шесть дней сряду кормил коммуну картофелем во всех видах. В первый день контролерства Смирнова к обеду подали украинский борщ и мясные котлеты. Однако примерная работа не спасла Диму от обид и насмешек.

Бывший атаман Димы, скуластый Андреев, воспринял выбор Димы в контроль как обиду. Он промолчал во время выборов, но не примирился.

Он ходил за Смирновым по пятам и назойливо, как осенняя муха, изводил его:

— Ну, бендик, смотри, чтоб суп не пересолили.

Дима делал вид, что он очень занят.

— Ну, шпунтик, каково в контроле?

Дима молчал.

— Ну, гад, доотвала, значит, нажрешься в кухне? Повар печенку слизал, а на кошку сказал!..

— Отстань, — попросил, наконец, Дима.

Этого Андрееву и было надо.

— Ты кто такой, чтобы кричать? Ты как на меня смеешь кричать?.. — орал он благим матом на всю комнату. — Ты думаешь, если тебя, котенка, в контролеры произвели, так ты на всякого лаять можешь?

Вероятно, от ругани он перешел бы к физическому воздействию, если бы на крик не собрались болшевцы. Среди них был Накатников. Тугой на соображение, Андреев почему-то побаивался этого горячего парня. Он отступил, что-то ворча под нос.

На следующий день у Смирнова вышла стычка с дневальным Королевым.

На замечание Смирнова о том, что пол спальни надо бы вымыть, Королев показал кулак и спокойно сказал:

— Катись... Таких много!..

Дима хотел во что бы то ни стало провести контроль образцово. Он не стал ждать, пока об отказе Королева узнают Богословский и Мелихов. Он принес воды, отыскал тряпки и начал сам мыть злосчастный пол. Королев долго смотрел на него с любопытством. Потом засучил рукава и оттолкнул его:



— Пусти, я сам! И мыть-то как следует не умеешь...

Королев домыл пол и, как показалось Диме, в тоне, каким он стал теперь разговаривать с ним, появились новые ноты. На второй день контролерства при проверке спален в кровати не оказалось Беспалова.

Смирнов не уснул до двух часов ночи, когда возвратился, наконец, Беспалов.

От него пахло водкой.

Дима мягко, но настойчиво сказал, что на этот раз он промолчит, но в случае повторения заявит Мелихову.

Беспалов мутно улыбнулся и ущипнул Диму:

— Посмей, чорт драповый!..

Но больше ни разу на ночь не отлучался.

Дня через три-четыре вся коммуна вынуждена была признать, что Дима Смирнов оказался превосходным контролером.

Даже Мелихов посматривал на Диму так, словно видел в первый раз его розовое лицо, вихорок на голове, смышенные серые глаза.

К этому времени было уже решено выделить из воспитанников постоянных выборных «доверителей».

Добросовестность и порядочность, проявленные Смирновым, делали его несмотря на молодость вполне подходящим для работы в качестве «доверителя».

Мелихов решил поддержать его кандидатуру.

Трудно определить, в чьей голове зародилась мысль о выборных «доверителях». Нужно было, чтобы кто-то помогал воспитателям подготавливать вопросы к общему собранию, служил связывающим звеном между воспитателями и воспитанниками.

Мысль эту подсказывала жизнь, оправдавшая себя практика контроля и общая твердая линия коммуны на воспитание крепкого ядра активистов — основы всего коллектива.

Об этом много и подробно говорилось в комнате Сергея Петровича, куда ребята постоянно заходили почаявничать и дружески поболтать.

На одном из очередных собраний Мелихов выступил с предложением избрать «доверителей».

Васильев, Накатников и Смирнов получили большинство голосов. Всем было ясно: Дима Смирнов избран благодаря тому, что образцово работал в контроле.

Впервые Смирнов почувствовал себя взрослым, совсем равным с товарищами. Коммуна не только сравняла его, младшего, со старшими по возрасту, но и выделила его, особо доверяла ему.

От этой тройки «доверителей» отпочковались продуктовая и вещевая комиссии.

Васильев и Андреев занялись продуктами. Смирнов стал вешать одежду и бельем.

Он с головой ушел в новую для него работу. А после того как комиссиям были переданы ключи от кладовых, работа совершенно поглотила его. Он упорно думал о том, как покончить с сыростью в кладовой и уничтожить крыс, о том, что носовые платки пачкаются не столько от употребления, сколько от грязных, никогда не стирающихся карманов верхней одежды, и придумывал способ время от времени стирать карманы.

Зимой на общем собрании был поставлен вопрос о выборе специальной конфликтной комиссии, которая подготовляла бы обсуждение вопросов к общим собраниям, разгрузила бы общие собрания от разбора мелких повседневных ссор и дразг.

— Конфликтная комиссия — это наш коммунальный суд, — разъяснял Богословский. — Выбранные вами товарищи будут обсуждать ваши проступки и определять взыскания. Не мы, воспитатели, будем вас наказывать, а ваши выборные. На основе вами же установленных правил будем бороться за порядок и дисциплину, будем беречь и строить коммуны, бороться с теми, кому она недорога. Я не называю фамилий. Кого хотите, того и выбирайте. Но помните: нет у нас сейчас дела ответственнее и важнее.

И началась бурная выборная кампания.

Калдыба, Королев, Беспалов, Чума — все, кто любил выпить и, следовательно, предполагал в будущем предстать перед конфликтной комиссией, сообразили, что если не иметь в комиссии своего пьющего представителя, дело получится «гроб».

Хриплоголосая эта группа настойчиво выкликала:

— Гагу!

— Королева!

— Гагу, он смирный!

Гага, он же Воробьев — черномазый, красноносый, — был действительно молчалив, замкнут, ко всему равнодушен. Пил он часто, но как-то без увлечения, точно по обязанности.

Другие выдвигали Васильева.

Васильев водки не пил. Высокий, русоволосый, косоглазый, он славился двумя свойствами: голосом и франтовством.

Голос у него был действительно отменный.

— Если разобьется колокол, будем выводить Косого — пущай орет!.. — шутили иногда болшевики.

Сапоги у Косого были зеркального блеска. Умел он делать безукоризненный прибор.

Косой и Гага получили большинство голосов. Третьим был избран Дима Смирнов. Он был одним из немногих воспитанников коммуны, не имевших взысканий.



Первое заседание конфликтной комиссии происходило на другой день. Дима волновался. Впрочем, волновался не он один.

Институт «доверителей» оправдал себя. Ребята успешно работали в вещевой и продуктовой комиссиях. Конфликтная комиссия, занимающаяся вопросами быта, дисциплины, труда, была естественным, необходимым шагом, знаменовавшим дальнейшее укрепление и рост коммуны.

«Но как все это выйдет на практике?» беспокоился Мелихов. Он несколько раз ездил в Москву, чтобы получить указания, посоветоваться по этим вопросам.

Предполагалось, что конфликтная комиссия будет не только проводить подготовительную, черновую работу к общим собраниям, но кое-что будет решать сама.

А кто в этой комиссии? Даже если бы выбрали самых лучших — и самые лучшие в сущности — обыкновенные жулики, для которых еще не потерял силы блатной закон. Правда, для них уже и коммуна кое-что значила. Они будут прислушиваться к словам Богословского и Мелихова. Но ведь нужно, чтобы комиссия работала и решала сама, только тогда она может со временем стать настоящей силой.

Прямое вмешательство и опека со стороны воспитателей только вредили бы этому. А вместе с тем нельзя допускать и ошибок. Предпринимался очень важный, ответственный шаг.

Сквозь заиндевевшие стекла окон тускло рдел закат. За столом, накрытым кумачовым полотнищем, Мелихов увидел конфликтную комиссию в полном составе.

На председательском месте сидел щеголеватый Васильев, справа от него — Дима Смирнов, слева — меланхоличный Гага.

Ребята чувствовали себя стесненно.

Здесь, в этой низкой комнате, жил когда-то Владимир Ильич Ленин, он пользовался вот этой самой зеленоватого цвета мебелью: столом, на котором лежали сейчас их локти, стульями, на которых они сидели.

Непривычная обстановка ленинского уголка, новизна дела сковали их движения, приглушили голоса.

Это были те же Васильев, Гага, Смирнов, и в то же время как будто уже и не они, а какие-то особенные люди, представители общего собрания, которое может послать человека на гауптвахту, не пустить в Москву, исключить из коммуны.

Поодаль сидели, видимо, из интереса к необычным в коммуне делам Гуляев и Накатников.

Тут же были Чума, Беспалов, Котов и Умнов. Их дела должна была рассмотреть сегодня конфликтная комиссия. Они о чем-то беседовали вполголоса у окна.

Суровую простоту обстановки нарушал лишь Чума.

С кривыми, как у степного наездника, ногами, с острым лицом и наглыми глазами он выделялся пестрым, попугайной окраски кашне и мятым цилиндром, из-под которого торчали его грязнорусые волосы. Вот уже с неделю он таскал этот цилиндр, раздобыв его неизвестно где. Кургузый пиджак сидел на нем, как на манекене.

— Начинай, что ли, — сказал Смирнов, покосившись на Мелихова.

— Чума, подойди, — пробасил Васильев, и сам удивился строгости и значительности своего тона.

Чума подошел не спеша, вразвалку. Развязная, вызывающая улыбка растекалась по его лицу. Он как бы хотел сказать: «Любопытствую, что произойдет дальше. Посмеяться люблю!.. Но попробуйте только взаправду тронуть!»

Дело Чумы было неясное.

В спальне, где он жил, ночью четверо воспитанников напились и утром не вышли на работу. Один из них сказал, что вино добыл Чума. Сам Чума отрицал это. Вызывающий вид его бросался в глаза.

«На Гагу надеется, — подумал Смирнов сердито. Он еще не знал, какую линию будут держать Воробьев и Васильев. — Ну погоди, не выйдет».

Чума подошел вплотную, уперся животом в край стола и ждал, почти не скрывая насмешки.

Смирнов разглядывал кашне и цилиндр. Прежде ему казалось очень смешным это клоунское облачение. Теперь оно вызывало досаду.

— Сними, — сказал он негромко.

— Что «сними»? Штаны, что ли? — спросил Чума, прикидываясь непонимающим, и оглядел по очереди всех членов комиссии. Он бы поговорил с ним не так, не будь здесь Мелихова.

— Не балагань!.. — поддержал Васильев Смирнова. Он чувствовал себя председателем. — Скидай цилиндр. В цирк пойдешь — там наденешь.

Чума смотрел уже несколько растерянно. Разве не позавчера только он пил вместе с Гагой? Должен же, черт побери, хоть этот один поддержать кореша?!

— Разумеется, как вы есть выборная комиссия, — сказал Чума, — закон коммуны мы все должны понимать... Но как это у меня все равно, как у тебя кепка, то нет вашего права...

Гага завозился на стуле, потрогал зачем-то себя за ухо и вяло сказал:

— Сними, Чума.



— Ага, так!.. — задохнулся от злобы Чума и, точно ослепленный тяжелой кровью, ударившей вдруг в голову, позабыв о присутствии Мелихова, быстро, неверно пошел к выходу.

— Чума, брось! Не психуй! — предостерегающе крикнул ему Накатников. — На общее собрание потянут, дурья голова.

Чума не удостоил его ответом. Он с силой хлопнул дверью и исчез.

«Нехорошо. Не годится. Не тот подход», подумал Мелихов. Он уже видел, что опасность не в том, что будет потворство, — совсем неожиданно она была в другом.

— Что ж... Передадим на общее собрание, — неуверенно сказал Васильев.

— Пусть принают по совокупности, — поддержал Смирнов.

Гага смолчал.

— Да вы отложили бы?.. Может, он проветрится и придет... — подал голос Накатников.

— Права не имел уходить, — угрюмо отозвался Васильев.

Он все ждал, что, наконец, скажет что-нибудь и Мелихов, но тот молчал.

Смирнов был парнишкой мягкосердечным, даже добрым. У него было мало проступков, но это не мешало ему обычно в жизни быть вполне снисходительным к проступкам других. Но здесь была не обычная жизнь. Он чувствовал, что здесь дело не в том, как относится он, Дима Смирнов, к Чуме, к его поступкам, а важно, как отнеслась бы к ним коммуна. Самое главное в том, чтобы оправдать исключительное доверие, которое оказали им, членам комиссии, Мелихов, Погребинский, все коммунары, доверие, делавшее их как бы не принадлежащими самим себе. Все, что угодно, лишь бы только никто не мог подумать или сказать, что Смирнов недостаточно решителен, недостаточно тверд там, где дело идет о защите интересов коммуны. Он видел, что то же самое испытывает и Васильев и даже Гага. И потому, хотя уход Чумы был и ему неприятен, он успокоил себя тем, что зато авторитет коммуны и ее законы не пострадали.

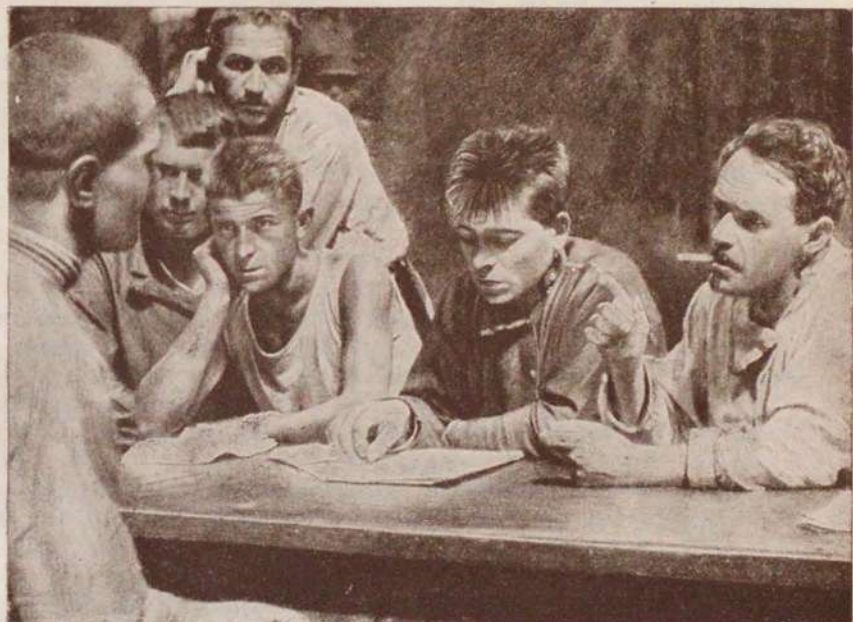
Васильев позвал Беспалова. Тот хмуρο подошел к столу. Он был взвинчен инцидентом с Чумой. Он косил глаза на окно. Окно синело зимними сумерками.

— Пил? — коротко спросил Васильев.

— А ты не пьешь? — огрызнулся Беспалов.

— Что это за женщина, с которой ты путался позавчера в Болшеве?

— Я твоих не считал. И тебе моих считать не советую, — нехорошо усмехнулся Беспалов.



Конфликтная комиссия за работой



Может быть, перед общим собранием, перед всей коммуной, перед воспитателями он нашел бы в себе силы признаться в ошибках, раскаяться, но здесь, перед этими пацанами...

— Да ты рассказывай, — деловито сказал Смирнов.

— Нечего мне вам рассказывать.

— Не будешь здесь — будешь говорить в другом месте...

— В другом месте? — заорал вдруг Беспалов. — В другом месте, сивка!.. Да со мной ни один следователь так не разговаривал!

Глаза Беспалова блеснули:

— Да я лучше десять раз в Соловках пропотею, чем стану разговаривать со всякой шпаной!..

Смирнов тихонько совещался с Васильевым.

«Нет, так дело не пойдет», подумал Мелихов. Он встал, зажег лампу.

— Можешь идти, — торжественно объявил Васильев Беспалову.

— Ты Соловками нас не пугай! Заслужишь, так и пошлют, — сказал Смирнов вдогонку.

Беспалов ушел.

— Котов и Умнов! — окликнул Васильев.

— Скажи, Умнов, начистоту, из-за чего это у вас с Котовым вышла драка?

Умнов подошел к столу. Сесть было не на что. Пришлось стоять.

— Давай, давай, рассказывай, — поторопил Васильев.

— Что ж рассказывать? — развел руками Умнов. — Я задержался в кузнице. Пришел после обеда. А в контроле был Котов. Хоть мы с Котовым не разговариваем, но как он — контроль, я сказал ему вежливым тоном: «Дай мне обед». И вот, я смотрю, Котов, не говоря ни слова, взял уполовник и полез не в котел, а в поганое ведро, куда у нас сливаются ополоски для поросенка. Налил, значит, и ставит передо мной, отвернув мурло. Я спросил его: «Это ты мне?» Котов отвечает: «Это тебе». Тогда я встал и сказал: «А это тебе». И смазал его по уху. Он, конечно, пошатнулся, но на ногах удержался и смылся.

— А ты знал, что контроль в коммуне — лицо неприкосновенное? — промямлил Гага, обрадованный, что дела о пьянстве прошли.

— Знал.

— Ну, а дальше что? Не с одного же удара ты его так изукрасил? — спросил Смирнов.

— Ну, дальше Котов ушел, а я налил себе супа из общего котла и стал шамать. А Котов взял здоровенную палку, какой быка оглушишь, подкрался сзади, да как даст по голове. Ну, я встал и тоже стал бить Котова. Ну, другие мне помогли,

потому что все видели и Котов их возмутил. Тут пришли котовские корешки, но они его в этот раз не защищали, потому что Котов был подл, и они отвернулись.

Если бы Смирнов был сам при том, о чем рассказывал Умнов, очень может быть, что и он бы помог ему побить Котова. В детдоме он всегда поддерживал Умнова. Но ведь здесь — конфликтная, здесь совсем не то.

— Признаешься, что ты виноватый? — спросил он строго.

— Нет, я не виноватый.

Смирнов записал. Накатников о чем-то шептался с Гуляевым. Лампа чадила, но никто не замечал этого.

Долго и путанно начал объясняться Котов.

— Скажи, Умнов, — неожиданно произнес Мелихов. — У вас с Котовым был хоть один мирный разговор в коммуне?

Он решил, что пора вмешаться. Он понял, откуда шел этот явный перегиб со стороны новой комиссии. Ему стало ясно и это стремление — быть во что бы то ни стало на высоте — и то, как нелегко людям, вчера еще совершавшим те же проступки, понять разницу между потворством и простой товарищеской чуткостью. Скоро они научатся понимать ее. Но Чума, наверное, опять начнет будоражить ребят, Беспалов уйдет пьянствовать и уведет с собой кого-либо еще... Это издержки, которые возместятся, конечно... Но... пора начинать поправлять!

Умнов повернулся лицом к Мелихову.

— Нет. И навряд ли будет когда, — убежденно ответил он.

— Это почему же? — заинтересовался Васильев.

Он был бесконечно рад тому, что, наконец, заговорил Мелихов. Вот теперь все пойдет правильно. Точно огромная тяжесть снималась с него.

— Не с тобой говорю, — огрызнулся Умнов.

— Так с конфликтной не разговаривают, — мягко заметил Мелихов. — Комиссию избрало общее собрание. Ты сам гололовал за нее. Грубя ей, ты грубишь самому себе.

Смирнов, которого мучило неопределенное сознание, что все-таки два предыдущих дела закончились как-то неладно, приободрился. Слова Мелихова звучали поддержкой.

— Ты бы рассказал, Умнов, комиссии о причинах вашей вражды, — предложил Мелихов.

— Так вы же знаете, Федор Григорьевич, — уклончиво сказал Умнов.

— Я-то знаю, да вот твои товарищи не совсем хорошо все представляют. Я так понимаю, что это не случайная драка по случайному поводу... Так, что ли, Котов?

— Так, — буркнул Котов.

— Дело это старое, началось еще в Москве, в детдоме на Малой Калужской, — сказал Умнов. — До того я был в дет-



доме на Почтовой улице. Четыре раза я бегал оттуда. Беспризорничать мне надоело. У Федора Григорьевича мне понравилась. Я решил остаться. А там в то время выделялся Котов. До детдома он имел свою шайку. Промышляли они на Брянском вокзале. Оттуда его вместе с шайкой и препроводили. В детдоме я сдружился с сапожным мастером и всерьез занялся дратвой. И котовская шатя-братия терлась в сапожной, но работала мало. Мастер, видя мое старание, дал мне шить сандалии. Это был первый случай в мастерской. А Котову и котовцам сандалии шить не дали, хотя они и просили. Мастер сказал котовцам: «Вам рано, материал испортите». С этого меня котовцы и невзлюбили. Начали шептаться: «Умнова надо спровадить». Я сговорил кое-кого из ребят, вроде как сделал свою, умновскую, шайку. И пошли мы друг друга колошматить почем зря. Раз мои ребята предупреждают меня: «Сегодня не спи, зарежут финкой». Я не стал спать. И, правда, ночью подходит ко мне Дегтярев с финкой. Был у нас такой парень... Рябой... Смирнов его знает... Котов его подослал. Я Дегтярева смазал, он отлетел, ударился башкой об стену. Тут я заметил, что Котов не спит. Я подошел и Котову дал в морду. За него вступились его ребята, а за меня — мои. Мы втроем побили восьмерых. Пришел товарищ Мелихов и нас разъединил по разным спальням. И здесь, в коммуналке, он ко мне тоже раз так же вот ночью подбирался...

— Ты, Умнов, все о котовских проступках говоришь, — усмехнулся Мелихов. — Ты о себе скажи. Пирог вспомни.

— Я что? Я не скрываю. Что было, то было. В Москве в детдоме пироги мы пекли сами. Я дежурил на кухне. Каждому парню полагался отдельный пирог. Для Котова я сделал пирог побольше, а в начинку положил пакли. Сели за стол. Подают всем по пирогу и Котову тоже. Он позарился на румяный пирог, откусил, а там веревка и пакля. Выругался и убежал.

— Значит, и теперь у вас идет продолжение старого? — строго спросил Мелихов.

— Ясно, — сознался Умнов.

— А ты знаешь, что коммуналке нет дела до наших прежних счетов? — сказал Смирнов.

— Так он и здесь лезет, — упорствовал Умнов. — Если Котов не будет, я что же...

Мелихов улыбался в усы: «Как-то теперь конфликтная?»

Дима Смирнов вовсе пал духом: «Наверное, с Чумой и с Беспаловым надо было вот так же поговорить, разобраться в подробностях. Кажется, вышла промашка». Он ежеминутно оглядывался на Мелихова, потом прямо спросил его:

— Что же с ними делать, Федор Григорьевич?

— А это уж ваше дело. Вас выбрали, вам и решать, — отозвался с добродушной улыбкой Мелихов.

«Мы посадили их на место воспитателей, и они должны на самой жизни учиться этому трудному делу, — думал он. — А какую огромную силу получит вся воспитательная работа, если у нас вырастет свой настоящий актив!»

— Умнова я знаю давно, — заговорил Мелихов. — С ним грубостью ничего не сделаешь... Правда, Умнов? Помню, осенью, когда мы только сюда приехали, иду я мимо сада, смотрю — крадется Умнов. Ясно, за яблоками. Остановился за деревом, слежу. Залез наш будущий кузнец на яблоню, не столько яблоки рвет, сколько ветки ломает. По саду треск. Откуда ни возьмись — Медвяцкий. Умнов хотел соскочить, да зацепился за сук. И повис. Медвяцкий подошел, снял его, взял за ухо и говорит: «Тебя, паря, треба драть крапивою. Но ваш Мелихов не верит, что вы, мошенники, грабите сад. Я бить тебя не стану, но скажу об этом Мелихову. Подтвердишь, стервец, что я тебя поймал?» Умнов, конечно, обрадовался: «Все подтвержу, только пусти». В этот же день приходит ко мне Медвяцкий.

Когда Мелихов дошел до этого места, Умнов насунился, покраснел. По всей видимости это воспоминание ему было не очень приятно.

— Сознался Умнов? — спросил с любопытством Васильев.

Мелихов усмехнулся:

— Нет. Отказался наотрез. Медвяцкого выставил клеветником. Но я сделал вид, что поверил. Я сказал Умнову: «Я тебе верю. Дай мне обещание, что ты и впредь не будешь красть яблоки, как не крад их до сих пор». Умнов обещал. И я думаю, Умнов с тех пор больше не взял самовольно ни одного яблока. Верно, Умнов?

— Один раз, Федор Григорьевич, — отвернувшись, сказал Умнов.

Смирнов скреб затылок. Теперь ему было уже вполне очевидно, что они напороли горячку с Чумой и Беспаловым. Вряд ли общее собрание поддержит конфликтную. Не так подошли они к Чуме и Беспалову, как это нужно было: совсем иначе подходил к ребятам Мелихов. Смирнов сказал об этом Васильеву. Тот обеспокоился. Как же теперь быть? Пошептавшись с Гагой и Смирновым, Васильев сказал, косясь на Мелихова:

— Решение комиссии объявит товарищ Смирнов.

Смирнов встал:

— Конфликтная комиссия внесет предложение общему собранию: Котову и Умнову за драку дать по месяцу невыхода из коммуны и по одному поломытью.

— А насчет Чумы и Беспалова? — насмешливо спросил Гуляев.

Смирнов замаялся, еще раз покосился на Мелихова. Тот безучастно теребил ус.



— А насчет Беспалова и Чумы комиссия скажет на общем собрании, — неуверенно произнес Смирнов. — И пускай они признают, что не должны были скандалить в комиссии, а за ихние пьянки пусть почистят картошку на кухне вне очереди раз по пять каждый. Как укажет собрание. — И Дима шумно вздохнул.

— Правильно!.. — одобрил Накатников.  
Тут только заметили все, что лампа чадит.

# ЧЕТЫРЕ ПОДКОВЫ

**У**мнов валялся на куче угля, дергал веревку горна, лениво потягивался. Кузнецы-воспитанники не скрывали презрения к нему, смеялись над ним, бесцеремонно толкали парня в бок.

— Поднимись, чортов сын! Сходи за железом.

Все больше хмурился дядя Павел, иногда сердито говорил:

— Хлеб только зря переводишь, грибная жижа! Сколько времени прошло, когда же ты будешь за настоящую работу браться?

— А когда ты будешь деньги платить? За махорку тебе все жилы вытяни! — огрызался Умнов.

В действительности он меньше всего думал о зарплате. Не работал он из упрямства, из странного чувства раздражения и досады, не покидавшего его со времени приезда бутырцев.

О зарплате он говорил потому, что знал, как остро интересовал этот вопрос других болшевцев. Почти каждый день они спрашивали дядю Павла, когда же, наконец, будут за работу платить деньги.

— Погодите, ребята, сперва надо научиться, а потом будет и плата, — неизменно отвечал дядя Павел.

То же говорил и дядя Андрей ребятам, работавшим у него в сапожной.

Умнов пользовался всяким поводом, чтобы напомнить болшевцам, что разговоры о денежной зарплате до сих пор остаются только разговорами. Однако он ошибался. Время перехода на денежную зарплату приближалось.

Все больше и больше окрестных крестьян приводило ковать своих лошадей в коммунскую кузницу.

Кузнецы сознательно привлекали заказчиков. Они ковали лошадей за бесценок. Они понимали, что самое важное — приучить заказчиков к коммунской кузнице, добиться, чтобы все знали: здесь сделают и лучше и дешевле, чем у любого частного кузнеца во всей округе.



Теперь случались дни, что целые лошадиные очереди устанавливались возле дверей кузницы. Ребята не успевали справиться с работой. А Умнов все лежал на угле, дергал веревку, равнодушно покуривал.

— Поди хоть свиней отгони! — кричал ему дядя Павел. — Видишь, стервы, лезут!

Уголь в кузницу доставали орешковый, жирный, свиньи любили в нем рыться.

Сашка нехотя поднимался и зло набрасывался на свиней. Ребята зубоскалили: «Свинопас!»

Чтобы раз навсегда покончить и со свиньями и с издевательствами, Сашка однажды, когда никого не было, накалил добела тонкое длинное жигало и ткнул его в бок свинье. Свинья пронзительно завизжала, бросилась на костинскую улицу, сунулась в разореновский двор и там издохла. В ее внутренностях нашелся след: жигало словно прошило животное.

Скоро пала и вторая свинья. Труп ее валялся около кузницы, тут всем было ясно, кто ее убил. Вторую свинью Умнов кувалдой ударил по самому пяточку. Калдыба видел, как завертелось животное.

Дядя Павел, узнав об этом, схватил Умнова за шиворот и при всех ребятах выкинул за двери кузницы.

Дней десять Умнов пропадал где-то, являлся в общежитие, когда все спали, неслышно залезал под одеяло. Утром койка его была уже пуста.

А кузница получила заказ на гвозди. Достали железа. Многие болшевцы работали уже довольно сносно. Теперь кузница могла рассчитывать на значительный и устойчивый доход. В отсутствие Умнова денежная зарплата в мастерских была введена. Ее установили в размере от одного до пяти рублей с учетом расценки изделий и экономии материалов.

Первую зарплату выдавали в субботу вечером. К этому знаменательному часу готовились с утра. Ответственность за выдачу денег возложили на Накатникова. Он знал арифметику и без труда мог разбираться в расчетных ведомостях. Для серебра и меди он разыскал где-то на свалке пустые банки из-под консервов. Сидя за столом, выдвинутым на середину комнаты, и обложившись бумагами, он ждал Сергея Петровича.

От стола до двери выстроилась очередь. Ребята нетерпеливо переминались, острили, толкали друг друга, многозначительно прищелкивали пальцами.

Наконец пришел Сергей Петрович. И в ту же минуту ребята, сломав очередь, хлынули к столу.

Первым подскочил к Накатникову ловкий Хаджи Мурат. — Съешь сюда! — завопил он, шутовски широко оттопыривая карман.

— Распишись, — внушительно сказал Накатников, загорая живая деньги, и ткнул пальцем в расчетную ведомость.

Хаджи вывел какой-то замысловатый пероглиф. Он разглядел цифру.

— Это что же, мне — семь... всего семьдесят копеек? — вспыхивая, крикнул он.

— Получай, других не задерживай, — сказал Накатников, протягивая горсть монет.

Хаджи подскочил к Сергею Петровичу:

— Это что же такое? Грабировка! Посадили горбоносого... Почему мне только семьдесят?

— Не горячись! — спокойно возразил Сергей Петрович. — Никто тебя не грабит. Выдают полностью, что заработал. Мало? А в этом ты сам виноват. Сколько раз дядя Андрей говорил тебе, что деревянные гвозди, прежде чем вбивать, надо воском потереть... У тебя они ломаются больше, чем у других сапожников. Правда, ведь? Ну вот, в заработке тебе это и учли. Своей работой ты еще на хлеб не заработал! А тебя кормят, обувают, одевают!

Хаджи обескураженно опустил голову, молча взял деньги, и его тотчас отнесли в сторону.

Накатников отсчитывал деньги Королеву. Кузнец стоял в ожидании, гордо расправив плечи. Он знал, что ему должно причитаться больше всех. И гвозди, и ковку лошадей, и всякую другую работу в кузнице он безусловно делал лучше других. Каково же было его изумление, когда Накатников вместо обозначенных в расчетной ведомости двух с половиной рублем протянул ему только рубль с медью. Королев слегка фыркнул и, не теряя хладнокровия и важного вида, обратился за разъяснением к Сергею Петровичу.

— Видишь ли, какое дело, — мягко сказал Богословский, останавливаясь: до этого он ходил по комнате из угла в угол. — Завтра воскресенье, праздник. Я тебя, конечно, ни в чем не подозреваю, но, видишь ли... Все-таки за тебя боюсь. Третьего дня извозчики в кузницу принесли водку... Они хотели, чтобы подковали им за эту водку... Постой, не перебивай! Я знаю, что ты не утерпел и соблазнился. Водку выпил за кузницей, вместе с извозчиками... Правда, ведь? погоди, не перебивай. Я знаю, что водку ты хотя и выпил, а за ковку лошадей деньги потребовал. Знаю и это. Но, видишь ли... Завтра праздник... Почем знать, может быть, ты нечаянно вдруг встретишь опять этих извозчиков? Захочешь их отблагодарить за угощение. Ведь может это случиться? А ведь ты сам понимаешь, что это было бы нехорошо. Ну так вот, чтобы этого не случилось, я полагаю, что хватит с тебя пока рубля с четвертью. А остальные деньги я тебе додам в следующую получку. Сбережешь.



Королев боялся и клялся, что ничего похожего с ним не случится, не может случиться. Но мягкосердечный дядя Сережа на этот раз был неумолим. Королев пожал плечами, взял со стола деньги и, стоя, пересчитал их. Все слышали, как он внезапно выругался, подлетел к Накатникову с занесенной, словно для удара, рукой, с вытаращенными глазами и лицом, искаженным гримасой бешенства. Сергей Петрович схватил его за плечо.

— Экий ты беспокойный, право!.. — сказал он. — Ну, что ещестряслось?

— Обсчитал! — брызнув слюной, выкрикнул Королев.

— Кто обсчитал?

— Накатников! Обсчитал, падал! Пятачка нет!

Движением плеча Королев высвободился из рук Сергея Петровича, опрокинув банку с деньгами, навалился на стол, стараясь ударить откачнувшегося Накатникова.

— Не позволю!.. У меня волдыри на руках!.. Я за такую штуку... Я покажу пятак!

Нелегко было уговорить разбушевавшегося кузнеца. Он долго ругался, высчитывая какие-то прежние обиды, порываясь драться, и успокоился лишь после того, как Накатников во всеуслышанье признал свою вину, заключавшуюся в том, что он второпях нечаянно выдал Королеву на пятак меньше. Пятачок был торжественно вручен Королеву Сергеем Петровичем.

— Ну, ладно... ничего... бывает, — бормотал Королев смущенно.

Он не знал, куда спрятать теперь этот злосчастный пятак. Он вдруг вспомнил недавние времена, когда случалось разбрасывать без удержу, без жалости сотни украденных рублей, пускать их, как пыль, по ветру. А сейчас вот, как доскутник, как барыга, устроил целый скандал из-за медяка. Да как это могло случиться?

Он подозрительно, приниженно поглядывал на лица ребят. Ему казалось — они должны презирать его, должны над ним смеяться. Но одни расписывались в ведомости, другие пересчитывали серебро и медяки, третьи, уже получившие и пересчитавшие деньги, разговаривали о том, что они будут делать завтра. Будто в том, как вел себя только что Королев, не было ничего необыкновенного, ничего такого, что заслуживало бы сколько-нибудь длительного внимания.

О получении Умнов узнал стороной у рабочих совхоза. Много раз Умнов порывался зайти в кузницу, сказать: «Дядя Павел, брось на меня сердиться, возьми меня опять на работу — гвозди делать хочу». Но было стыдно, да и гордость мешала.

В кузнице кое-кто стоял на стороне Умнова.

— Напрасно ты его, дядя Павел, выбросил.

А Королев — тот прямо требовал:

— Взять надо Умнова. Свиной он правильно угробил: не пастух, чтобы возиться с ними.

Дядя Павел и сам уже думал, что Умнов наказан достаточно, и ожидал случая повстречаться с ним. Однажды он приметил его около общежития. Умнов, завидев строгого мастера, попытался улизнуть.

— Стой, молодчик, — кузнец сцапал его. Умнов притворно вырывался из его объятий, но вскоре перестал сопротивляться.

— На работу не думаешь? Мы гвозди куем, — говорил дядя Павел. — Ребята рубли зашибают. Получили заказ на резак. Сказал я Мелихову: сделаю из Сашки кузнеца. Неужто ошибся? И везде ты, парень, негоден. Не голова, а кочан. В столярной сделал две табуретки, а материалу испортил на пять. В сапожную и заглядывать не хочешь. Вот у всех ремесло будет, всем будет почет и уважение, а ты как был дураком, так дураком и останешься. Ну? Гвозди завтра пойдешь делать?

Умнов сделал вид, что размышляет, потом согласился, решительно тряхнув головой.

Он быстро научился рубить железо. В первый же день наковал гвоздей, сложил их в карман и ходил по коммуне и по деревне, хвастаясь: «Сам гвозди делаю!»

Его дразнили:

— А табуретку — можешь? Хорошие, говорят, табуретки делаешь?

— Брешут. Я на заводе буду кузнецом.

— На за-во-де? Да ты в деревенской кузнице даром не нужен. Шину перетянешь на колесе? Сошник сумеешь отклепать?

Утром Умнов взялся подковать передние ноги мерина, приведенного костинским мужиком.

— Не подковать, — кричали Умнову.

— Учи, — грубо сказал он дяде Павлу, — а то убегу и кузницу сожгу.

А кузнецы, сбившись в кучу, подзадоривали:

— Куда подкова комлем лежит?

— Ему старую подкову с ноги не сорвать.

И верно. Старую подкову нелегко было сорвать. Стертый блестящий обломок держался крепко. Умнов захватил его клещами, потянул, мерин вздрогнул и переступил задними ногами от боли. Умнов начал уговаривать его, гладить по шее, вдруг мерин схватил его за ворот и рванул зубами. Клок порывшего сукна повис на спине Сашки. Перепугавшийся Умнов выпрямился и отскочил. Прешлось мерина подковать Королеву, а опозоренный Умнов два дня не показывался в кузницу.



Странная манера выработалась у него: ошибется, не сумеет сделать и обозлится на всех. В столярной сделал косую табуретку, утащил ее к себе в общежитие и спрятал под кровать; попробуй-ка кто-нибудь дотронуться до табуретки — драка будет! Теперь после истории с меринком Умнов подрался с Королевым, а утром встал раньше всех и ушел в лес. Пообедал у Филиппа Михайловича, рабочего в совхозе.

— Ты чего в рабочее время болтаться вздумал? — спросил тот.

— Дядя Павел передохнуть отпустил. — И на недоверчивый взгляд рабочего ответил:

— Какая польза мне обманывать? Закурить хочешь? Расщедрились — за дежурство по общежитию на десять затяжек махорки дали, — попытался он перевести разговор на другую тему.

— Подковываешь лошадей-то?

— Легко. Это нам просто.

Умнов опять бродил по лесу, бросал палками в белок. «Были бы деньги, уехал бы», думал он.

В полдень он заглянул в кузницу — угрюмый, молчаливый.

Калдыба поймал около кузницы теленка, вел его за уши и кричал:

— Иди, иди, малый, Умнов подкует тебя. Он у нас мастер!

Королев вынул из спичечной коробки специально пойманного клопа:

— Подкуй, Саша.

Умнов сжал губы и промолчал. Но в этот день подковал первую лошадь. Было это так: вечером он упросил дядю Павла оставить его в кузнице одного. Осмотрел клещи, напильники и раздвижные ключи. В кузнице было непривычно тихо, и Умнов зашел:

Ах ты, нож, ты мой булатный,  
Ты железный сторож мой.

Только две строчки и знал он и не переставал повторять их. Ему захотелось стать хорошим кузнецом, сковать нож булатный, купить ружье, револьвер, а потом жениться. Жена в его воображении была похожа на дочь Филиппа Михайловича.

В дверях стоял костинский крестьянин:

— Здорово живешь... Как тебя по батюшке?

— Александр Ефимович, — сказал важно Умнов.

— Александр Ефимович, с доукой к тебе: передние ноги у Гнедка подковать бы.

Умнов подумал, не издевается ли мужик над ним, но голос его был серьезен, а морщинистое лицо озабочено.

— Видишь ли, парень, — говорил он. — К нашим кузнецам вести, за две ноги столько сдерут — лошадка того не будет стоить... Так уж, пожалуйста... Будь ласков...

— Часы вышли, уходить время...

— К спеху мне, Александр Ефимович.

— Ставь! — быстро сказал Умнов.

Руки его дрожали от волнения.

— Уж ты покрепче, Александр Ефимович, покрепче, — повторил мужик несколько раз.

Умнов удачно обрезал неровную кромку копыта, вычистил стрелку, подобрал подкову.

— Лошадь-то не балует? Задевать рукой можно? То-то, — в голосе кузнеца звучала профессиональная строгость.

— Важно! — сказал мужик, осмотрев работу Умнова.

— Погоди. Задние подкою.

— Да ладно, обойдусь покуда передними.

Но Умнов уже привязывал к дереву заднюю ногу лошади. Молоток, гвозди, клещи бойко ходили в его руках.

— Готово! Хоть до Киева поезжай! Потеряет подкову вместе с копытом! Эх, жижга грибная! — повторил он любимое словцо дяди Павла и по-хозяйски хлопнул лошадь по тощему крупу.

Мужик вынул кошелек и, не спрашивая о цене, отсчитал деньги. Ему был известен коммунический расценочник.

Умнов положил деньги в карман. Завтра не забудет передать их дяде Павлу. Он долго смотрел вслед взобравшемуся на спину коня мужику.

На дороге падали лучи холодного солнца. Серебристо поблескивали новые подковы. Провозился Умнов в кузнице дотемна, в общежитие шел с песней.

По дороге он встретил Новикова — низкорослого, забубенного парня с продавленной переносицей:

— Здорово, Сашка... Что больно веселый?

Умнов смутился. В самом деле. Что он расцелся, с какой радости глотку дерет? Невидаль какая — лошадь подковал.

— Работал вот, — неопределенно сказал он.

— А ты будто можешь?

О неудачах Умнова знала вся коммуна, и Новиков нередко вместе с ребятами посмеивался над ним.

— Брось, Саш, грязное дело... Пойдем-ка лучше хлебом.

Он щелкнул себя по кадыку и обнял Умнова за плечи:

— У Марь Ивановны раздобудем... Она в долг верит.

Умнов смотрел сумрачно и вяло. Против выпивки он ничего не имел, но его обидело недоверие Новикова. После того как проблестели от солнца на копытах лошади подбитые им



четыре подковы и в кармане лежали впервые им самим заработанные деньги, это показалось вдвойне невыносимо.

— С тобой пить — рубашку прошьешь. Катись! — и Умнов, подняв плечи, прошел мимо Новикова.

Тот удивленно смотрел ему в спину. Непонятные для него вещи происходили в коммуны. Самые фартовые ребята начинали выкидывать неожиданные коленца.

# БЛАТНОЙ ЗАКОН

**Н**овиков вернулся в коммуны ночью совершенно пьяный. В потухающем сознании его вертелось мучительное, ускользающее словечко «уйду». Откуда явилось это неожиданное решение, он не знал.

— Уйду, — повторял он вслух. — А там мы посчитаемся со всеми. Я их, гадов, заставлю червонцы жрать.

Наутро Новиков был молчалив и мрачен. Он предчувствовал неизбежные неприятные и унижительные разговоры с Мелиховым о вчерашней пьянке. «А ну их всех», выругался он про себя и круто повернул к двери с намерением сейчас же отправиться на станцию. На крыльце задержался, подумал: «Зашумят, гады, скажут, портянки стащил. Надо сдать». И решил дожидаться воспитательницы.

— Вася, ну как же это вы уходите без увольнительной? — всполошилась тетя Сима.

— Принимай без разговоров, — грубо отрезал Новиков.

Тетя Сима струсила:

— Хорошо, хорошо, сейчас... Только за книгой схожу. Вышла и послала за Мелиховым.

Федора Григорьевича Новиков не ожидал.

— Уходишь? — спросил тот.

— Ухожу, — с вызовом ответил Васька, пряча смущение.

— Зайди сюда на два слова.

Мелихов открыл дверь в соседнюю комнату.

— Не о чем нам говорить.

— Зайди все-таки.

Васька вошел вразвалку, засунув руки в карманы полушубка; каждым своим движением он, казалось, говорил: «Думаешь, испугаюсь?»

— Куда идешь?

— Не знаю.

— Опять в Бутырки?

— Куда придется.

— Так, так... Гляди мне в глаза. Зачем ломаешься?



Мелихов не особенно нежно положил ему руку на плечо: — В чем дело? Расскажи толком.

Новиков попробовал было сдерживать, но сорвался и весь обмяк.

Что происходило между ними — болшевики так и не узнали. Из комнаты был слышен тонкий бабий рев Васьки. А ведь он был большим, настоящим вором, водил компанию даже с такими, как «медвежатник» Мологин!

Только Мелихов мог бы, если бы захотел, рассказать об отце Новикова, расстрелянном белыми в Архангельске, о скитальческой, беспризорной жизни Васьки, о всех обидах и унижениях, которые претерпел он и излил Мелихову в слезах и вое, облегчив, может быть, первый раз в жизни свое ожесточенное сердце. Но Мелихов, видимо, не собирался об этом рассказывать.

Зато через несколько дней всей коммуне стало известно, что Новиков идет работать в помощь Румянцеву в коммунскую палатку — торговать папиросами, конфетами и галантереей.

Новикова выбрали председателем лавочной комиссии.

На собрании Мелихов говорил, что теперь, когда воспитанники стали иметь денежный заработок, перед палаткой огромное будущее и немалые задачи. Нужно разнообразить и увеличивать ассортимент, нужно, чтобы каждый имел возможность тратить деньги на красивые, полезные ему вещи, поменьше испытывать соблазна отнести их куда-нибудь в шинок.

— Вы должны болеть душой за каждую копейку, — говорил Мелихов. — Все прибыли, которые даст лавка, — наши, наш капитал. Захотим — пустим снова в оборот, захотим — можем между собой переделить: на то наша воля. Но тем, кто работает в кооперативе, надо помнить, что каждый пяточок, который завели у нас в лавке, есть наш общий пяточок, и беречь его пуще здоровья.

И лавочная комиссия была выбрана, чтобы присматривать за всеми делами кооператива. Неожиданное и большое доверие было оказано Новикову.

О своем решении начисто отказаться от прошлого Новиков вскоре объявил товарищам. Вышло это у него неловко и некстати: ребята говорили о бабах, а Василий вдруг встал и крикнул звенящим голосом:

— Конец... Так и знайте, конец! Василий Новиков блатному не товарищ! И вообще бросаю пить!

— Зарекалась свинья в корыто лазить... — ответил приятель Новикова Калдыба, и все захохотали.

Может быть, не только новая работа, но и этот хохот помог Новикову сдержать свое обещание. Он действительно перестал пить и резко говорил «нет», когда приятели звали его в Москву, намекая на «заработки».

— Мы тебе, Вася, купим гроб, — смеялся Калдыба. — Слышал я, святые люди в гробах спали.

— Уйди! — кричал Новиков. — Уйди от меня! Плохо будет!

— А что плохо? Драться ты не можешь — святой. Я на тебя плюну, а ты должен терпеть. Такое теперь твое кооперативное положение.

Старые дружки втихомолку травили Новикова. Они донимали его и утром и вечером, а ночью привязывали к ногам полено.

Однажды Калдыба «окропил» его «святой водичкой» — из полбутылки.

— Ну, подожди, — сказал Новиков, утираясь.

Его плоское лицо с перешибленной переносицей стало страшным; голос был спокоен и грозен.

Калдыба сообразил, что теперь дело добром не кончится.

— А что? — спросил он, насторожившись. — Или слягавишь?

Новиков молча, изо всей силы хлопнул дверью.

Он шел без всякой определенной цели. В голове копошились недобрые мысли. «Еще и мало слягавить на таких гадов». Но это, конечно, думалось только от злобы. Не Ваське Новикову быть лягавым. Придет время, он посчитается со всеми по-своему. С этими мыслями дошел Новиков до кузницы. Сашка Умнов возился возле гнедой молодой лошади. Новиков остановился, не узнавая Умнова. Клещи играли в ловких уверенных руках. Сашка отдирает старую подкову и свободным, не лишенным кокетства жестом отбрасывал ее в сторону. В каждом его движении была ловкость знающего дело человека. Подкову он примерял и придерживал одной рукой. Гвозди загонял с двух-трех ударов. Гнедая стояла смиренно, изредка помахивая хвостом.

«Поди ж ты, вот те и Сашка! — с чувством, похожим на зависть, изумился Новиков. — Как наловчился человек!» Но потом он подумал, что работать в кооперативе не хуже, чем работать в кузнице. Это тоже ведь важное дело, и не так-то легко научиться торговать.

Весь день он держался особняком. У него никогда не было особенно близких друзей кроме, пожалуй, Беспалова и Калдыбы. А теперь он был в разладе и с ними. Можно, конечно, помириться где-нибудь за стаканчиком у Марьи Ивановны, но это была бы капитуляция. А Новиков хотел победить сам.

«Слягавить?» и ему стало холодно от этой мысли.

Весь день он убеждал себя не бояться, но вечером на собрании мужество покинуло его.

Собрание уже покончило с производственными вопросами и перешло к быту. Обсуждались участвовавшие за последнее время пьянки и самовольные отлучки. Говорили вяло, осто-





Г. Г. Ягода и М. Горький у дверей первого в мире кооператива, где и продавцы и покупатели — недавние воры

рожно: одни боялись задеть товарища, другие — вызвать гнев сильного, третьи молчали, потому что и сами были не без греха.

Новиков попросил слова. Калдыба с издевкой подмигнул ему. «Погоди», прошептал Новиков с холодной злобой и начал свою речь, запомнившуюся всем большевцам не менее, чем первое выступление Накатникова:

— Паразиты! В Москву ездят, а тут, видишь, притихли. Снаружи шито-крыто, а между прочим некоторые трамвайными сязками заделались. Вот и рубануть по таким: не ночуешь, пьешь, воруешь — ну и двигай из коммуны! Не наводи на других тень. Есть такие!

Кто-то испытующе подзадорил:

— А кто? Ну-ка скажи!

— А думаете — испугаюсь? Калдыба первый — в Москве ворует, а в Большеве пьет...

Так Васька Новиков с размаху, при всеобщем изумлении и замешательстве опрокинул блатный закон.

Собрание замерло. Калдыба — большой, несурзанный, с длинными, как у орангутанга, руками — побледнел и впился в Новикова злыми немигающими глазами.

По рядам прошелестело:

— Лягавый...

Коммуна раскололась надвое. Накатников, Умнов, Гуляев и еще некоторые ребята несмело поддерживали Новикова, но мнение большинства сводилось к несложной и привычной формуле:

— Теперь Калдыба Ваську изувечит.

Новиков и сам понимал, что месть неизбежна и отступить поздно, но, уверенный в своей правоте, он был готов к любой схватке — так казалось ему на собрании. Ночью ему стало до ужаса ясно иное. Его охватил страх — то слепое чувство, когда знаешь, что расплата приближается, но не видишь врага, от которого нужно обороняться.

При тусклом свете ночника разметались по койкам голые татуированные тела соседей. Иногда Новикову казалось, что товарищи только притворяются спящими. Вот они по условному знаку встанут, вытянут руки и завопят:

— Ля-га-вый! Берите его!

Новиков оцупывал финку, которую положил еще с вечера под матрац, чтобы можно было выхватить ее, точно из ножен.

В окне мелькнула тень. Новиков увидел длинную обезьянью руку, которая шарила по раме, и бледное лицо. Он узнал Калдыбу. Медленно вытащил финку и встал на колени, глядя прямо в глаза ночному гостю. Тень за окном сдвинулась, и Васька увидел звезды, прыгающие в мохнатых лапах сосен. Калдыба ушел.



Определившаяся опасность была легче, чем ожидание. Ночь прошла без сна. На другой день Новиков положил в сапог финку, решив не расставаться с ней.

Почин Новикова не прошел бесследно.

Как-то Сергей Петрович спросил Беспалова:

— Пьянствовали вчера?

Тот деланно изумился:

— Н-нет...

— А я тебе расскажу, чем закусывали, и даже в каком углу ты сидел, — припер его к стенке Сергей Петрович.

— Ну-у? — в замешательстве протянул Беспалов.

А Богословский невозмутимо повествовал об огурцах и селедке, входивших в состав пиршества, и напоследок заметил:

— С кем ты пил — те и рассказали. Ты видишь, Беспалов, нет никакого смысла играть в прятки. От этих пьянок проигрываешь только ты и никто другой. Если коммуна не сможет переломить тебя, она должна будет от тебя отказаться. Подумай об этом.

Беспалов ходил по общежитию, говорил, что выдал Почиталов, грозил отомстить предателю, но так ничего и не предпринял. А потом кто-то рассказал Мелихову, что у Чинарика есть марафет, а Умнов на общем собрании открыто выступил против лодырей в кузнице. Да и на конфликтной ребята стали держаться откровенней.

Блатному закону был нанесен ощутительный удар. Но он был жив еще, этот закон. Новиков долго еще носил в сапоге свою финку, а ложась спать, клал ее под подушку. Он каждый час был готов к неожиданному нападению.

# БРОДЯЖИЙ БОГ — БАЛДОХА

**К**оммунар Китя стоял, прислонившись к стволу высокой сосны. Первые по-настоящему теплые весенние лучи уже начали вытапливать из нее густой и острый запах смолы.

Недалеко, у церкви, деревенские ребяташки катали крашенные яйца. Мужики, расположившись на траве, на припеке, пили водку, о чем-то громко спорили и крепко ругались. От возбуждения и выпитой водки их лица были потные и красные. Из церкви выходили нарядные бабы, торопливо крестясь, отряхивая на ходу пышные подолы.

Китя недвижно простоял полчаса, час. За это время мальчишки успели уже несколько раз подраться, мужики дважды посылали за водкой, опустела паперть.

А весеннее солнце, Балдоха — бродяжий бог, попрежнему пригревает, свистят стрижи, небо такое, что глаз отвести нельзя. Где-то, грохоча и воя, летят стремительные поезда, над ними пылают то солнце, то теплые южные звезды. Велика земля. И нет сейчас вокруг Кити тюремных стен, никто не следит за ним. И вдруг, еще не веря самому себе, он делает шаг, другой. И чем дальше уходит Китя от коммуны, тем ноги его идут быстрее, ему становится все легче и легче под теплыми лучами весеннего солнца.

Так началась первая весна в коммуне.

В день ухода из коммуны Кити Мелихов догнал идущего со станции Беспалова и пошел рядом с ним.

Широкая, ладно сложенная фигура Беспалова дышала силой. Его коричневые пытливые глаза, волнистые волосы привлекали внимание костянских девушек. Но Беспалов с ними не водился.

Все его движения и жесты были уверенны. Говорил он отрывисто и твердо. Казалось, этот человек крепко знает свое место и положение в жизни. Но это только так казалось.

— Золотая погодка, Беспалыч, — благодушно заговорил Мелихов, поглядывая на оттопыренный полбутылкой карман



Беспалова. Тот засопел — понял, что водка замечена. В коммуне шли разговоры, что Мелихов собирается накрыть кого-нибудь с поличным и изгнать из коммуны за пьянство в острастку другим. Воспитателей действительно не на шутку тревожило усилившееся к весне пьянство.

— Если такая погода недельку-другую постоит, — продолжал Мелихов, — всей коммуной на Клязьму двинем. В лодки сядем, гармонь добудем, а тетю Симу заставим пирогов напечь.

Беспалов беспокойно озирался. Ему хотелось поотстать, незаметно вышвырнуть водку в кусты, а Мелихов шел, не отставая, говорил о том, как интересно, весело, замечательно будет жить коммуна летом.

«Ну, говори прямо, не канитель, — думал Беспалов, — все равно видишь посудину, усатый чорт».

Бутылка предательски булькала. Путь от станции до коммуны казался Беспалову необыкновенно длинным.

А Мелихов говорил уже о карасях:

— В пруду у нас караси зимовали. Вот потеплеет вода, мы бредень на плечи, корзину в руки да в пруд. Тишина, понимаешь. Лягвы — и те примолкли. Бредень сухой еще, не хочет окунаться в воду. А мы идем глубже и глубже. И вот тянем... В мотне трава, тина, а в ней поблескивают караси. Горбатые, ленивые, жирные. Будем бродить, Беспалыч?

— Непременно, Федор Григорьевич, — выдавил из себя Беспалов.

— А малина поспеет — всей коммуной пойдем по малину, — размечтался Мелихов.

«Старая ищейка, пройдоха и ехидна, — злобно думал Беспалов. — Чего ты, скажи на милость, выматываешь жилы? Ведь вышвырнешь из коммуны на первом же собрании. Ну, поймал, ну, отними водку, ну, выгоняй, как полагается по закону, но зачем же измывательство?»

Заметив, что парень помрачнел, Мелихов переменял разговор.

— Я недавно излечился от хронического насморка, — говорил он. — И вот, представь себе, открылся мне удивительный мир запахов.

Беспалов громче засопел и скосил глаза: «Подъезжает. Сейчас — прощай, бутылочка».

— И вот частенько, Беспалыч, слышу я, разит от тебя си-вушным духом.

— Я не пью, — нагло сказал Беспалов.

— Я не говорю, что ты пьешь, а только вот пахнет. Знавал я одного часовых дел мастера. Тот всех уверял, что ему зуб пломбировали и какой-то дряни туда напихали, и с тех пор

от него разит перегаром, а сам он по условиям своей деликатной профессии спиртного-де в рот никогда не берет.

Беспалов смолчал, с ненавистью сжимая рукой булькающую бутылку. Захотелось нагрубить Мелихову.

— Что это у тебя в кармане булькает? — простодушно спросил Мелихов.

— Это... укус, — растерялся Беспалов, хотя все время ожидал подобного вопроса.

— Молодец, хвалю... Мне как раз сегодня укусу не доставало. Страсть люблю квашеную капусту с уксусом. Сейчас зайдем ко мне, и ты одолжишь мне полстаканчика...

— Да что же это такое! — не своим голосом взвыл Беспалов. — С чего же это вы из меня дурака-то строите? Что я, один, что ли, пью? Да пропади она пропадом, треклятая!

Бутылка, блеснув в руке Беспалова, с треском ударилась о пень и разлетелась на множество осколков.

— Эх, и горяч, — качал головой Мелихов. — Если бы тебя с Мишей Накатниковым связать по ноге да пустить по воде — ни один другого не перетянет...

По опыту своей прошлой работы в детдомах Мелихов знал: наступило самое опасное время. Большинство побегов из детдомов, колоний и изоляторов падает на весенние месяцы.

Как-то переживет весну коммуна?

Он не знал еще об уходе Кити. Да и не опасался за него. Беспокоили его Умнов, Беспалов. Особенно Беспалов. Он видел, что парень мечется, тоскует, пьянствует.

«Горячий парень... А хорош, может быть толк. Лишь бы весна не подкузьмила», думал Мелихов, придя домой и вспоминая подробности своего разговора с Беспаловым.

Из Костина неслись пьяные, праздничные песни. Высокие девичьи голоса звенели в воздухе. Мелихов открыл окно. Далеко над лесом узкой багровой каймой потухал закат. Он ясно представил себе недалекую, расцвеченную вечерними огнями Москву, представил, как оттуда сейчас, звякая буферами, отходят составы дальних поездов на Севастополь, Батум.

Да, это была отличная поездка, когда он весь детский дом имени Розы Люксембург повез в Крым. За месяц ребята посмотрели все достопримечательности, загорели, поздоровели, не было ни одного побега.

Прошедшей зимой он случайно услышал накрепко запомнившийся разговор. Худосочный, низкорослый парень мечтательно говорил кому-то, стоящему за углом флигеля:

— Перезимуем в коммуне, миляга, а как засветит Балдоха — бродяжий бог, — прости-прощай, подруга дорогая.



— Дотянем, — ответил ему чей-то простуженный голос.

Мелихову показалось, что это был Беспалов. Вспомнив этот разговор, Федор Григорьевич со стуком закрыл окно, круто повернулся спиной к нему и сказал:

— Посмотрим.

Спал он в эту ночь плохо: ему мерещились пустые скамьи в столовой, нераскрытые постели, осиротевшие верстаки в мастерской, пробирающийся на станцию Беспалов.

И не напрасно тревожилось его сердце об этом парне. Беспалов почти готов был сделать то, чего так опасался Мелихов. Не потому, что Мелихов заметил его с бутылкой и мог поставить вопрос о нем на общем собрании — он не верил в себя, в свою пригодность для здоровой, честной жизни.

Отца Беспалов не помнил. Знал, что жили они раньше где-то около Гродно, во время войны бежали оттуда, отец умер в дороге от простуды... После смерти матери Беспалов попал к дяде — сапожнику. Мальчишка жил среди взрослых, никому не нужный, предоставленный себе. Во вторник дядя садился за работу и всю неделю корпел с шилом и дратвой в руках, в субботу парился в бане, в воскресенье «гулял» и пел песни, в понедельник лежал и охал, а на утро вторника начинал новую неделю. Бесперывной чередой вступали в жизнь сапоги, штиблеты, женские туфли — и не было этому конца.

Дядя жил недалеко от Грачевки. Квартал сухаревских лавочников и всякой темной братии был школой Беспалова.

Начал Беспалов с общественной водогрейки, где собирались такие же мальчишки, как и он. Играли в «стенку» на картошку, потом стали играть на деньги.

Как-то дядя дал ему рубль и послал за табаком. Лавчонка была маленькая и тесная, в одном углу отпускали товар, в другом была касса. Хозяин торговал по старинке, без чеков. Постоял Беспалов за народом, подошел к прилавку:

— Уплатил!

А у самого пот даже на кончике носа выступил. Хорошо, что хозяин и не взглянул на мальчика, отпуская товар, а то заметил бы неладное. Словно по горячему, прошел Беспалов до двери. А потом — ничего.

С тех пор — пошло. Начал пропадать из дому недели по две. Потом и совсем ушел. И потянулась для Беспалова потайная тропа через кражи, притоны, тюрьмы.

Однажды он попал в Беклемишевский приют. Там занимались садоводством, по мнению сердобольных дам-патронесс — самым христианским и благоуханным из всех человеческих дел. Детей заставляли поливать цветы и одновременно в этом ангельском занятии омыwać свои падшие души. Беспалов сопел, гнулсЯ, таская пудовые лейки, и до поры до вре-

мени молчал. Но когда бритый, похожий на солдата «дядька» ударил его по щеке за примятые анютины глазки, он не стерпел и, сговорив десяток ребят, ночью ушел с ними из приюта.

Незадолго до революции Беспалов последний раз вернулся к дяде и поступил в типографию. Был он на побегушках: носил клише, покупал ханжу для мастеров. Раз сорвался с подножки трамвая и пролил воиючую драгоценность... И опять бои. После них он уже ни в типографию, ни к дяде не вернулся.

В революцию Беспалов жил словно в каком-то длительном, радостном чаду. Он самозабвенно шнырял среди праздничных толп, дивясь невиданному развороту событий. Вот это — настоящая жизнь, вот это — не заскучаешь! То изловили околоточного, то зажгли судейские бумаги, то арестовали какого-то туза!

— Так их!.. Лови, круши толстопузых!.. — увлеченно кричал он, пристраиваясь к переполненному вооруженными людьми кузову грузовика.

Но надо было жить. А золотопогонные и толстопузые попрежнему ездили в рессорных покачивающихся колясках... И опять заскучал Беспалов. Он отыскивал своих приятелей и начал промышлять на вокзалах «по берданкам». Утащенные и срезанные мешки и чемоданы сбывали на Хитров рынок.

За Николаевским вокзалом был дворик, где обосновался шалман. Беспалов проводил там иногда дня по три подряд. Нюхал кокаин. Жадничал, торопясь уйти в сказочные страны, занюхивался до обмороков.

В двадцатом году Ванька Прозоров, по прозвищу «Клиент», пригласил Беспалова на серьезное «дело». Беспалову было тогда восемнадцать лет.

Намечено было вывезти шелковую пряжу с фабрики Каверина. Операция подготовлялась на широкую ногу: нанят был ломовой обоз, а для «подвода» поступила на фабрику сожительница Клиента. Через нее выяснили, что главные корпуса охранялись сторожами, которые по ночам обычно спали. Склад примыкал к саду, через него и проникли взломщики. Одного только не учла наводчица, что накануне для рабочих была привезена зарплата и в контору, которая отгораживала склад от корпусов, был посажен милиционер.

Сначала все шло как по маслу: вскрыли кладовую, начали выносить товар. Минут через сорок несколько возов было нагружено, оставался еще один. И как раз в это время милиционер, выглянув в окно, заметил неладное и прокрался к сторожам. Поднялась тревога.

— Стой! — кричали сторожа, забегая с разных сторон. — Стой! Стрелять будем!



Воры бросили пряжку и притаились за дверью. Охрана надедала:

— Вылезай! Пристрелим!

Воры вышли поодиночке. Убежал только тот, кто стоял «на стреме». Пойманных заперли в конюшню и приставили двух часовых.

Ночь тянулась невыносимо долго. Клиент ругался вполголоса. Беспалов с тоской вспоминал о кокаине.

Часам к восьми утра со двора донеслись глухие голоса. Они то замирали, то усиливались. Беспалову стало страшно.

Пленников вывели на двор. Тысячная толпа рабочих встретила их глельным гулом. Перед конторой на столе стоял директор фабрики. Арестованных поставили рядом, лицом к народу.

Два мира — созидателей и расхитителей — стали друг против друга. И увидел Беспалов в глазах рабочих свой приговор: нет снисхождения! Увидел и удивился: «Чего они?.. Не у них воровали... Казенное...»

— Товарищи! — начал директор. — Советская республика в клетках. Пролетариат напрягает последние силы, чтобы справиться с белопанами и контрреволюцией. Ваши братья, мужья и отцы на фронтах кровь свою и жизнь отдают за революцию. А нам разве легко? И нам здесь нелегко! А тут проползают к нам ночью разные гады... и тащат... Вот они, полюбуйтесь!..

Толпа заревела. Беспалов покорно вобрал голову в плечи.

— Смотрите, — продолжал директор, — они не от горькой жизни воруют. Вон у одного хромовые сапожки, а на другом — лисья поддевочка. Паразиты — вот кто они! Тащат у рабочего последний кусок из глотки.

Слова утонули в новом взрыве голосов. Велико было возмущение рабочих. Кто знает, чем бы мог кончиться для четырех воров этот суд-митинг, если бы на стол не поднялась пожилая ткачиха в белом платке. Она властно подняла руку, останавливая шум.

— Нас хотели обидеть. Нам, Советской республике, подков делали. Тяжелый это грех, нет слов. Но посмотрите на них — все они люди молодые. Жизнь-то вся впереди. А спросите у них: а их отцы не на фронте? Отцы на фронте, а мы хотим ихних ребят здесь... — работница всхлипнула, — негоже, негоже буд-то... Надо сердце-то придержать. Так бы обдумать, чтобы к пользе парней пристроить, а не то, что зря кричать.

Она оглянула двор, густо набитый народом, и слезла с трибуны. Кое-где работницы сморкались в платки. Ткачи угрюмо слушали.

Беспалов почувствовал всем существом: гроза прошла. Но к радости примешивалась новая непонятная тревога.

А с вышки командовали:

— Ведите их в Чека, там разберутся.

Рабочие высыпали за ворота. Здесь некоторые начали отстаивать, а другие еще плотнее сомкнули кольцо вокруг арестованных. Встречные останавливались, расспрашивали. Узнав, в чем дело, они присоединялись к шествию. Многие открыто заявляли, что незачем водить, отнимать у Чека время. Охрана смекнула, что в случае чего ей, пожалуй, napopа не выдержат, и неожиданно свернула за угол в ближайшее отделение милиции.

Беспалов с трудом разбирался в пережитом. Он твердо знал — жизнь была на волоске. Но ему оставили ее. Почему? Подарок? Но тогда все было просто: «покорнейше вас благодарим». Нет, тут было что-то другое, особенное, налагающее какие-то обязательства. Ткачиха в белом платке говорила о пользе: «Польза может получиться». «Какая такая польза?» недоумевал Беспалов. Он так и не разобрался во всем этом.

Его осудили на десять лет. Он не упускал ни малейшей возможности выбраться из заключения. Понадобился как-то водопроводчик. Беспалов сейчас же вызвался, проканителил два дня, на третий сбежал.

Не удалось — вернули. Позднее, на третьем году отсидки, он обработал «сухаря».

К этому времени происшествие на фабричном дворе было хоть и памятной, но зажившей раной. Временами, правда, она глухо ныла и выводила Беспалова из равновесия, но самые подробности того страшного дня представлялись теперь как бы со стороны.

«Сухарь» попался из деревенских, по первой судимости. Приехал он в Москву с Волги. Застрял, прожился и остался без копейки. Попытался смошенничать и попался. В домзаке он окончательно пал духом и, по-бабьи распуская губы, сокрушенно нюнил:

— Ой, братики, и что же это будет такое? И до чего это я достукался? Братики, а?

Беспалов оглядел парня, и в его острых глазах блеснули искорки. Улучив минуту, когда рядом никого не было, он подошел к парню и дружески сказал:

— Эй, вахлячок! Чего размок? Не нравится — к ворам попал? Да, брат, теперь «прощай, поля родные!»

Парень на минуту поднял голову и снова поник.

— Но все-таки постараться можно, — таинственно сказал Беспалов. — Главное, тебе сейчас верного друга нужно найти. А если будешь сидеть да пыхтеть, никогда не вылезешь!

— А чего же я буду делать? — оживился парень.

Надежда промелькнула на его лице.



— Потрудиться надо, — вслух соображал Беспалов, как врач, который назначает лекарство. — Езжай в Ленинград, в исправительный дом. Там мастерские, поработаешь — и на сердце отляжет и сократишь себе... Только нужно кого-нибудь за себя здесь оставить, сразу не переведут.

Малый смотрел в рот своему утешителю глазами кролика.

— Вот бы, правда... — мечтал он. — Друг, устрой! Заслужу тебе!

Беспалов медлил, будто колеблясь, потом махнул рукой.

— Ну, куда ни шло, пользуйся. Жалко мне чего-то тебя стало: телянок! Попрошусь — может, запишут в Ленинград, потому я давно здесь. А ты катай под моей фамилией. Поработаешь с месяц, тебя и выпустят, а то здесь сидеть тебе долго...

Парень преданно выслушал все наставления Беспалова. Дело удалось. «Сухарь» уехал, а Беспалов вызубрил его «биографию».

Сорвалось все уже после суда.

На суде Беспалов изобразил неспорченного, простецкого малого, играл на полном раскаянии:

— Виноват, товарищ судья. Сам не знаю, как вышло, — голодный был.

Дали два месяца условно, а «сухарь» уже отсидел три. На другой день Беспалова должны были освободить, но ввиду закрытия мастерских из Ленинграда вернули партию. «Сухаря» вызвали для опроса, а он расплакался и все открыл.

Беспалов был в страшной обиде на деревенского дурня. Он чувствовал себя жертвой. Он внушал себе, что хотел выйти на свободу для того, чтобы бросить воровские привычки, начать жизнь по-новому. Он обращался мысленно к старой ткачихе. «Вот видишь, — упрекал он ее. — Хотел выбраться, хотел пользу приносить, а... не дают, не пускают. Значит, я не виноват буду теперь!»

В Бутырки приехали делегаты из Болшева. Беспалов слышал о коммуне раньше, но смутно, никогда не думал о ней. Ему предложили пойти в коммуну. От неожиданности Беспалов согласился.

Он шел в коммуну вместе с партией других парней и так же, как все они, говорил, что жить там не останется, при первой возможности сбежит. Но где-то в глубине души таилась уверенность: будет жить, будет работать, некуда и незачем бежать...

Только первый день в коммуне жил Беспалов с легкой душой: потянули старые привычки, они требовали денег. Трудно было доставать кокаин, достать можно было только водку, почти каждый день выпивал Беспалов. И не было сил прекратить это. Вот чего не учитывала старая ткачиха...

Утром стало известно, что ушли Китя и еще один парень — Прохоров.

«Началось», подумал Мелихов. Он торопливо прошел к Сергею Петровичу.

— Слыхали? — спросил он.

Сергей Петрович кивнул головой и отвернулся, но от Мелихова не ускользнуло выражение растерянности на его лице.

— И Беспалов, и Умнов, да и другие туда же смотрят, — сказал Мелихов, махнув рукой.

В то же самое утро Сергей Петрович уехал в Москву.

В Москве он рассказал Погребинскому о своих сомнениях и об идее Мелихова — свозить ребят на юг. Погребинский только что приехал откуда-то, пыльный, грязный, и, умывшись, стал переодеваться.

— Курорт, говоришь, — переспросил Погребинский, прищуриваясь. — В Сочи или Мацесту? Может быть, лучше в Ниццу, а? Там цветов больше и вино маркой выше.

Лицо Сергея Петровича потемнело. Погребинский быстро переменял тон.

— Не думаю, что нам придется везти наших ребят на курорт, — сказал он. — Мы достаточно прощупывали эти дела. Облазили десятка два домов для малолетних правонарушителей! Там и кормежка, и уход, и учеба, и производство, а ребята бегут. Почему бегут? Установка как будто правильная. Но тут надо вдуматься: одно дело установка, а другое — практика. Практика же нередко такова, что учебная программа и план внешкольных игр, бесед, занятий рассчитаны почти на все время. А «трудовыми процессами», производством занимаются между прочим. Не умеют сделать так, чтобы парень почувствовал, что производство ему действительно нужно. А энергии у ребятшек много. Вот ребята и ждут: чуть-чуть пригреет солнышко — они в бега. А чтоб они не бегали летом, их норовят на дачу, на лоно природы. «Романтики побольше, походований». Романтика-то нужна, да не та.

— Мелихов прав в одном, и тут я с ним согласен полностью, — сказал Сергей Петрович. — Весна несет добавочные трудности и испытания. Ребята могут податься в бега. Китя — какой парничка, и то... И с этой точки зрения курорт — не плохое дело.

— Курорт, курорт, — повторял Погребинский.

Он размышлял о чем-то.

— На днях Мосздрав передает коммуне крупный заказ для столярной. А обувная будет работать для армии — слышишь, Петрович? Вот какой курорт, думается мне, нужен теперь коммуне. Это не путевка в Мацесту. Это каждый парень оценить может. Шуточное ли дело — заказ на тысячи рублей! Наша задача — чтобы каждый большевец понял: сорвать, провалить,



не выполнить заказ — значит осрамить коммуноу, подорвать к ней доверие государства. Чтобы парень и ночью, во сне, боялся, как бы этого не случилось. Вот какие должны создаваться традиции, вот какая нужна нам романтика. Как думаешь, Петрович? Пожалуй, тогда не побегут! А если ушел кто — это наша вина. Но насчет того, чтобы ребятам весной подышать, — это, разумеется, сделать нужно.

Сергей Петрович возвращался в Болшево с вновь обретенной уверенностью.

Внешне коммуна продолжала жить уже сложившейся за зиму жизнью. Работали мастерские: сапожная, столярная, слесарная, весело грохотала кузница. Но весна с каждым днем все настойчивее заглядывала в нее. Ребят тянуло из надоевших за зиму спален на улицу, на солныце.

Лучшим кузнецом считался Королев. Совхозные и костинские извозчики за хорошую ковку лошадей полюбили его, деревенские ребята с ним не дрались. На вечеринках Королев был желанным гостем.

— А, Король! — встречали его. — Кузнец веселый!

В гостях у Филиппа Михайловича рядом с развязным, самоуверенным Королевым Умнов был словно на отшибе. Придет, сядет в уголке, и вид у него такой, точно он на всех сердится.

— Санько, — лукаво подмигнет ему Филипп Михайлович, — иди чай пить!

— Не буду, — хмуро ответит Умнов, а краем глаза следит за Королевым и Шуркой, дочерью Филиппа Михайловича, стройной, красивой девушкой.

— Санька, помоги подняться ему.

Шурка весело смотрит на Умнова. От ее взгляда и оттого, что Филипп Михайлович зовет дочь Санькой, а его Санько, Умнову становится радостно. Ему хочется подойти к Шурке и взять ее за руку.

И вот однажды Умнов не выдержал этого соблазна. Он встал и, не видя угрожающих взглядов Королева, подошел к Шурке.

— Саня...

Больше Умнов ничего не успел сказать. Королев грубо оттолкнул его и сел рядом с Шуркой.

— Сколько, Саша, лошадей подковываешь? — с издевкой спросил он и подмигнул Шурке.

Умнов покраснел до слез. Кровь обожгла щеки, лоб, шею.

— Спросите, Шурочка, у него лично, — язвительно посоветовал Королев.

— Уйди! Ударю! — вдруг закричал Умнов.

Королев вплотную подошел к нему и весело, напирая на каждое слово, сказал:

— У трусливого, Саша, нож не режет, а у храброго и шило берет.

Умнов почувствовал, как у него вздрагивают губы и сжимаются кулаки.

— Вор! — почти взвизгнул он.

— Замолчать! — рявкнул Королев. — Здесь все воры! Шурочка, не волнуйтесь! Все будет в порядке. Саша, оставь эту крышу!

Умнов сложил пальцы в кукиш:

— Видал?

— Зашибу! — взревел Королев.

Умнов странно качнулся и, опустив низко голову, вышел. На другой день он пришел на работу раньше всех. Дядя Павел готовил ножи для фабрики «Парижская коммуна», а Саша взялся за ковку лошадей. Лицо у него было бледное, глаза злые.

— Дядя Павел, десять лошадей сегодня дашь мне подковать?

— Чего это тебе захотелось? — удивился инструктор.

— Хочу десять. Двенадцать хочу.

— Мне-то что — действуй.

И стал искоса наблюдать за Умновым: «Куда это парень оглоблю загибает?»

Ковал Умнов в этот день так: возьмет все инструменты и работает, не отходя от копыт. Не разогнется, покуда не подкует все четыре ноги.

К приходу товарищей в кузницу он успел уже подковать трех лошадей.

— Ну, герой, здорово! — крикнул Королев.

— Мое тебе! — грубо и нехотя ответил Умнов.

Королев засмеялся и передразнил:

— «Мое те-бе». А вчера-то...

— Чего тебе от меня надо? — Умнов держал в руках старую подкову.

Королев вырвал подкову.

— Петухи! Чтоб этого больше не было, — крикнул дядя Павел. — И не стыдно тебе, Королев? Верзила! Умнов, лошадь привели.

— Я подкую, — заторопился Королев. — Где мой ручник? Дай-ка сюда, — и он протянул к Умнову руку.

— Нет, не выйдет это дело.

В первый раз за время работы в кузнице отказывались дать Королеву лучший ручник.

— Дай! — грозно наступал он на Умнова.

— Не дам.



Королев попробовал вырвать, но Умнов цепко держался за молоток.

— Дядя Павел, Умнов ручник не дает, — пожаловался Королев тоном избалованного любимчика.

Он был уверен, что Умнов будет поставлен на свое место.

— Возьми другой, — рассудительно сказал Королеву дядя Павел.

Королев до вечера не произнес ни слова. За день он подковал семь лошадей, а Умнов — десять.

Вечером в сенях дома Филиппа Михайловича Умнов встретился с Шуркой. В сенях пахло старыми хомутами и куриным насестом. Этот запах и поскрипывающие половицы под ногами последние дни особенно сильно волновали его. И теперь, когда рядом с ним стояла Шурка, он молча попытался обнять ее. Но Шурка легко выскользнула из его неумелых рук и угрожающе громко стукнула дверным запором.

— Дома отец? — глухо спросил он, чтобы как-нибудь скрыть свое замешательство.

— К отцу пришел?

В голосе Шурки слышалась явная насмешка. Умнов решительно двинулся к ней. Шурка распахнула дверь и, стоя на пороге, сказала:

— К отцу ходи, а со мной без пряников не заигрывай.

— Ладно, — сказал он и ушел.

А итти было некуда. Горькая обида легла на сердце, и весь день напряженной работы показался ему ненужным. Он шел, не думая и не замечая дороги. Потребность движения тянула его вперед. Теплый вечер обступал запахами, от которых слегка кружило голову. Хотелось одиночества, тишины.

— Саша!

Умнов вздрогнул от неожиданности. Перед ним стоял Накатников.

— Куда, Саша?

— За пряниками, — усмехнулся Умнов и, махнув рукой, пошел дальше.

— Вертай обратно, а не то я тебе дам фунт сушеных.

— Уйди.

Но Накатников крепко схватил его за плечи, тряхнул и повернул обратно.

Час тому назад, гуляя на станции, Накатников обратил внимание на странное поведение Беспалова. Парень угрюмо сидел на самом краю деревянной платформы и пропускал один поезд за другим.

«В Москву собрался, кто его мог отпустить? — размышлял Накатников. — А если не думает ехать, чего он тут сидит, точно прикованный?»

Накатников подошел к нему и спросил:

— Чего сидишь?

— В Москву подаюсь.

— Да ведь ты, голова-садова, три поезда пропустил.

Беспалов ничего не ответил.

— А зачем тебе в Москву? По увольнительной?

— Из коммуны ухожу.

Накатников рассердился.

— Дурак... Ну и дурак, — сказал он.

Беспалов не ответил.

— Пойдем, а то к ужину опоздаем, — сказал небрежно Накатников.

Беспалов встал и покорно пошел за ним.

А вот сейчас точно так же шел рядом с ним Умнов.



# ЗАКАЗ

**М**елихов шумно вздохнул и оглядел сидящих перед ним воспитанников. По его лицу каждый из них почувствовал, что в коммуне произошло что-то необычное.

— Нам, колонии вчерашних воров, — начал он медленно, опустив глаза и сдвинув брови. — Нам, колонии вчерашних воров, — повторил он, — нам было оказано величайшее доверие. Красная армия дала нам заказ. Как мы ответили на эту большую и пока еще незаслуженную честь? — Может быть, поднатужась, мы выполнили заказ раньше срока? Или блеснули перед заказчиком сапогами исключительного качества? Нет, мы не оправдали оказанного нам доверия. Мало того: мы допустили преступление. Мы обворовали Красную армию, — Мелихов стукнул ладонью по столу. — Из кладовой украдено пять пар заготовок.

В комнате наступила тишина. Было слышно, как шумели за окнами деревья, покачиваясь на ветру.

Мелихов медленно переводил взгляд с одного воспитанника на другого. Недалеко, почти напротив него, сидел Умнов. Он сидел красный, насупленный, видимо, нервничал. Мелихов внимательно посмотрел на него. Умнов низко опустил голову.

— Ну? — произнес Мелихов. — Кто скажет?

С задних рядов сорвался Дединов. Сощуриив голубые холодные глаза, он крикнул резким голосом:

— Какой гад смеет позорить коммуны? Дайте мне, я его уничтожу!

Под ребятами заскрипели скамьи и табуретки. Мелихов ожидал от них вспышки гнева. Но никто не встал и не поддержал Дединова. Выкрик его прозвучал, как выкрик плохого актера со сцены.

Стало понятно, что сейчас правды не добьешься.

Мелихов встал.

— Мне все ясно, товарищи! Кто взял, тот придет ко мне. Можете расходиться. — Мелихов ушел.

Через несколько минут он из окна своей комнаты наблюдал следующую сцену.

Сначала к лесу прошел Умнов. Потом, озираясь, последовал за ним Дединов. Почиталов бродил, видимо, поджидая кого-то. Увидя Дединова, он сразу направился к нему, и они вместе, о чем-то оживленно разговаривая, скрылись в лесу. «Опытные воры так не сделали бы», усмехнулся Федор Григорьевич.

Умнов из леса пошел прямо к Мелихову. Он взялся за скобку двери и в нерешительности простоял так минуты две.

— Входи, Саша, я знал, что ты придешь.

Умнов вошел, стараясь не смотреть на Мелихова.

— Я, Саша, знаю, кто украд заготовки, — печально сказал Федор Григорьевич.

— Кто?

— Ты и еще...

— Кто еще?

— Еще Дединов и...

— За себя скажу, а за них не знаю, — процедил сквозь зубы Умнов.

— Пригрозили, значит, — не удивляясь, сказал Мелихов.

Умнов не понимал, как можно говорить с ним так ласково после того, в чем он сознался.

«Это напоследок, — думалось Умнову, — перед отправкой в тюрьму».

— Ну иди, — отпустил его Федор Григорьевич и, когда Умнов был в дверях, деловито распорядился:

— Пошли ко мне сейчас Дединова.

С Дединовым Мелихов разговаривал с полчаса.

По уверениям Дединова крал заготовки из кладовой Умнов. Почиталов стоял «на стреме», а Дединов только сбывал.

Мелихов не рассказывал большевикам признаний ребят. В дни, когда бродяжий бог — Балдоха все настойчивее шатается по всем углам коммуны, нашептывая ребятам удивительные истории об удивительных краях, нужна осторожность. Может быть, достаточно одного незначительного толчка, чтобы вся коммуна рухнула и разбежалась.

Яростно наступает солнце на потеплевшую землю, настойчиво поднимается к солнцу трава, кудрявятся березы, ели и сосны выгоняют длинные бледнозеленые побеги. На рассвете в парке отчаянно щелкают соловьи, зазывно кукуют кукушки. Воспитатели работают и днем и ночью, в мастерских, в общежитиях и на общих собраниях, толкуя с ребятами о заказах, о том, как важно выполнить их, помочь государству, и какой позор и бесчестие падут на коммуны, если заказы не будут выполнены в срок. Ходит по коммуне бродяжий бог — Балдоха, топчет ногами и заказы, и честь коммуны, и каждого комму-



нара. Нелегко добиться победы на избранном коммуной пути. Так думал Мелихов.

А Умнов переживал трудное время. Отношения с Королевым у него все обострялись. Другие ребята, работавшие в кузнице, видели, с какой симпатией относится дядя Павел к Умнову. Может быть, поэтому они держали сторону Королева. Один раз на работе Королев вздумал точить кинжал. Он точил его, поглядывая на Калдыбу, и оба загадочно улыбались. Умнов насторожился. Отточив кинжал, размахивая им, Королев пошел плясать лезгинку. Умнов дважды отходил в сторону, остерегаясь кинжала, но Королев умудрился все же задеть ему кисть руки. Ребята в один голос заявили, что Королев сделал это нечаянно. Умнов старался не показывать вида, как ему обидно и больно. Все его ненавидят, нет у него здесь друзей. После перевязки он уже на работу не выходил.

«Махнуть в Ташкент», однажды вслух подумал Умнов, греясь на солнечном припеке. Это горячее солнце ему показалось нездешним. Он закинул к нему лицо и улыбнулся. В кузнице кишки рвать, на кой черт все это надо Сашке Умнову? Экая невидаль — кузнецом стать. Хапнуть побольше и завить горе веревочкой. Пусть Калдыбы и Королевы гнут спины, ежели это им нравится. Вот только денег надобно раздобыть. Проститься с дядей Павлом — и черт их всех побери!

На станции Умнов выпил вина и в кузницу пришел пошатываясь. Его встретили смехом.

— Лизнул, щенок! — издевался Королев.

— Молчать, инвалид! — крикнул Умнов. — Я лучше тебя подкую лошадь. Ты, мразь, ты с зависти лопнешь. Сколько вас таких, сушеных, на фунт пойдет? Девку хотели отбить?

Умнов хохотал зло и пьяно.

Королев схватил обломок рессоры и бросился на Умнова. Но его предупредил дядя Павел. Кузнец решительно вытолкнул Умнова из кузницы, сгреб его за воротник и потащил в общежитие.

— Чорт, окаянный ты парень, — ругался дядя Павел. — Где ты нахлебался? Человека хочу из тебя сделать, главным мастером собирался Умнова поставить, а Умнов копейки не стоит.

После пропажи заготовок всем стало ясно, на какие деньги купил Сашка. Вечером несколько воспитанников коммуны собрались у Мелихова.

— В три шеи таких. Выгнать из коммуны! — требовали они.

Дединова, который куда-то съездил и вернулся с пропавшими заготовками, ребята считали чуть ли не спасителем.

Мелихов знал дело лучше ребят, но ему нелегко было смягчить их гнев.

Спустя несколько дней мастерские все же остановились.

Временному их закрытию предшествовали отчаянные попытки дяди Павла и дяди Андрея восстановить дисциплину. Они находили своих молотобойцев и сапожников в лесу валяющимися на траве, греющимися на солнце, а то и сражающимися в карты. Осминкин облазил все костинские поля, выбирая подходящую для футбола площадку.

Даже Гуляев занимался в эти дни главным образом тем, что слушал в лесу трели и посвисты малиновок и дроздов, искусно разбираясь в многообразном птичьем гомоне. Все чаще и чаще Мелихов и Богословский при обходе спален обнаруживали пустые койки.

Воспитатели понимали — нужно дать ребятам отпуск. Это было уже в сущности решено. Но собрания еще не было, и в мастерских об этом не знали.

Не знал об этом и Королев.

Он работал молотом, голый по поясу, он исходил потом, изнывая от жары. В распахнутые настежь двери кузницы виднелось голубое небо, вползали запахи прелой земли.

Королев высоко взметнул молот и, не ударив, опустил его.

Работа приостановилась. Все поняли: Королев что-то задумал.

Не глядя на сурово нахмуренное лицо дяди Павла, Королев медленно повернулся спиной к наковальне и пошел к выходу. Не дойдя до дверей, он озорно оглянулся, выдернул свою рубаху, торчавшую из наваленной в кучу одежды, повязал ее, точно пояс, на голый живот и, напялив репку, вышел из кузницы.

Свежий ветерок обтекал струйками грудь, горячие лучи солнца приятно грели плечи. Назад Королев не оглядывался, но чувствовал — все смотрят на него.

Он заорал блатные частушки. Кто-то загоготал в спину, кто-то крикнул, кажется, Калдыба:

— Эх, Король, молодец!

Его догонял Сергей Петрович. Ребята около кузницы выжидательно притихли. Королев шел, попрежнему распевая, не оглядываясь, ничего не замечая.

Сергей Петрович тронул его за плечо. Королев лихо повернулся на каблуках. Сергей Петрович молчал.

— Четыре года сидел: весны не видел, дядя Сережа! Не могу! — неожиданно для себя заорал Королев.

Он вдруг стал бессвязно оправдываться, доказывать, нелепо размахивая руками. Сергей Петрович все молчал. Королев приостановился, передохнул, собрался еще что-то сказать и тоже замолчал.



Ребята около кузницы с любопытством ждали, чем все это кончится.

— Иди, — сказал спокойно Сергей Петрович, — на работу можешь не ходить.

— Выгонишь? — с иронией спросил Королев.

— Нет, просто погуляй, отдохни немного! — И Сергей Петрович пошел к правлению коммуны.

А Королев стоял недоумевая. Богословский отошел уже далеко, и только тогда Королев опомнился. Он приложил ко рту руки трубой и крикнул:

— Врешь?

Сергей Петрович остановился, оглянулся и отрицательно помотал головой.

Вечером на собрании уже все узнали об отпуске.

— Федор Григорьевич! — горячо говорил Осминкин. — Надо немедленно оборудовать площадку для футбола, место я уже выбрал... Очень удобный участок, но только его надобно за отпуск почистить и подровнять.

— Собери спортсменов, — советовал Мелихов. — Кто хочет играть, тот должен и площадкой заняться. А как же иначе? Рабочих, что ли, для вас нанимать?

Он помог Осминкину собрать спортсменов. Это было не так легко. Все знали, что площадки нет, что ее надо оборудовать самим, значит, кто хочет играть в футбол — должен работать.

Нехотя, лениво сошлись любители футбола в столовой, где Осминкин назначил собрание.

Осминкин перечислил все подходящие участки. Его нетерпеливо оборвали: «Переходи к делу!» Тогда Осминкин сказал, какой участок по его мнению является лучшим. Место подходящее, надо только слегка подровнять его, вырыть ворота, натянуть сетку, купить мяч и камеры и, если можно, трусы и майки. Играть можно и в ботинках, даже босиком люди играют, но со временем, когда позволят средства коммуны, можно будет купить и буцы. Он попрекнул Леху Гуляева:

— Эх вы! Сапожники! Самого необходимого делать не выучились! Что бы вот вам буцы делать?

Мелихов пришел, когда принимали резолюцию, и внимательно выслушал все ее пункты.

— Вот, Федор Григорьевич, помогите! Насчет мяча... — передал ему Виктор листок с протоколом. — А площадку мы сами...

Мелихов вернулся к себе и достал из стола блокнот.

«Мяч» — записал он. Потом: «Камеры», сбоку поставил цифру 2. Потом, махнув рукой, приписал: «Буцы 10 пар». «Пусть пока десять, а там видно будет, — подумал он. — Выдадим самым лучшим игрокам».

В тот же день, вечером, когда Мелихов уже собрался ложиться спать, к нему зашел Осминкин. У Осминкина было расстроенное лицо:

— Не идет, Федор Григорьевич!

— Что не идет?

— Хаджи Мурат не идет в команду. Самый сильный игрок. Из него что-нибудь еще выйдет, а остальные — шпана... — Виктор огорченно махнул рукой.

— Я его насильно загонять не могу. Попробуй, еще поговори, постарайся убедить.

— Да разве таких уедишь! Привыкли на дармовщину — в чужой карман! Ему лень на поле покопаться. А летом на готовое от них отбоя не будет. Я один, что ли, поле буду чистить? Это не дело, Федор Григорьевич!

— Не дело! — согласился Мелихов. — Надо поговорить, — повторил он.

— Да разве я не говорил? Всем говорил. Не слушают.

— А ты еще раз поговори. Я вот раз по двадцать в день одно и то же разъясняю. Ничего не поделаешь, приходится. Думаешь, большое удовольствие одно и то же долбить? А ведь долблю, иному месяц подряд в голову вдалбливаю. И, знаешь, в конце концов помогает.

Осминкин покраснел. Он вспомнил, сколько раз говорил ему Федор Григорьевич о всяких его скверных привычках и как сам он слушал в пол-уха, чтобы сейчас же забыть. А теперь вот он, Виктор, жалуется ему на «своих», на поразительную их несознательность.

— Поговорю еще, Федор Григорьевич, — пообещал он, торпливо выходя из комнаты.

Мелихов посмотрел ему вслед, улыбаясь, думая: «Этот нарень крешко корень пустил!»

Выполненную часть срочных заказов решено было немедленно сдать заказчикам.

Мелихов встал рано. Из кухни к безоблачному небу только что поднялся первый сизый дымок. Нужно было поторопиться с упаковкой кроватей, выполненных мастерской коммуны, чтобы не опоздать к утреннему поезду. Сдача заказа была поручена Накатникову и Румянцеву.

Мелихов посмотрел на небо, на Костино с его ветхими избами, на ярко зеленеющие поля... Что такое? На участке, на отмеченном Осминкиным под футбольную площадку, копошились какие-то люди с мотыгами, граблями, лопатами. Их было человек двадцать. Доносились их звонкие голоса.



«Коммунары, — удивился Мелихов, — но ведь еще не было даже звонка!»

Он поспешно прошел к площадке. Собранные в кучку пустые консервные банки блестели на утреннем солнце.

— После завтрака кончим! — кричал кому-то Осминкин.

— После завтрака тоже работа будет... Тут на весь день хватит делов.

Осминкин катил тачку, нагруженную черной землей. Он давно приметил Федора Григорьевича. На покрасневшем лице Осминкина сияла улыбка гордости и торжества.

— Как же ты их уговорил? Да еще ни свет, ни заря! Как же это они тебя послушались? — вполголоса спросил Мелихов.

Осминкин опустил тачку.

— Решили мытищинских вызвать на состязание!.. Стыдно гостей-то будет принимать на плохом поле, — сказал он тоже вполголоса и хитро подмигнул Федору Григорьевичу.

Упаковка кроватей была окончена. После завтрака Накатников и Румянцев тронулись к станции, сопровождаемые приятелями. Кровати сдали в багаж.

— Счастливо оставаться, работнички! — кричал Накатников в открытое окно двинувшегося поезда оставшимся на платформе товарищам. — Передадим поклон Москве!

— Не подкачайте!

— Будьте уверены!

Сидя в вагоне, приятели покуривали, слушая нарастающий с каждой минутой гул колес. В открытое окно вагона стремительно влетал теплый ветер, и зеленые пространства, плавно кружась,плыли навстречу им.

Иногда, посмеиваясь, они говорили:

— А вдруг не примут?

— Что ты! Работа отличная.

В Москве они погрузили багаж на извозчика.

— Куда, Накатников? — хитро прищутив глаз, спросил Румянцев. — Тебе в Москве каждая подворотня знакома.

Накатников засмеялся и, хлопнув легонько ладонью по спине извозчика, крикнул:

— К Варварским. В мебельный склад ГУМа. Шевели, папаша!

Заведующий мебельным складом ГУМа отвел большевцев в полуподвальное помещение.

— Вот здесь, — сказал он, — разложите ваши кровати, а я через полчаса зайду.

Ребята переглянулись.

— Стоит ли беспокоиться... Работа первый сорт!

У заведующего была добродушная лысина и близорукие глаза.

— Нельзя. Каждая работа должна быть проверена.

— Ладно, — согласились большевцы.

В полуподвале было темно и душно. Ребятам хотелось скорей сдать кровати, чтобы до отъезда побродить часок по Москве.

Они сняли чехол с первой кровати и начали натягивать на раму брезент. Но тут произошел неожиданный казус. Петли брезента никак не хотели зацепиться за крючки. Деревянная рама поскрипывала от усилий.

— Вот чорт! — выругался Накатников, вытирая выступивший на лбу пот.

— Отставим пока — возьмем другую, — посоветовал Румянцев.

Но и с другой дело не ладилось.

Через полчаса к ним спустился заведующий, молча посмотрел на их работу и ушел.

— Р-работнички! — почти закричал Накатников, ударив ногой по кровати. — За такую работу бить надо!

Румянцев высасывал кровь из ободранного пальца, сплевывая на цементный пол:

— Приеду — душу из слесарей вышибу. Срамиться нас послали сюда!

Снова, кряхтя от натуги, они натягивали брезент. На смену злости пришло отчаяние. Отдыхая, они жадно курили, не глядя друг на друга.

Через два часа, когда снова пришел заведующий, они успели разложить только восемь кроватей.

— Ну ладно, — сказал он. — Можете итти.

Вернулись они в коммуны поздно, голодные и злые. На кухне, проглатывая ужин, они рассказали обо всем собравшимся ребятам.

— Из-за вас, чертей, кровь проливали, — закончил Накатников и, бросив на стол кусок хлеба, показал им свои ладони.

— Взгреть кого следует за это нужно, — согласились ребята.

Они рассказали Накатникову и Румянцеву происшествие, обнаружившееся в их отсутствие. Кто-то обокрал инструктора столярной — дядю Лёню — пожилого, добродушного человека, недавно прибывшего в коммуны. У него украли охотничье ружье и одеяло.

Это была уже вторая кража. Раньше таких случаев не было в коммуны: может быть, помогал тот блатной закон, по которому кража у «своих» считалась тягчайшим, непрощаемым преступлением. Были случаи воровства в городе во время отпусков, были даже специальные тайные поездки в Москву на «дело», но краж в коммуны, если не считать случая с сахаром, не было



ни одной. А теперь этот установившийся «закон» опрокидывался. Что если эти две кражи только сигнал, только начало? Что если завтра воровать начнут все — растащат коммуны по клочкам? Значит, уже стало проступать отношение к коммуне, как к чужому, постылому делу.

О новой краже Мелихов оповестил ребят в столовой.

— Это несчастье — другого слова не подыскать, — говорил он. — Кто же вы есть после этого? Тогда заготовки, теперь вот — квартира... Что ж, значит, нельзя быть по отношению к вам доверчивым? Только сила и страх могут вас удерживать?

Как нарочно, выдался славный солнечный денек, с таким веселым, ярким солнцем, с таким шалым звоном жаворонков.

— Не выходя из этой комнаты, нам нужно найти вора... Вы это понимаете сами. Так коммуна жить не может.

Вор не боится тюрьмы зимой, он боится ее весной и летом. Но разве коммуна — это тюрьма? Разве не о ней уже идут рассказы, разве не о ней начинают мечтать молодые воры в Таганской, в Бутырках, в лагерях? Какая же безмозглая тупица кражей какого-то ружьишка, дешевой тряпки добивается того, чтобы создаваемое с таким трудом — вдруг рухнуло?

Хаджи Мурат, вспомнив, что заготовки украл Умнов, наивно спросил:

— Ты, Сашка, хочешь, чтобы коммуны не было?

Умнов выругался.

Сразу же закричало несколько человек, не обращая ни к кому, но зная, что вор здесь, между ними.

— Возвратить хочет в тюрьму, паразит!

— Коммуну закроют из-за одного подлеца!

Мелихов поднялся и оборвал галдеж.

— Кто украл — подыми руку, — властно приказал он.

Ни одна рука не шевельнулась.

— Кто не воровал — подыми руку.

Все подняли руки.

— Так... Значит, украли и признаваться не хотим, — горько сказал Мелихов.

— Я больше в коммуны работать не буду. Живите, как знаете, мне стыдно за вас, — бросил он резко. Никто не проронил ни звука.

Мелихов медленно прошел по столовой и в мучительной неуверенности, что все получится, как надо, вышел на улицу.

Накатников подошел к Умнову и тихо, с угрозой спросил его:

— Твоя работа?

Умнов скрикнул зубами:

— Отстань...

Накатников сразу поверил ему и пошел к Почиталову.

— Ты? — он потряс Почиталова за плечо.

— Нет, ребята, — скороговоркой заверил Почиталов. — В прошлый раз был грех, а теперь — вот, ей-богу, нет.

— Ты? — спросил Накатников Дединова.

— Покажите мне вора, и я его сейчас же, при вас... убью.

День прошел тревожно. Вор не объявился. Следующим утром на столе стыл чай. Нетронутыми лежали ломти свежего хлеба. Ванька Королев в упор смотрел на Дединова: что-то возбуждавшее его подозрительность было в поведении этого парня.

— А что если я тебе сейчас десятка два зубов вышибу? — спросил Королев.

Закуривавший папироску Дединов бросил спичку и криво усмехнулся:

— Ты, Королев, дурак. Совсем слягавился...

Около Дединова сразу очутились Накатников, Гуляев, Румянцев.

Дединов отшатнулся. Он воровато, как попавшийся школьник, спрятал папиросу в рукав, поглядывая на всех быстрыми испуганными глазами. И эта поза его была красноречивее слов.

— Ах ты, мразь, — взревел Королев, и его кулак угрожающе поднялся над головой Дединова. Но ударить ему не пришлось. Дединов метнулся в сторону, перескочил через скамейку и, толкнув раму, распахнул окно.

Первым, далеко за коммуной, настиг Дединова Королев. Он рванул его за рукав гимнастерки так, что швы треснули. Гуляев, бежавший почти рядом с Королевым, увидел заплаканное посиневшее от ужаса лицо Дединова.

— Стой! — закричал он, разом прийдя в себя. — Стой, не бей! Не тронь его!

Дединов лежал на сырой и липкой земле, прикрыв глаза, содрогаясь всем тщедушным телом, и тоненько скулил. Он знал, что такое блатные счеты.

Королев стоял, тяжело дыша, его глаза искали предмет, которым можно ударить.

— Хуже, чем он, наделаем, — угрюмо предостерег Гуляев.

Королев отодвинулся на шаг.

— Что ж с ним делать? — проговорил он.

— Ишь, гад, — подбежал запыхавшийся Накатников.

— Сирота казанская.

— Ну, молодой человек, нам некогда валандаться. Говори, где спрятал ружье, — сказал Гуляев. — Да раздевайся и разувайся. Коммуна тебя одела.

Дединов сказал:

— Под соломой в сарае...

Дрожащими руками он стал снимать гимнастерку, брюки, ботинки.



— Если ты еще хоть раз попадешься мне на глаза — живым не будешь. А теперь — марш!

Дединов пошел к виднеющимся недалеко серым избам деревни Перловка.

Ребята молча двинулись назад.

— Что вы с ним сделали? — спросил тревожно Мелихов, встретив их возле коммуны.

— Догнали, раздели и выгнали из коммуны, — лаконически сказал Накатников, потрясая одеждой.

Того, что случилось на пятый день «каникул», не предвидели ни Мелихов, ни Богословский. Был уже вечер, неяркие лучи солнца падали на лужайку. Мелихов сидел на крыльце, смотрел на ребят, играющих на оборудованной их трудами площадке в футбол. Мяч взлетал к небесам, падал на землю. Тут же на крыльце с газетой в руках сидел Богословский. Игра прекратилась. К крыльцу шли Осминкин, Умнов, Королев, Гуляев.

— У нас дельце есть, Федор Григорьевич, — сказал смущенно Осминкин, перекладывая мяч из одной руки в другую.

— Какое дельце?

Богословский опустил газету.

— Видишь, какое дело... Заказы эти... на резак... Они на срок ведь предоставлены, — начал неопределенно Умнов.

— Надо бы мастерские открыть, Федор Григорьевич! Погуляли, довольно. Всем ребятам желательно, — сказал Королев несмело.

При других обстоятельствах Мелихов мог бы подумать, что он услышался или что коммунары шутят. Но ребята смущенно ожидали его ответа.

Ни Умнов, ни Гуляев не подозревали, как неожиданна была для воспитателей их простая просьба.

— Вот это я понимаю — коммунары! — весело воскликнул Мелихов. — Сергей Петрович, слышите? Мы знали, что вы не забываете о заказах. Эх, ребята, ребята! В сущности хороший вы народ!..

Через неделю коммуна праздновала день Первого мая.

Подготовку к празднику начали за несколько дней.

— Вся республика празднует, весь рабочий класс, и мы будем, — настойчиво твердил Дима Смирнов, словно хотел кого-то в чем-то переубедить. Но все были согласны с Димой. Для многих это был первый революционный праздник, в котором они могли сами принять участие. Может быть, поэтому с та-

кой страстностью обсуждали ребята, в каком часу надо встать в день Первого мая, где должна пройти колонна, где будет митинг, кто выступит докладчиком на собрании.

Доклад поручили делать Накатникову. Он не спал несколько ночей. Если бы не помог Сергей Петрович, он, может быть, так и не осилил бы этого доклада. Да и перед самым выступлением он несколько раз подумывал — не лучше ли все же отказаться. Ведь если Накатников провалится, стыд падет на всю коммуну. Однако и отказаться — не меньший стыд!..

Накатников сделал доклад. Он был прост и понятен. Правда же, лучшего не сделал бы и какой-либо привычный докладчик! А ведь этот доклад делал свой парень. Вышло у Накатникова, может выйти и у других.

Накатникову шумно и долго аплодировали. Ребята гордились им.

Потом Мелихов прочел два письма.

Одно от Прохорова. Он просился обратно в коммуну. Обещал жить честно, и еще многое обещал в письме Прохоров. Он лежал в больнице: его порезали блатные друзья во время карточной игры...

Второе письмо прислал Китя из Бутырской тюрьмы. На воле погулял одну ночь, а под утро сел за кражу.

«Братцы, — на помятом листке бумаги карандашом нацарапал он, — кончилась, видно, моя жизнь. Хотел я из коммуны податься на Украину, да не подумал крепко — зачем мне идти туда. Спутал меня тогда Балдоха. И вышла мне теперь через него линия — в Соловки. Досиживаю я здесь последние дни, по ночам не сплю, все думаю: близко от меня хлопцы, да не видать мне вас. И такая тоска бывает, что сними ремень да на шею накинь.

Шлю я вам всем свой поклон и свой наказ: крепко надо любить коммуну, без коммуны все вы пропадете, вроде меня. Это я теперь понял. Простите меня и не поминайте лихом. Китя, ваш бывший коммунар».



## «БРЕЛОК»

**К**оманда мытищинских рабочих хорошо сыгралась, и со стороны болшевцев в сущности было необоснованной самоуверенностью вызывать ее на состязание без должной подготовки. Но ребятам не терпелось — вызвали.

Мытищинцы приняли вызов. Представители команды болшевцев вели себя так развязно и самонадеянно, что можно было предполагать в их команде серьезного противника. Мытищинцы только поставили условием, что играть будут не в коммуне, а на мытищинском поле.

Болшевцы согласились. Только жалко было, что друзья и товарищи по коммуне не смогут быть свидетелями их побед.

Проводы были шумные, никто не сомневался в успехе.

И встреча произошла. Лучше бы она никогда не назначалась! Болшевцы были разбиты вдребезги.

Возвращались поздно вечером. Шли молча, злые, ненавидящие друг друга. Осминкин надеялся, что коммуна будет спать и только завтра узнает об их позоре. Он был, пожалуй, единственный, кто с самого начала допускал возможность не только одних побед. Однако того, что получилось, не предполагал и он. Подумать только: 4 — 0!

Он шел, спотыкаясь о выбоины.

— Инвалиды! — говорил он вслух. — Ассенизационный обоз, а не команда! Утром глаза показать будет нельзя...

Никто не отвечал ему.

Надежды не оправдались и еще раз. В коммуне не спали. Игнали на гармошке, Чума плясал. И все затихло, как только подошли футболисты. Весть об их поражении перегнала их. Они молча, ожидая вопросов, остановились перед крыльцом.

Но никто ни о чем не спросил.

— Та-ак! — оглядел их Накатников. — Хороши герои, нечего сказать! Пойдите умойтесь, а то от вас за версту потом несет.

— Что же тут смешного? — обиделся Виктор, но его перебили надевательским смешком:

— Мазила, молчи уж!

Осминкин презрительно вздернул плечами и пошел в спальню. Кто-то вслед свистнул, грохнул дружный хохот:

— Чемпионы!

«Расселись на крылечке, — с горечью думал Осминкин. — Попробовали бы сами! А ну их к чорту! Разве это люди! Разве с такими можно жить?»

Он ясно ощутил желание уйти подальше от этих галдящих, грубых, несправедливых людей. «Надо уходить из коммуны... Зачем мучить себя? Какие тут футболисты? Разве они могут болеть за игру?» Он сорвал рубаху, долго под краном мыл шею и крепко тер ее полотенцем. Потом лег в постель и отвернулся к стене, поклявшись не шевелиться и даже не повернуть головы, если кто-либо опять начнет издеваться над ним.

В спальню вошли все сразу, шумели, смеялись. С Осминкиным никто не заговаривал, точно его не было, и это задело его еще сильнее. Наконец все уgomонились и улеглись. Виктор лег на спину и расправил затекшую ногу.

Кто-то вошел из коридора и осторожно стал пробираться к его постели.

— Вить, а Вить! Спишь? — окликнул знакомый голос.

Виктор узнал Андреева.

— Сплю! — огрызнулся Виктор.

— Я поговорить пришел.

— О чем?

— Да насчет нашей команды.

— А ну тебя, вместе с твоей командой! Играйте на здоровье! Я, милый мой, в оркестре теперь играть буду: по крайней мере без хлопот, и сам за себя отвечаешь.

— Не скажи. И там найдутся хлопоты! Как знаешь, конечно... А я так не брошу футбол...

Осминкин притворно зевнул:

— Играй, что же... Только — не серьезное дело... — Он снова зевнул. — Какой из урки может быть футболист!..

На соседней койке раздался энергичный отрывистый мат. Кто-то зашевелился там.

— Эх ты, чемпион! Командир! Морду набили — и готов. Хавзават объявить надо! Тренироваться надо. Не будешь играть — я на твое место пойду!

Это ругался и кричал Хаджи Мурат. Ловкий, сухой, нервный — он мог так говорить, в нем обнаруживался незаурядный футболист. Виктор от неожиданности ответил не сразу.

— Поздно надумал, — проворчал он наконец. — Всю весну тебя упрашивали итти в команду...

— Тогда не хотел, а теперь пойду. С завтрашнего дня пойду. Мы им еще покажем! Что ж, что мы были урками? Так они нас всегда и будут бить?



— Идешь? Без дураков? — присел вдруг на постели возбужденный Осминкин.

В эту ночь не спалось и недавно пришедшему в коммуны новому воспитателю Александру Михайловичу Николаеву. Он решил еще раз пройти по спальням и, подойдя к дверям, остановился в удивлении: в спальне спорили, горячились, похоже было, будто среди ночи в темноте принимали какую-то резолюцию.

— Поддерживать всемерно наших футболистов, чтобы не было больше сраму. И также поддерживать все другие виды спорта! — кричал в темноте Накатников.

«И этот здесь? Ведь он же из другой спальни!» удивился Николаев.

— Я вот хочу сказать о коньках, — ввязался чей-то голос. — Хотя до зимы еще далеко, а я считаю...

Николаев кашлянул, вошел в спальню:

— Что у вас, дня не будет? Что это за новая мода — по ночам собираться?

Из темноты раздался веселый голос Осминкина:

— Да мы, Александр Михайлович, тут насчет спорта... Мытищинские нас побили. Так как нам теперь? Конечно, можно это и завтра.

На другой день в коммуны приехал товарищ Ягода. Почему он не приехал раньше или не отложил свой приезд еще на некоторый срок! Теперь ему расскажут о поражении коммунских футболистов, об их позоре! Осминкину казалось, что все только об этом и думают и нет ничего другого в коммуны, что могло бы интересовать товарища Ягоду.

Но совсем другое событие выдвинулось неожиданно на первый план и отвлекло внимание от мытищинского разгрома.

Пропажа лошади.

Кооператив, снабжавший коммуны продуктами, находился почти в двух километрах от нее, у самой станции. Вначале воспитанникам приходилось по очереди таскать на себе хлеб, мясо, овощи. Ребятам очень не нравилась эта работа. Особенно возмущался Гуляев: он считал ее унижительной и выполнял ее только потому, что ее делали все, а ссориться не хотелось.

— Лошадиная должность, — хмуро говорил он и нехотя взваливал на спину мешок. — Так и будем всю жизнь таскать на себе? Лошадь должны предоставить.

И хотя никто его не оспаривал, он раздраженно повторял, округляя глаза:

— Ломовые мы, что ли?

Тогда он — как, впрочем, и каждый — был искренно убежден, что раз чекисты собрали людей в Болшево, то должны обес-

печить их всем: едой, жильем, одеждой и перевозочными средствами. А от воспитанников требуется только работать, не воровать, не пьянствовать, не играть в карты.

Поэтому ни он, ни другие большевцы нисколько не удивились появлению лошади, не поинтересовались даже, откуда ее привели. Лошадь была старая и смиренная, серой масти, с широким черным ремнем по хребту, с большой шишкой на животе. Гуляева назначили главным конюхом. Дело было осенью прошлого года, когда он еще не работал в сапожной. Каждое утро Гуляев ездил на станцию за продуктами. Телега крикала, ныряя в колдобины и лужи, прыгала, наезжала на корни, опутавшие лесную дорогу. Лошаденка шла мелкой ревматической рысью и, как ни охлестывал Гуляев ее плешивые бока, не прибавляла бега.

— Леха, угробишь коня, — говорили коммунские кладовщики.

— Другой будет.

— А если не дадут?

— Казна богата. Дадут, — уверенно отвечал Гуляев. — Теперь мы ученые — плохого не возьмем. Но-о-о! Поворачивайся!

Он с размаху дергал вожжи, разрывая уздой бархатные губы лошади. Запрягая, пинками загонял ее в оглобли и вырезал в дороге толстый прут, всегда с одного и того же клена. Когда Гуляев приезжал со станции обратно, прут был весь измочален.

А лошаденка все сдавала и сдавала; плелась кое-как, шагом. Гуляев стал опаздывать с продуктами, ребята ругали его, а он вымещал все на лошади.

— Хоть бы издохла поскорей. Новая, какую ни дадут, все лучше.

Желание его исполнилось. Как-то весной, когда он давно уже был освобожден от обязанностей конюха, в один погожий вечер ребята повели лошадь пасти в лес. Права она была смиренного — не впервой водили, понадеялись, не захватили веревки, пустили на полянке, а сами уселись в кружок, увлеклись разговорами и табачком. Спихватились, когда лошади и след простыл.

Огорченные, потные, запыхавшиеся, вернулись они в коммуну.

— Сбежала, проклятая! Гнались, гнались, да разве догонишь? Она, небось, о четырех ногах.

— Ну и отлично, — заключил не без злорадства Гуляев. — Теперь бы нам орлового рысака. Мы бы показали!

И спешно принялся вместе с кузнецом Умновым за ремонт расхлябанной телеги. Опять пришлось таскать хлеб, мясо и



овощи на собственных спинах. Ремонт телеги был закончен. Давно высохла на ней зеленая масляная краска. А новая лошадь все не появлялась.

Болшевики возмущались, несколько раз ходили к Мелихову. Теперь они уже понимали, что коммуна принадлежит им и они сами должны заботиться о том, чтобы она имела все нужное. Они постоянно с гордостью говорили об этом на собраниях. И в то же время, когда дело доходило до какой-либо нужды, то уж, конечно, ОГПУ должно было удовлетворить ее немедленно и без каких бы то ни было с их стороны обязательств. Нет инструментов — пришлют! Лошадь сбежала — Погребинский выручит!

— Давай лошадь. Забыли, что ли? Канцелярия...

— А где я вам возьму лошадь? — удивлялся Мелихов. — Коннозаводства у меня нет.

— А у нас есть? — визгливо кричал Гуляев. — У нас есть коннозаводство? Не будем на себе таскать продукты. Хватит!

— Что ж, без обеда насидитесь. Готовить-то не из чего.

— Как же это так? — спрашивали удивленные ребята тоном пониже.

— А не знаю... Надо было лошадь беречь.

— Кляча ведь. Издыхать срок пришел. И не убежала она, а где-нибудь подохла. Без вины Леху тогда от нее оставили, — говорили сторонники Гуляева.

— А теперь вот и клячи нет...

Товарищ Ягода приехал после обеда. Большая темная машина, вспыхнув на повороте стеклами, мягко остановилась.

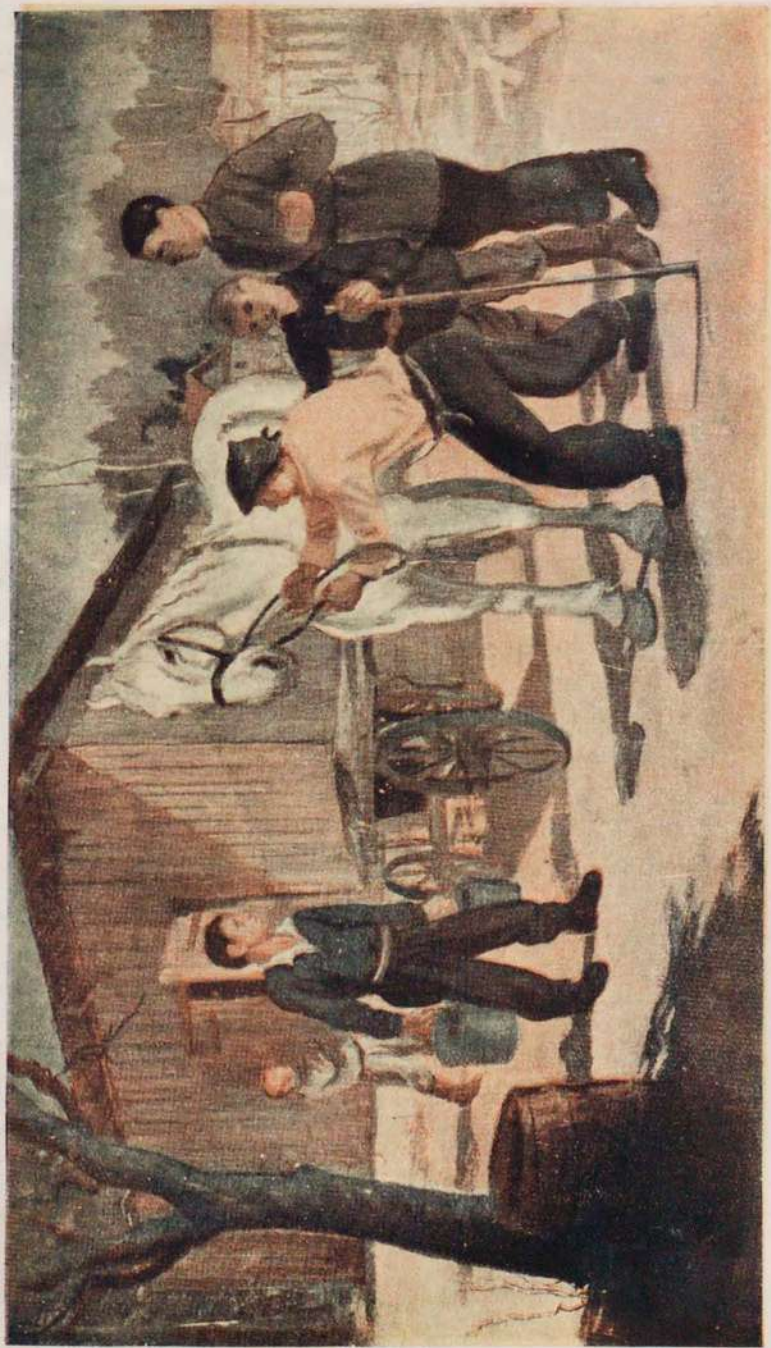
О его приезде мгновенно узнали все. Воспитанники высыпали на улицу.

Не было такого человека, которого бы не взволновал приезд Ягоды. Кто не знал его имени? Кто не произносил это имя в шалмане — с чувством страха, в тюрьме — с надеждой и здесь, в коммуне — с уважением, с боязнью оскандалиться, не оправдать доверия, с глубокой убежденностью, что не останется без оценки ни один шаг. И вот он ходит по коммуне — такой простой, спокойный, подтянутый, не спеша беседует с ребятами. Он останавливается перед новым домом, Гуляев слышит его вопрос:

— Давно ли закончили?

И видит, как он небольшой ладонью ощупывает стену. Движения у него уверенные, точные, и нагибается он с неожиданной легкостью.

— Место сырое, — говорит он. — Стены будут гнить. Фундамент надо было поднимать выше. — И подробно, ровным голосом рассказывает, как нужно предохранять стены от сырости.



«Первая лошадь». Картина художника-башкинца М. Сегулера



«Инженер», думает Леха.

Потом Ягода идет в столярную, в кузницу. Легкий шопот вместе с пылью стелется по его следу.

— Тесно у вас в кузнице, — озабоченно говорит он. — Вентиляторы придется сменить. Здесь нужны сильные вентиляторы. Работа лучше пойдет.

Рука его лезет в ящик с углем:

— Уголь плохой, крошится. С примесями. Это вредно.

— Вонючка от него, — подхватывает кузнец Уминов, — очень вредная для человека вонючка.

— Не только для человека, — отвечает Ягода, повертываясь. Леха видит на мгновение его глаза. — Сера и фосфор вредны и для металла. Металл от них делается хрупким.

Покашливая, краснея, неразборчиво мыча, Уминов пытается что-то рассказать об угле, мехах, кузнечном инвентаре. Ягода внимательно слушает, соглашается. Он все это знает. «Может быть, раньше кузнецом был», думает Леха.

В столярной Ягода беседует с ребятами о различных породах дерева, о плохом качестве болшевских табуреток.

— Дерево надо выдерживать. Сушилку следует завести. В печке сушить не годится — волокна теряют от этого прочность.

Слушает Леха внимательно, заходит посмотреть справа, потом слева. «Решительно все знает, — обеспокоенно думает он и мучительно завидует ребятам, разговаривающим с Ягодой. — Экие вахлаки — и стоять даже не могут как следует: переминаются, переваливаются. Вот он, Леха, сумел бы поговорить, только бы подвернулся случай».

Наконец пришли в сапожную мастерскую. И снова начинается степенная беседа о недостатках и достоинствах спиртовой подошвы, о фасонах.

Леха, работая локтями, наступая на чужие ноги, пробивается вперед. Вокруг шипят:

— Куда ты, малахольный! — Леха не обращает внимания.

И вот, наконец, он стоит перед Ягодой. Он вспотел, волосы взлохмачены. И голос не слышится:

— Тут бы надо...

Томительная, долгая пауза. Ягода ждет.

«Осрамился, — смятенно думает Леха и начинает переминаясь с ноги на ногу. — Опоздал! По сапожному делу обо всем уже поговорили. Не повторять же сначала?.. А сказать нужно. Ждут».

И неожиданно для себя самого Леха говорит:

— Лошадку бы дать в коммуно!.. — как будто в сапожной об этом самом и следовало говорить.

— У вас же была лошадь?

Ягода на секунду наморщил лоб:

— Конечно, была, я сам подписывал приказ.

— Сбежала, — ответили ребята хором, — сбежала, гадюка. Теперь хлеб и мясо таскаем на спине.

— Как же это так она сбежала?

Пришлось, хочешь — не хочешь, рассказать всю историю подробно.

— Эх вы, хозяева, — усмехнулся член коллегии. — Завели одну животину, и та сбежала. Плохо.

— Что же делать теперь? Так и будем на спинах таскать?

— Это, конечно, глупо — таскать на спине, — задумчиво сказал Ягода. — Человеческую энергию нельзя так растрачивать: для перевозки тяжестей есть лошади и машины. А люди должны заниматься другими делами — более сложными и ответственными.

Он замолчал, думая о людях, которым приходится с азов учиться нормальной трудовой человеческой жизни. И они учатся этому неуклюже, с ушибами, точно дети, делающие первые шаги. Но они не дети. Нет, они совсем не дети. У каждого за спиной жизнь — извращенная и страшная, у каждого за плечами тяжелый, давящий груз — нелегко им, нелегко и с ними, неслышанно велика и сложна задача.

— Вот что, ребята, соберем мы с вами сегодня собрание и обо всем поговорим.

Гуляев примчался на собрание одним из первых. Он устроился как раз против графина с водой и приготовился ждать. Но ждать не пришлось: собрание началось ровно в семь.

В открытое окно струился вечерний свет; красный отблеск падал на белую гимнастерку Ягоды. Он встал. Все притихли. Пауза была долгой. Гуляев ваглянул на сухие темные руки оратора, на его военную фигуру, и необычное, незнакомое волнение овладело им. Он чувствовал, что так же взволнованы и Накатников и Осминкин, сидящие с ним рядом, и те, кто сзади, и все, кто пришел сюда.

— Мир велик, — сказал Ягода. Голос его зазвучал тихо, но уверенно. — Мир велик, но пока еще только на одной шестой его части трудящиеся — рабочие и крестьяне — свергли власть буржуазии, уничтожили капиталистическое рабство и своими руками, ценой великих лишений, в суровой борьбе с врагами строят свободную, счастливую социалистическую страну, в которой не будет голодных, нищих, уродов. Не будет эксплуатации человека человеком. Не будет праздношатающихся и лодырей, не будет тюрем, воров... Да, не будет тюрем, не будет воров...

Сказано это было негромко, без резких движений, с какой-то хорошей безыскусственностью. В устах другого это прозвучало бы как обычное, всем известное, у него же приобретало всю ошеломляющую обаятельность новизны.



«Не будет тюрем! — с изумлением подумал Гуляев. — Может ли это быть?» Он впервые в жизни услышал об этом. И было непостижимо, что услышал он это от человека, имя которого для Лехи до сих пор неразрывно соединялось с облавами, приговорами, страхом, тюрьмой.

— Вы — недавние воры, бандиты, жулики... Вы — те, кто вчера еще не помогал в этой стройке, а мешал ей. Советская власть вас выпустила из тюрем, дала вам свободу, дала вот эту коммуны, возможность начать новую жизнь. И вот, оказывается, — Ягода резко, возмущенно провел рукой, — вы хотите, чтоб эту новую жизнь вам принесли готовой? Вы потеряли лошадь и требуете другую. От кого? Кто вам обязан ее дать? За что? За какие заслуги? Или вы думаете, что рабочий класс, кровью завоевавший свое право строить жизнь без любителей чужого труда, рабочий класс, перед которым так велика ваша вина, — ваш слуга? Или вы думаете, что вы будете и здесь приживалами, тунеядцами, такими же, какими были до сих пор, а рабочий класс за вас построит вам все? На каких основаниях вы полагаете, что это должно быть так?

Гуляев почувствовал, будто все его тело вдруг обожгло чем-то. Это же он, Леха, потребовал другую лошадь! Какой же он дурак! Он боялся шевельнуться, чтобы не привлечь к себе внимания соседей.

— Ничего даром. Слышите? — спокойно сказал Ягода. — Вы хотите хорошо жить? Вы будете хорошо жить. У вас есть сейчас мастерские. Они — жалки: у вас будут мощные заводы. У вас сбегала теперь последняя захудалая кляча. У вас будут гаражи с собственными автомашинами. Вы ходите сейчас на станцию в кооператив? Вы на грузовиках будете возить товары в свой собственный. У вас будут школы, лечебницы, магазины — все. Сумейте создать. Сумейте добиться всего этого своим трудом. Придет время выпуска. Докажите, что вы перестали быть тунеядцами, докажите, что вы можете и хотите понастоящему работать, что вы достойны быть в славных рядах трудящихся нашей страны.

И очень обычно, по-деловому, он заключил:

— Лошадь я вам достану. Есть у меня на примете, неплохая, хоть и не битую. И недорого — сто двадцать рублей в расрочку. Деньги — к январю.

Так никто и не заговорил с ним о встрече футболистов с мытищинцами, забыли об этом ребята. А может быть, не захотели огорчать Осминкина. Кто их знает? Так, вероятно, и уехал Ягода, не узнав об этом ничего.

Через два дня новая лошадь прибыла в коммуны. Звали ее «Брелок». Гуляев на правах прежнего конюха властной рукой взнуздal ее. Умнов молча следил за ним.

— Ребята, — сказал он, — Леха опять в конюхи лезет? Нельзя ему лошадь доверять!.. Угробит!

— Я? — сказал Гуляев высоким фальшивым голосом. — Я угроблю? Тунеядец!

Может быть, ребята и выбрали бы вновь Гуляева в конюхи, если бы не сказал он необдуманно этих слов. После речи Ягоды слово «тунеядец» приобрело для ребят особо обидный смысл.

— Не смеешь так выражаться, — сказал Осминкин. — Все знают: ты прежнюю лошадь чуть не до смерти забил.

Гуляев хотел сказать Осминкину, какой он есть «чемпион», напомнить, сколько раз самому Осминкину «забили» мытищинцы. Но ощущение вины перед единодушно настроенными против него ребятами лишило его всегдашней самоуверенности.

— Да лопни мои глаза! Провалиться на этом месте! — поклялся он, неизвестно в чем, неистово и неубедительно.

— Конюха надобно постоянного, — примирительно предложил Накатников. — Лехе все равно некогда, он ведь работает. Конюха надобно, чтобы он смотрел и смотрел, а то ведь мало ли что. Отвернешься — не доглядишь. Шутка сказать! Не что-нибудь — лошадь.

Решили посоветоваться и выделить постоянного конюха. Гуляев не протестовал. И, наверное, поэтому никто не стал спорить, когда он взял коня под уздцы и повел купать на речку. Болшевы гурьбой шли за ним, наблюдая за каждым его движением.

На реке они предварительно исследовали речное дно, нет ли там и камней. «Брелок», фыркая, осторожно вошел в Клязьму. Мыли его все по очереди, с великим усердием, и он вышел из воды глянцевоый. На ночь временно его поставили в деревянный сарайчик, где стояли десятичные весы, навалили в угол травы и хлебных корок. Ночью Гуляев вдруг вспомнил, что весы в сарайчике ничем не прикрыты. «Брелок» может попасть в них ногой и тогда... Он быстро оделся и вышел. Туман низко стлался по земле. «Брелок» глухо стучал копытами о дощатый настил. Гуляев отодвинул весы, заложил их досками, осторожно погладил коня и невольно задержал руку на его теплой шее. Горячая жила билась под ладонью. Гуляев вышел из сарайчика, постоял в тумане под распухшими звездами и снова вернулся к лошади.

— Без тюрем, брат, будем жить, — сказал он. И опять положил руку на теплую шею.

На следующий день мерина повели в кузницу ковать. «Брелок» нервничал. Ребята приписывали это дурному глазу Умнова, кричали:

— Не храбрись, Сашка, заходи сбоку. А то ударит. Глаз у тебя тяжелый.



Умнов хитро прищурился:

— Авось, не ударит.

Со времени приезда Ягоды и посещения им кузницы Умнов стал вести себя как-то совсем необыкновенно: не обращал внимания на колкости со стороны Королева, не замечал их. Корчил многозначительные мины и носил голову так, точно это был стакан воды, который легко расплескать. И если бы кто-нибудь сказал ему теперь, что вот совсем недавно, весной, он, Умнов, собирался уехать в Ташкент, — Умнов посмотрел бы на него непонимающими глазами, отрывисто засмеялся бы и сказал хриплым, продыmlенным, как у заправского кузнеца, басом: — Липа.

Спусти две недели состоялась новая встреча большевцев с мытищинцами. Это была встреча-реванш. Играли на площадке коммуны. Сошлись команды, и вся коммуна, трепеща, замирая, следила за ходом игры. Неистовым ревом был встречен конечный итог: 3 — 2 в пользу коммунской команды. Это не 0 — 4! Это уже, чорт побери, кое-что!..

Измученный Осминкин покачивался от утомления и счастья. Ну что бы стоило товарищу Ягоде теперь приехать в коммуну?

# СВАТ

**Л**еха Гуляев крепко пригязался к Тане — племяннице Разоренова. Когда пришла весна, он часто встречался с ней на Клязьме, ходил гулять в лес и на шоссе, щеголяя перед Таней городскими словами и обычаем ходить под ручку, соединив ладони.

Голубятню в последнее время Гуляев совсем забросил; за голубями ухаживал Чинарик; примерно, раз в неделю он «докладывал» Гуляеву, какие голуби пропали и какие прилетели от чужих хозяев.

— Обмени, — коротко приказывал Гуляев и сейчас же забывал о голубях.

Летом Гуляев узнал, что Тагя беременна. Он узнал из третьих уст — от Насти, дочери Василия Разоренова, двоюродной сестры Тани. Тania стыдилась сама сказать ему об этом. Пораженный известием, Гуляев побежал к ней. Тania подтвердила и заплакала. Уже вся деревня знала о позоре. Мать грозилась выгнать Таню из дома, а дядя Разоренов, завидев племянницу, отвертывался от нее.

Новость ошеломила Гуляева; он еще надеялся, что, может быть, тут какая-нибудь ошибка. Пробормотав что-то невнятное и не глядя в набухшие, покрасневшие от слез глаза Тани, он торопливо распрощался с ней и убежал в коммуну. Но и там встретили его разговорами о таниной беременности.

— Попал, дорогой... — добродушно протянул Осминкин. — Придется жениться. Не отвертись.

— Мне? — возмутился Леха.

— А то кому же? Мне, что ли?

Он не выходил из коммуны, чтобы не встретиться случайно с Таней, и злился, когда ему было скучно без нее. Женитьба представлялась ему страшным и бесповоротным событием, после которого он навсегда утратит возможность распоряжаться своей жизнью по собственной воле. Не навсегда же все-таки он попал в эту коммуну.



Приятели, конечно, поддержат его отказ от женитьбы. Гуляев был в этом уверен даже после разговора с Осминкиным. И ошибся: большинство не сочувствовало ему, наоборот, говорило, что он осрамил коммуны и ни одна девушка никогда больше не придет «на огонек». А Сергей Петрович, встречаясь с Гуляевым, поглядывал на него с укором. По ночам парень плохо спал, все думал, жалел самого себя, а вспомнив Таню, чувствовал, что и ей нелегко.

Так прошло несколько дней: с одной стороны, вся коммуна, с другой — Леха. И с ним какой-нибудь пяток непримиримых женоненавистников. Даже голуби не радовали Гуляева, хотя они все лучше кувыркались в теплом летнем небе, у самых облаков.

...Ночью открылась дверь. Узкая полоска света от фонаря легла вдоль койки. Вошли Сергей Петрович, Осминкин и еще два парня.

— Спишь, Леха? — спросил Сергей Петрович, усаживаясь на койку. — Заварил ты кашу, Леха, а мы, выходит, расхлебывай.

Гуляев молчал.

— Что же теперь делать, Леха?

Опять молчание. И снова голос Сергея Петровича:

— А дядя у нее настоящий старый самодур. Он сегодня хотел вожжами ее избить... Она в погреб спряталась.

— Я ему кишки выпущу, — хрипло сказал Гуляев, приподнимаясь на локте.

— Придумал. Хорош активист!.. Еще больше коммуны хочешь осрамить?

— Что же, жениться? — спросил сам себя Леха.

Никто не ответил ему. Устало опустившись на подушку, он покорно произнес:

— Ладно, женюсь. Отстаньте вы от меня.

И почувствовал, что самому сделалось много легче, точно прояснилось все от этого решения. Гуляев решил завтра же сказать об этом Тане; приятно было предугадывать бурную ее радость и думать о собственном благородстве и великодушии. Он не подумал только о том, что кроме него, Лехи, и Тани существует еще Костино, а в Костине — Василий Петрович Разоренов и его многочисленная родня.

Костинцы в последние месяцы уже не боялись так коммуны, как осенью и зимой. Многие уже видели, что дело-то, выходит, вовсе не худое, и, может быть, не будь Разоренова, предпочли бы из противников коммуны перейти открыто в число ее друзей. Пока же они предпочитали выжидать.

Мишаха Грызлов частенько вспоминал знаменитую драку костинцев с воспитанниками коммуны и почесывал затылок.

Впутался тогда он в сущности случайно. Своих били, как не вступиться? Но теперь это казалось глупостью, такой, что даже нельзя понять, как она могла произойти. В этой удивительной коммуне можно отлично заработать, но Мишаха боялся, что ему откажут.

— Пойду к Сергею Петровичу, поговорю, — решил, наконец, он. — Авось, люди не осудят.

Как решил, так и сделал. Богословский встретил его подозрительно:

— Жаловаться пришел, Грызлов?

— Н-нет, в гости.

Мишаха переминался у двери с ноги на ногу.

— За что коммунаров травите? — спросил Сергей Петрович. — Что ж стоишь, проходи, садись, — прибавил он.

— Да все Василий Петрович настраивал, — сказал стыдливо Мишаха и испугался.

— Ты сам дубиной дрался. Ведь я видел.

— Дубиной? Скажи — грех ведь какой!.. Ишь, сердце-то что делает с человеком. А ведь я от роду смиренный.

— Мириться, что ли, пришел?

— Виноват я перед коммуной, — смущенно сказал Мишаха. — Виноват, верно. Тычком ей на дороге стал.

— Плоха для тебя коммуна?

— Хороша.

— Тогда зачем тычком стоишь?

Мишаха перекидывал фуражку из одной руки в другую, кричал, вытирал потное лицо рукавом.

— Лошадку я у вас подковал. Ковка важно держится. Работенку дали бы, — вздохнул Мишаха.

— Ладно... Это можно, — усмехнулся Сергей Петрович. — Отвози бут с карьера.

Дома радостное настроение Грызлова испортила Карасиха.

— Танька Разоренова загорбатела, — захлебываясь, сообщила она. — От ворюги Гуляева Лешки!

— Ишь ты! — в раздумье промямлил Мишаха, а про себя тревожно подумал: «С работой, гляди, не вышло бы какой заминки... Небось, все мужики на дыбы встанут. Вот уж наша, дура, время беременеть!»

— В коммуне об этом с утра до ночи колготня. Думают, через прение из бабы опять девка выйдет, — Карасиха лукаво подмигнула.

— В коммуне знают, что делают, — неопределенно заметил Мишаха.

— Знают, а Гуляев не женится. Девке-то вовсе, выходит, пропадать.

— Женится, — уверенно сказал Мишаха.



— А хоть он бы и захотел, нешто такому отдадут девку? Уж этого Василий Петрович не дозволит.

«Эх, нехорошо, очень нехорошо и не ко времени», опять подумал Мишаха Грызлов с огорчением.

Так и не приступил он тогда к возке бута. Решил подождать.

Мать Тани держалась неопределенно, но, повидимому, в конце концов была от свадьбы не прочь. И то сказать — девка с прибылью. Кому другому такая-то нужна?

Когда слухи о женитьбе Гуляева приняли настойчивый характер, Василий Петрович неожиданно пришел к вдове. Обычно, как самый старший и зажиточный родственник, он перешагивал порог ее избы с видом хозяйским, властным. Советы его по части домашнего обихода имели форму приказаний, и вдова никогда не смела их ослушиваться.

На этот раз Василий Петрович держался, точно проситель. Он стоял в дверях, низко понутив голову, сжимая скомканный картуз подмышкой, к столу прошел только после настойчивого приглашения.

— Ну вот, — говорил он, царапая ногтем клеенку, — непорокства ищем, безбожья ищем, а оно под боком. Враг-то в семье завелся.

Вдова, зная, куда клонит Василий Петрович, виновато молчала.

— Совет да любовь, — продолжал тот. — Видно, я и братом твоему покойнику больше не прихожусь. Вся деревня в набат бьет, а меня и спрашивать не надо. Ну что ж, стар стал, дурак стал.

— Да не решили еще, — робко сказала вдова. — Все думаем. Без твоих советов никак не обойдемся. Ты не серчай, Василий Петрович.

Разоренов горько усмехнулся:

— Какие там советы. В углу стоим. Может, на свадьбе кусок со стола бросят.

Таня сидела бледная, прямая. Она сильно изменилась за эти дни. Прежнюю беспечность сменила в ней женская рассудительность.

— Алеша теперь уж не тот, подравнялся, — робко сказала она. — Теперь он мастерство узнал...

Разоренов строго вскинул на нее брови:

— Вору, милая, оттяпай руки, так он глазами украдет.

— К чему такие слова? Он у вас, Василий Петрович, ничего не крал.

— Эх, некому тебя, дуру, окоротить, — с сердцем сказал дядя.

Вдова заплакала.

— Молчи, — кричала она дочери, — я не одна тебе хозяйка. Родня помогала выхаживать.

Василий Петрович, не торопясь, надевал шапку.

— Дите нагуляла — не тужи. Кто глуп не бывал — честь не забывал? Все покроем. Наш будет, разореновский. А родниться с вором — ни-ни, — веско закончил дядя.

Свадьба расстраивалась. Вдова не позволяла Лехе приходить к невесте. Коммунские ребята посмеивались:

— Что, брат, видно, жениться — не сапоги спшить?

Костинские парни при встрече издевались над Лехой:

— Ошибся, брат. Иди-ка за свадьбой в тюрьму. У нас не для вас.

На все доводы лехиных защитников вдова отвечала со слезами одной и той же неопределенной фразой:

— Неужто я лиходейка!

Гуляев ходил угрюмый, в смятении. Задирал, кто подвертывался под руку. Разговоры воспитателей, которым он успел крепко поверить, о том, что скоро люди перестанут гнущаться его прошлого, представлялись ему теперь пустой болтовней. Конечно, Таня могла решиться на замужество и помимо воли родных. Но тогда — это хорошо понимали и Мелихов и Богословский — победа коммуны была бы неполной, самолюбие Гуляева также не получило бы удовлетворения. Брак должен состояться при полном согласии и одобрении невестиных близких. Только тогда женитьба могла бы сыграть действительно большую роль и в налаживании отношений костинцев с воспитанниками и в укреплении самой коммуны.

Большевики заботились уже не о том, чтобы склонить Гуляева к женитьбе, а всячески убеждали его не так болезненно переживать неудачу сватовства. Гуляев огрызался:

— Тюремное пятно до конца жизни не слиняет.

Среди друзей Лехи находились утешители и другого рода. Многозначительно поглядывая в сторону Москвы, они нарочно при Богословском говорили:

— Мамкины дочки-то, видно, не про нас. Придется, должно быть, выйти на Тверской да Пушкину поклониться.

Все это грозило коммуне многими осложнениями. Надежды воспитателей сосредоточились на Погребинском.

Погребинский непрестанно следил за всем, что происходило в коммуне. Ребята писали ему письма, многие, бывая в Москве в отпуску, приходили к нему, жили у него на квартире. Нередко, приезжая в коммуну, Погребинский удивлял Мелихова и Богословского знанием таких фактов и подробностей, которые не были известны даже им. И теперь из того, что рассказал ему Мелихов, Погребинскому многое уже было известно.



— Дело большое, — сказал он, выслушав Мелихова. — Коли не сыграем свадьбу — как бы трещины в коммуне не получилось. Брак — законное право любого совершеннолетнего гражданина, — продолжал он. — Сегодня — Гуляев, завтра к нам придут Накатников, Осминкин, Румянцев и скажут: «Вы научили нас работать, заставили позабыть водку, кокаин. Мы — здоровые люди. Мы хотим семьи, детей». Не поможем — в самом деле уйдут на бульвар и не захотят возвращаться. Мы их будем там ловить, читать проповеди, а они спросят: «Вы что же, монахов из нас готовите?» Есть, конечно, другой выход: брать из тюрьмы в коммуну девушек, но это рано еще.

Сопротивлению Разоренова Погребинский придавал особенное значение. В упрямстве богатого мужика он видел больше нежели проявление обычной мужичьей ограниченности.

— Брак сознательно дает нам бой. Ну, а мы бой примем.

Он долго в тот день ходил по Костину, заговаривая преимущественно с женщинами, а вечером, когда пастух пригнал стадо коров, осторожно стукнул в окно вдовы Разореновой и, почти тельно козырнув, спросил:

— Подоили, Мавра Ивановна?

— Милости просим, — приметно зарделась Мавра Ивановна, узнавая Погребинского.

Матвей Самойлович слегка потупился:

— В знак уважения и по соседству одолжите стаканчик парного.

— Не побрезгуйте.

— Как можно! Случаются неряхи — душа не лежит. А у вашей красульки — и вымя подмыто, и идете вы к ней при фартуке, и подойник моете чисто...

Вдова растерянно хлопала веками.

Все было правильно.

А гость непринужденно просунул в окно голову, опираясь локтями на подоконник.

— Поветь у вас разваливается. Починить бы. Работника бы вам... Разрешите и завтра — утренняя стакан испробовать? По пути к вам зайду.

У Мавры Ивановны мелко тряслись руки. И откуда ему вся подноготная известна? Плохо соображая, что говорит, она пригласила:

— Заходите... — и безотчетно приняла за молоко деньги.

Утром, едва женщина управилась с выгоном, Погребинский открыл ее ворота. Он ходил по двору и громко говорил:

— Вот и канавки для стока нет, и кормушку надо почищать. — Потом сразу перешел к делу. — Зятем, Мавра Ивановна, обзаведись.

Вдова не решалась поднять головы. «Ох, дьявол, знает про танину беду».

Он стоял рядом и говорил вкрадчиво:

— Мишка Накатников у меня в коммуне есть. Слыхала? Нет? Что за парень! Инженер будет наверняка. Хочешь инженера в зятя? Что, не хорошо? Разборчивая, тетка! А Осминкин? Орел. Не видала?

Вдова немотно pokrутила головой. То ли «не надо», то ли «не видала».

Матвей Самойлович тронул ее за плечо:

— Да ты взгляни хоть раз на меня — не съем. Эх, сирота горемычная, как тебе голову богатый мужик закрутил.

Голос его прозвучал так участливо, что к горлу Мавры Ивановны подкатился клубок.

— Вдовья доля, только и знай — старшей родни слушай. — сдавленно прошептала она, чувствуя, как сейчас вот градом хлынут слезы, жалобы на бабью свою беззащитность.

Она перемоглась и впервые доверчиво посмотрела на странного человека:

— Я своей дочери худа не желаю.

Погребинский дружески и в то же время с мягкой шутливостью взял ее под руку:

— Идем-ка в избу. Кого же ты из коммунских знаешь?

— Да вот этот ходил... Леха. Небось, сами знаете?

— Гуляев? — закричал восторженно Погребинский. — Это настоящий человек будет. Годика через два хорошее жалованье заработает. Да и теперь он у нас счет хорошим деньгам знает.

— Что ты? — недоверчиво дрогнул у вдовы голос, и она принялась раскладывать на столе скатерть.

— Верно говорю!..

Погребинский пил молоко и вразумительно говорил:

— Ты Разоренова не слушай. Говорить ему осталось недолго. Вот лишат его избирательных прав, рта не посмеет разинуть. Разве тебе с ним хлеб-соль водить?

Зашел он к Мавре Ивановне и на следующий день. Рассказывал ей, сколько коммуна настроит высоких светлых домов, какие просторные отведут семейным квартиры, сколько им отпустят кредита на приобретение обстановки.

Вдова отмахивалась: «Да ну, сказочнику», и смеялась, прикладывая к губам платок.

— Вот увидишь! — заверял Погребинский.

Каким бесцветным и неубедительным казался по сравнению с ним родственник Василий Петрович, вечно недовольный властью, всегда пичкающий сердитыми правдоуказаниями.



К вечеру Погребинский обещался прийти еще раз.

Поджидая его, Мавра Ивановна надела самое парадное свое платье.

Матвей Самойлович явился и громко, как тогда на дворе, сказал:

— Сейчас я к тебе сватом, ты учти это, тетушка.

Мавра Ивановна вскрикнула и перекрестилась на иконы:

— Хоть шапку-то свою круглую снял бы.

— Можно, почему не снять.

Дело пошло быстрее и, сколько ни судили костинские кушумки, дошло до свадьбы.

Около избытки вдовы девки звонкими голосами «припевали» женихов. Званные гости сидели в избе возле окон, за «княжим» столом.

— Танька-то бле-едная. На себя не похожа, — заглядывая в окна, говорили на улице.

— Леха козырем сидит. Хороша парочка.

— И Мелихов и Богословский здесь.

— Коммунальных восемь.

— Пришло бы и больше, да не велено.

— За такими послушными будет не плохо, — сказала круглолицая Нюрка Грызлова и вздохнула.

— Тебя тоже за коммунального прощем, — ядовито заметил молодой парень.

— А что ж? Не хуже вас будут, — вспыхнула Нюрка.

— Тихе, Василий Петрович идут. — И сразу все перешли на шопот.

Разоренов шел степенно. На нем была синяя сатиновая рубашка с вышитым прямым воротом. Шелковый пояс с пушистой бахромой облегал его живот. Войдя в избу, он окинул ее хмурым взглядом. На стене висел большой фотографический портрет умершего брата — человека с худым, засушенным лицом и с такими же упрямыми глазами, как у Василия. Под портретом сидели молодые, в «святом» углу — Сергей Петрович, за ним коммунары и дальше, на скамьях, до самого порога — гости невесты.

— Садись, гость дорогой, — пригласила вдова.

— Ничего, постою, — подойдя к столу, Разоренов налил себе чашку водки. Он выпил, закусил, еще раз посмотрел кругом и громко, указывая на портрет брата, сказал:

— Танька, бога не бойшься, побойся отца! Гляди, как он смотрит. Не будет тебе счастья.

Невеста побелела, вдова, сдерживаясь, заплакала. Василий Петрович поклонился всем в пояс и, сказав «покорно благода-

рим», вышел, суровый и безразличный. Большевы растерянно глядели на Сергея Петровича, невестина родня шепталась. С улицы в избу врываются мальчишеские голоса.

— Лютует, черный ворон, на коммуны! — нашла первая сидевшая в стороне Карасиха и старческим голосом завела песню. Под руками гармониста заходили лады гармоники. Зазвенели стаканы.



# ШТАНЫ КОММУНАРА ГАГИ

**В** новом году коммуна расширялась. Брели новую партию молодых рецидивистов. На общем собрании была выделена отборочная комиссия. В числе других воспитанников в нее вошел и Осминкин.

— Смотри, Виктор, выезжаем рано! — предупредил его вечером Сергей Петрович.

Осминкин долго не мог уснуть. Он представлял себе Бутырки, представлял, как пойдет с Богословским по камерам, будет разговаривать с урками. Далеко ли то время, когда его, Осминкина, вызывали вот так же, как завтра он будет вызывать других. Ему казалось тогда: дурачат, лягавые, коммуна — это ловушка. Не так ли встретят в камерах и его самого?

Утром его разбудил Хаджи Мурат:

— Эй ты, отборщик!

Через десять минут Осминкин был уже у Богословского.

— Завтракал? — спросил Сергей Петрович.

— Не успел.

— Ну, это ты брось... садись, — и Богословский подвинул ему стул.

— Что-то кусок в горло не лезет, — признался Осминкин.

Поехали в Бутырки. Осминкин сживал здесь. Предъявили пропуска, прошли во двор. У зарешеченных окон показались лица. Осминкину чудилось: все знакомые. Он старался не смотреть туда.

— Пошли, — торопил членов комиссии Богословский, и Осминкин покорно поднялся на крыльцо.

Беспокоился Осминкин напрасно. Знакомых не было никого кроме Малыша — того самого паренька, который сбежал по дороге в коммуны осенью 1924 года. Теперь он сам подал заявление о приеме. Осминкин удивился, что о коммуне в Бутырках так мало знают. Приходилось подолгу растолковывать, рассказывать о порядках и требованиях коммуны, о том, что хозяева в ней — сами бывшие воры.

— Да вот хотя бы я... Я тоже был вором. А вот сейчас — видишь — в отборочной! — увлекшись, говорил Осминкин.

Многие недоверчиво, двусмысленно посмеивались.

Однако идти в коммуны соглашались почти все. Осминкин понимал: надоело сидеть, надеются сбежать. Все это ведь было уже когда-то и с ним самим.

«Ну погодите, — думал он, — сами увидите... Небось, только глухой убежит».

Комиссия работала до вечера. Настроение Осминкина выравнивалось, стало спокойным и уверенным. Однако в правом крыле, куда он пошел один, его ждала встреча, которой он долго потом не мог забыть. Он встретил своего прежнего кореша — Василия Морозова.

Морозов вырос, возмужал, лицо его вытянулось и приобрело незнакомые Осминкину высокомерные, неприятные черты.

Осминкин смутился:

— Васька... Василий, ты?

— Я, разумеется!

Осминкин вспомнил, что он — член отборочной комиссии, и сделал усилие, чтобы овладеть собой. Он стал говорить Морозову о коммуне.

— Иди в коммуны, Васька... Ты молодой, — закончил Осминкин.

Морозов презрительно пожал плечами. Худое лицо его передернула высокомерная усмешка.

— Значит, и ты, Виктор, лягавым стал?.. — медленно произнес он.

Осминкин побледнел.

— Так не пойдешь?.. — сказал он, сдерживаясь.

— Нет.

— Ну, как знаешь...

Осминкин ушел. Вот и кончилась старая дружба. Вот и не стало кореша... А и чорт с ним! У Осминкина теперь много других, настоящих... Но все-таки это было очень тяжело. Он никому не сказал о своей встрече.

В столовой за обедом новым отвели лучшие столы, полнее наливали суп и накладывали второе.

— Через час после обеда все новые — в баню! — объявил Накатников.

— Выдумал — в баню! — рассердился Толька Буржуй, семнадцатилетний паренек из новой партии.

Буржуем его звали за любовь к франтовству, за костюм «бостон». Однако под этим костюмом у Тольки всегда была грязная рубаха, покрытое мелкими красными прыщами тело. В бане он не бывал по году.

Его поддержали:





В соревновании с лучшими командами страны футболисты коммуны взяли не один приз

— Подумаешь, баня!.. Хвастались, что кино есть... Вот бы в кино позвал, а то — в баню!.. Нас в Бутырках мыли...

Толька твердо решил отвертеться от предстоящей ему неприятности.

В столовую вошел Чума. Он пришел, как всегда, с опозданием, геройски поглядывая вокруг.

— Чума!

— Чумище! — звали его ребята.

Толька сразу понял — жиган, козырь!..

А Чума подошел прямо к тому столу, где сидел Толька.

— Ага!.. Новенькие!.. — произнес он и покровительственно похлопал Буржуя по плечу.

— Ты откуда?.. Птичкой летаешь, по карманам стреляешь? — пошутил он и сам первый громко захохотал. Засмеялись и другие.

— Ну, смотрите, у нас в коммуне закон строгий... Держи порядок! Хочешь вместе со мной в общежитие?.. — обратился он внезапно к Тольке.

Буржуй был покорен и очарован.

— Хоть и с тобой, — сказал он независимо.

Однако он чувствовал себя крайне польщенным этой неожиданной и несомненной честью.

После обеда Чума повел Буржуя в спальню.

— Поставить койку рядом с моей!.. Да матрац получше, — говорил Чума дневальному голосом, не допускающим ослушания.

Потом он показал Буржую свой цилиндр и кашне, позволил даже примерить их. Толька все больше очаровывался новым знакомством. Он решил, что в баню не пойдет, а если потом спросят, скажет — забыл. Но это оказалось делом трудным.

Пришел парень, который приезжал в Бутырки и уговаривал Буржуя идти в коммуну. Он стал вызывать «новых».

— Пошли, пошли! Все в баню!.. В коммуне недопустимо грязнцу разводить, — говорил он.

Чума ущипнул Буржуя за ногу:

— Не хочешь в баню?

— Не хочу.

— Ну, давай, выходи вместе с другими. А потом... Я тебя буду за баней ждать.

Около бани Буржуй незаметно свернул в сторону и тотчас нашел Чуму.

— Белье получишь. Это я для тебя сделаю, — обещал Чума. — Деньги у тебя есть?

Буржуй поколебался: на что этому жигану знать, есть ли у него деньги?

— Немного есть, — признался он.



Прищурив правый глаз, Чума выразительно щелкнул себя по щеке:

— Хочется?

— А разве можно? — спросил Толька трусливым, радостным шопотком.

— Нельзя, — строго сказал Чума. Но тут же захохотал и потащил Буржуя за рукав:

— Пойдем молоко пить на деревню. Молоко от бешеной коровки... Это можно!

«Вот парень! С таким не пропадешь! — думал Толька, шагая рядом с Чумой. — Не то, что веснушчатый Осминкин».

Выпили здорово. Заказывал Чума, а платил Толька. Видно, Чума был здесь завсегдаем. Старуха-шинкарка называла его «сыном», а когда все тольконы деньги они пропили, сама предложила в долг.

Чума растянулся на лавке в переднем углу под иконами, и скоро хата наполнилась его пьяным храпом.

Буржуй потолкал его в бок и не разбудил. Шатаясь и горлая, он побрел в коммуну один. Но не дошел и свалился. Нашли его болшевы в канаве, недалеко от коммуны. Буржуй был мертвецки пьян. Он не слышал, как его подняли, огнесли в спальню, раздели и положили на койку.

На следующий день было назначено собрание. Буржуй чувствовал себя плохо: все тело ломило, голова казалась налитой чугуном, но все же решил пойти на собрание. В дверях он столкнулся с Чумой, и тот шепнул:

— Не дрейфь! Выручим!

«Это что же — наказывать будут, что ли?» встревожился Буржуй.

Первым взял слово мальчишка, фамилия которого была Смирнов. Он говорил о том, что на сегодняшнем собрании должен был стоять вопрос о приеме. «Но, как видно, придется поставить и другой вопрос — о неприеме. Нашелся среди вновь прибывших такой, который в первый же день напился...» И Толька услышал свою фамилию. За Смирновым выступил Накатников — тот остроглазый парень, который объявлял вчера в столовой о бане.

— Все мы «болели» первые дни, — говорил Накатников. — Всех нас тянуло на старое. Но напиться сразу по приезде — это значит нисколько не дорожить пребыванием в коммуне. Мы должны принимать в коммуну только тех, кому она в самом деле нужна. Коммуна — не шалман...

Ребята заплодировали.

Последним вышел Чума.

— Конечно, — с апломбом говорил он, — коммуна лучше концлагерей, Буржуй не просчитался. Но до коммуны дорасти

надо. Мы людьми хотим стать, мы все работаем, учимся! Ведь знал же Буржуй, что у нас пить нельзя. Значит, наплевать он хотел на наши законы. Ну, а раз так, то нечего ему тут делать.

Буржуй не верил своим ушам. Тот ли это Чума, с которым они вместе ходили к шинкарке?!

Общее собрание постановило Буржуя в коммуны не принимать. До последней минуты Буржуй думал, что вот поругают его — без этого, должно быть, здесь нельзя — и тем дело и кончится. Но когда решение занесли в протокол и стали переходить к следующему вопросу, Буржуй вдруг понял, что дело не шуточное. «Выходит — плыть назад? А Чума! Вот гад!» Только передернуло от злости.

— Мне места нет, а Чуме есть? — крикнул он сдавленно. — Вместе с Чумой в деревне пили!

И лишь выкрикнув это, сообразил, что он слягавил.

Чума растерялся. Как он мог предполагать, что парень прямо из тюрьмы — решится выдать?

— Врет! Не было этого. Кто видел? — крикнул Чума.

— Иди сюда, объясни, в чем дело, — холодно предложил Сергей Петрович.

Все еще не теряя самоуверенного вида, Чума прошел к столу. На самом деле — кто видел?

— Я его и не знаю... Я с ним и не был... С гвоздиков он соскочил, должно быть! — произнес Чума.

— Ты с ним не был! — крикнул Осминкин. — А кто его увел от бани, когда ребята пошли мыться? Куда ты его повел? Видели!

Чуме показалось, что ворот слишком туго стягивает шею. Он покрутил головой, для чего-то одернул жилетку. Богословский наблюдал за ним. Наконец-то попался Чума, наконец-то удастся разоблачить перед воспитанниками этого ловкача («ожачка»), прикрывающегося громкими речами, а исподтишка срывающего всю работу воспитателей. Теперь все увидят, какая цена этому человеку.

Чума не знал, что говорить.

— Да что ж это! Уж и около бани не позволяют постоять. Я сам мыться хотел! У меня, может быть, вши завелись! — Он задвигал плечами, словно показывая этим, как чешется его тело.

Ребята засмеялись. Смех был недобрый. Чума понял — смеются над ним. Но это хорошо. Он вдруг нелепо подмигнул собранию и подергал задом. Захохотали громче.

— Цилиндр одень!.. Погубил парня и скоморошничает! — с горечью крикнул Осминкин.

Ему было особенно обидно. Ведь это он уговорил Буржуя пойти в коммуны.

И все зашумели, закричали, затопали ногами. И больше ничего не посмел ни сказать, ни сделать Чума. Он отошел и сел на



свое место. Тогда развязались языки. Опять один за другим выступали большевцы, но теперь уже говорили не о Буржуе, а о Чуме, говорили о том, как он заставляет работать за себя других, как он приносит водку, подбивает ребят, а потом сам же выступает против них на собраниях. Многие требовали исключения Чумы из коммуны. Не ожидал Чума подобных результатов от своей вчерашней прогулки. Собрание постановило отправить Чуму на гауптвахту.

Вечером ребята собрались на квартире у Богословского. Были «старики», были и «новички». Эти не предусмотренные никакими уставами начавшиеся еще с первой осени дружеские вечерние сборища у Богословского или у Мелихова имели огромное значение.

Они особенно сближали воспитанников с воспитателями, создавали единомыслие, подготавливали общественное мнение коммуны по самым острым вопросам.

Именно на одном из таких вечерних чаепитий Румянцев, застенчиво моргая, высказал пожелание:

— Поучиться бы нам, дядя Сережа.

Румянцев был скромный парень, обычно державшийся незаметно. Вероятно, он не заговорил бы об этом на общем собрании. А тут он чувствовал себя свободней, проще. И предложение его было поддержано всеми. Воспитатели сделали все, чтобы укрепить стремление к учебе. С первыми учениками Богословский стал заниматься сам.

Туго приходилось ребятам на первых порах. Голова не привыкла к систематическому напряжению. Войдет Сергей Петрович — его обступят, отвлекают:

— Да ну-у там, заниматься! Давай так часок поболтаем.

— Что мы — бухгалтерами, что ли, будем? Да хочешь, мы тебя и так обчитаем?

А франтоватый Васильев откровенно жаловался:

— Вы меня заставьте двадцать часов в мастерской — я буду работать, а вот три часа в школе не просидеть. Голова болит, и спать хочется. Вы меня спрашиваете, а я ничего не понимаю. Вот арифметику я могу, а эти сослагательные да именительные — чорт в них ногу сломал!..

— Ишь ты, Косой, какой человек. Ему принеси да разжуй, а он только проглотит, — отшучивался Богословский.

Далеко не все воспитанники посещали школу, да и многие из тех, кто приходил, искали в ней не столько знаний, сколько развлечений. Но все-таки начало было положено.

И многое другое, не менее важное, чем учеба в школе, возникло на вечерних беседах у Сергея Петровича и отсюда пошло в жизнь.

Ребятам нравилось собираться у него. Им нравился его трезвый взгляд на вещи, простота в обращении, осведомленность по любому вопросу. Случалось, они поднимали «дядю Сережу» даже по ночам...

Сегодня все только и говорили, что о Чуме, о его подлости. События утреннего собрания волновали всех.

— Он не один, Чума. Таких еще много! — горячился Накатников. — Теперь новый народ пришел. Какой для них пример? Сегодня Буржуй, завтра Малыш напьется... Правда, Малыш?..

Малыш сидел необыкновенно тихий, робкий. Непривычная обстановка, удивительная перемена в Накатникове, которого он помнил совсем другим человеком, стесняли, связывали его. К Сергею Петровичу его притащил Накатников.

— Как, Малыш?.. Правильно говорит Накатников?.. Напьемся и опять сбежишь? — шутливо спросил Богословский.

— Врет. Не убегу... — пробормотал Малыш.

— Я считаю, если кто попался в пьянке второй раз... — начал Накатников, но его перебил Гага:

— Сергей Петрович, штаны хочу купить. Посоветуйте: в полоску или гладкие? Новиков говорит, что лучше гладкие...

— Да погоди ты! Выдумал — штаны! — рассердился Накатников. — Что тебе Сергей Петрович — нянька?.. Тут поважнее дела, а он — штаны!

Ребята засмеялись. Богословский укоризненно покачал головой.

— А ты сам какие хочешь? — совершенно серьезно спросил он Гагу.

Гага расцвел:

— Я?.. В полоску.

— Правильно. Я тоже взял бы в полоску. На полосатых материал как будто лучше.

— Дороговато, — сказал Гага. — Галстук еще хотел купить... Денег нехватает. Курить думаю бросить.

— Дело хорошее, — одобрил Богословский.

«Что ему за интерес? Нарочно он, что ли!» недоумевал Накатников.

Ему не терпелось рассказать о том, что по его мнению нужно сделать, чтобы не могли повториться случаи, подобные вчерашнему. Но Богословский словно не замечал этого.

— Гага поднял важный вопрос. Вы напрасно смеялись... И Накатников напрасно думает, что штаны — это пустяки. Нет, это не пустяки — приобрести брюки на свои, на заработанные деньги!.. Трудовая денежка — не воровская... Она дорого стоит! Вас всех возмущает поведение Чумы. Правильно, оно



недопустимое. Вы беспокоитесь за вновь прибывших, боитесь, что их будут губить старые привычки, думаете о том, как сделать, чтобы этого не было... Накатников предлагает усилить строгость, крепче наказывать... Если понадобится, конечно, мы это сделаем. А вот скажи, товарищ Накатников, как думаешь, одна ли строгость побеждает старые привычки?

Накатников молчал. Он уже догадался, что совершил какую-то ошибку. Самолюбие его было уязвлено.

— Нет, Миша, — продолжал Сергей Петрович. — Старые привычки надо уничтожить созданием новых, таких вот, как любовь к порядку и оседлости, к чистой кровати, уютной комнате, к театру, к спорту... И самое главное — к источнику всего этого — к труду... Правильно ли я говорю, Накатников?

— Правильно! — подтвердил Смирнов.

Накатников продолжал молчать.

— А когда правильно, то почему неважно, какие штаны приобретет себе Гага? Разве все равно, будет ли он ходить в опрятных крепких новых брюках или вот в этой рвани, в которой сидит сейчас?

Гага сконфуженно прикрыл ладонью большую дыру на штанине повыше колена.

— Разве это неважно, что многие из вас по утрам не моются, почти никто не чистит зубы, в спальнях беспорядок, что некоторые, вот вроде того же Чумы, шеголяющего в шутовском, постыдном, воровском цилиндре, предпочитают ходить чорт знает в чем и пропивать и прокуривать получки, вместо того чтобы по-человечески одеться, по-человечески обуться, сходить в Москве в хороший театр? Нет, друзья, это важно!.. Все это очень важно также и для вас, если вы действительно возмущены Чумой, действительно заботитесь о новичках...

Только теперь сообразил Накатников, в чем состояла его ошибка. Но сознаться в ней мешало самолюбие.

— Если я зубы вычищу, так Буржуй пить не пойдет?.. — сказал он с иронией.

— Вот именно! — хладнокровно ответил Богословский. — Если ты на своем примере покажешь, как жить культурно, если Буржуй вместе с тобой убедится, что в театре интересней, чем в притоне, что спать в чистой кровати здоровее, чем на заплыванном полу, что жить на верный трудовой заработок лучше, чем на шальные воровские деньги, — так он не пойдет воровать, не пойдет в притон! Не так ли, Накатников?

Накатников сдался. Да и что мог он возразить?

— Я не об этом, Сергей Петрович. Я ведь сам всегда... Только меня перебил Гага... А я больше скажу. Это безобразие,

что некоторые не моются... Я предлагаю обязать контроль следить за этим. Я думаю...

— Предлагаю каждый вечер в спальнях проверять... И кто разводит грязь, зачитывать на общем собрании, чтобы все знали, — предложил Осминкин, опережая Накатникова.

— Предлагаю, чтобы у каждого была своя зубная щетка и свой порошок, — сказал Румянцев.

— Штрафовать на копейку... Кто плюнул на пол — копейку.

— Блатные песни поют.

— В карты играют!..

— Чтобы кузнецы, не вымывшись, в спальню не заходили!

— Тогда увидим, кто у нас грязь разводит!

Даже Малыш решился сказать что-то насчет увеличения числа шаек в бане.

Так дело Чумы послужило толчком к обсуждению всех вопросов быта. Так начался новый этап борьбы за чистоту, опрятность, за порядок в спальнях. Застрельщиками в этой борьбе стали сами воспитанники.



# ЧУДЕСНЫЙ МУСОР

**В** то время Накатников не любил и, может быть, даже и не умел думать долго и последовательно. Решения приходили к нему внезапно, как открытия. Начатое дело он продолжал уже из упрямства, из гордости, хотя бы даже и не верил в его пользу. Ему нравилось укрощать вещи и события, подчинять их себе, преодолевать косность. И делалось это главным образом не по убежденности, а по своеправию. «Я хочу», «Я не хочу» — эти формулы занимали большое место и в жизни и в работе Накатникова.

Он запомнил первую встречу с Погребинским у него в кабинете на Лубянке, когда Погребинский в разговоре о коммуне обмолвился словами:

«Учиться будешь — на рабфак пойдешь».

Слова эти застряли в мозгу парня по странному закону, заставляющему помнить всю жизнь события, которые как будто совсем не надо запоминать. Сознательного намерения учиться, приобретать знания или расширять свой опыт у него не было. Все свойства его характера и все его интересы находились в том неустойчивом состоянии, когда неумышленный толчок мог дать жизненно важное направление для всей его деятельности. Переговорив с Сергеем Петровичем, Накатников решил готовиться на рабфак. Нашелся и учитель. Подготовлять Накатникова охотно согласился руководитель оркестра Чегодаев.

Наконец счастливый день наступил.

В списке принятых Накатников прочел свою фамилию. В канцелярии вечно торопящийся зав бросил ему на ходу, что можно рассчитывать на стипендию и учиться на дневном отделении. Стипендия давала возможность посвящать учебе все время, но дневные занятия отрывали от коммуны совершенно.

Парень задумался.

С коммуной он уже сжился, принимал самое деятельное участие в ее жизни. Ни одно общее собрание не обходилось без бурных выступлений Накатникова. В конфликтной комиссии, заседаний которой Накатников никогда не пропускал,

он был самым требовательным и нетерпимым. В коммуне он был нужным человеком, без которого было трудно обходиться и администрации и воспитанникам. С ним советовались о предстоящих мероприятиях, ребята выдвигали его всюду, где требовалась защита их интересов. Все это возвышало парня в собственных глазах. Он жил в коммуне с тем бодрым, приподнятым настроением, какое бывает у людей, нашедших в работе свое место.

Оторваться от коммуны, погрузившись в учебу, Накатников не мог, поэтому от стипендии отказался. Днем он работал в обувной, а вечером ездил на рабфак. Учение шло хорошо. Способности у парня были, знания легко укладывались в его мозгу. Но он остро реагировал на все, что происходило в коммуне, и все значительное в ее жизни волновало и захватывало его.

И вот уже поздней осенью события сложились так, что Накатников едва не оказался вышибленным из колеи.

Большевцы мечтали о станках, о таких сложных машинах, работа на которых давала бы практические знания и квалификацию. Вопросу о новом оборудовании, о механизации мастерских придавали исключительное значение и воспитатели. Коммуна ставила своей задачей выращивать не кустарей, а высококвалифицированных рабочих. Долгое время, однако, коммуны не удавалось достать мало-мальски сложных станков.

Так же, как и другие ребята, Накатников нетерпеливо ожидал того времени, когда в мастерских коммуны появятся хорошие станки.

И вот в середине ноября 1925 года было получено сообщение о том, что коммуне разрешено вывезти станковое оборудование из Люблинского деревообделочного завода. Известие взбудоражило всю коммуны. Маленькую бумажку с плотным, отпечатанным на машинке текстом читали по очереди, подносили к свету, словно сомневались — не поддельный ли это документ. Накатников разделял общую радость. Он уже представлял себе, как явится на деревообделочный завод, будет рассматривать оборудование, разбирать его, хлопотать, спешить, упаковывать... На другой день из Москвы пришел грузовой автомобиль с продуктами. Большевцы сгрузили мешки и ящики. Спустя полчаса в кабину автомобиля рядом с шофером сел дядя Ленья — инструктор столярной мастерской. Он зябко сжался, приподняв засаленный воротник плаща. В кузове разместились Беспалов, Воронов, Калдыба, Умнов и Румянцев. Накатников увидел их, когда грузовик уже тронулся.

«Что ж это?... А я?» разочарованно и удивленно подумал он.

Ему захотелось догнать машину, побежать к Мелихову, выругаться... Но было уже поздно. Кузнецы и столяры уехали...



«Да и на рабфак вечером надо», подумал Накатников, чтобы успокоить себя, но чувство обиды оставалось.

Грузовик добрался до Люблина.

Деревообделочная фабрика была длинная, низкая, похожая на барак. В углах трещали сверчки. Осторожно ступая, словно боясь спугнуть застоящую тишину, болшевики разглядывали станки, переходили гуськом от одного станка к другому:

— Которые наши?

— А почему тут народу нет?

— Эх, кабы нам такую фабричку сгрохать...

Комендант учтиво объяснил дяде Лене, какие станки предназначены коммуне, и равнодушно махнул рукой:

— Кладбище. Все оборудование — сплошной мусор. Фабрика отработала свой век — назначена на слом.

Откровенное разъяснение коменданта, пренебрежительные его слова и тон не охладили болшевцев.

Вооружившись инструментом, они обступили станки. Похоже, что мусором это оборудование признано по недоразумению. Какой же это мусор — такие чудесные станки! Тем лучше: захватить, пользуясь случаем, побольше этого «мусора» и убраться поскорее.

Станки были укреплены в цементном фундаменте. Ребята домали, скальвали цемент. Притащили доски, бревна, устроили рычаги, соорудили помост на катках, и постепенно, подталкиваемый с боков и сзади, пополз в кузов автомобиля сначала фрезерный станок, потом — токарный, затем — ленточная пила и еще фрезерный и еще пила. Дядя Ленья охрип. Его заменил Королев. Он командовал визгливым голосом:

— Ра-аз, два — взяли!

Автомобиль оседал, становился ниже ростом, рессоры его гнулись.

Когда на обратном пути грузовик добрался до Москвы, начался дождь. Москва — половина пути до Болшева.

Перегруженная машина капризничала, останавливалась. Колеса буксовали. Натужно кряхтя, автомобиль упрямо карабкался в гору. На середине подъема он остановился, долго кашлял бензиновой гарью, тщетно пытаясь сдвинуться с места. И всем стало ясно, что в Болшево с грузом сегодня не доехать. Придется или ночевать на мостовой посреди улицы или разгрузить машину и за оставшимися станками вернуться завтра.

Мелкий, холодный дождь усилился.

Беспалов выругался, снял шинель и накрыл ею мокрый токарный станок. Затем, не говоря ни слова, деловито спрыгнул на землю. Остальные коммунары последовали за ним. Они уперлись плечом в кузов, и Королев снова запел надрывно:

Ра-аз, два — взя-али!  
Взя-а-ли юзом...

Дядя Лёня вылез из шоферской кабины и тоже подставил свои плечи под кузов. Медленно, сантиметр за сантиметром, машина лезла на подъем. В промежутках между толчками клали под задние колеса булыжники, чтобы грузовик не откатывался назад.

Через час, оглянувшись на пройденное расстояние, ужаснулись — оно было ничтожно мало... два метра. Дядя Лёня вычислял, что при такой скорости они доберутся в Болшево не ранее как через полтора года. Он попросил у шофера взаймы серебряный гривенник и побежал разыскивать аптеку с телефоном-автоматом.

В коммуны попали только поздно вечером. Их привезла буксирная машина хозяйственного отдела ОГПУ.

События следующего дня были неожиданностью решительно для всех. Ребята толпились у привезенных станков, временно сложенных возле прачечной, рассматривали потемневшие от пыли валы трансмиссий, разбросанные шкивы, похожие на половинки стальных колес, слушали рассказ Румянцева и Умаова, как было нелегко их разобрать и доставить.

А Накатников в этот день дежурил на кухне. Он несколько раз порывался выскочить на улицу, посмотреть станки, дать им свою авторитетную оценку, но останавливало какое-то сложное чувство. Да и нельзя было уйти: на кухне пекли пышки.

В синеватом чаду у жаркой плиты расторопно двигались ребята — очередные «повара». Белые куски теста падали в кипящее масло, мгновенно зарумяниваясь там, затем их укладывали пышными рядами на длинный противень; вокруг распространялось щекочущее ноздри благоухание. Горький дымок стлался по потолку и, проникая через открытую дверь наружу, виделся сизыми струйками.

К огоньку и вкусным запахам привычно сползались незанятые воспитанники. В небольшом помещении становилось тесно. Накатников чувствовал, что в нём кипит раздражение. Было почему-то неприятно слушать о том, как устроены части станков, в чем заключается их назначение. Кроме того недавно было вынесено постановление, чтобы на кухне лишние люди не толкались. Мог ли Накатников терпеть на своем дежурстве такие беспорядки?

— Выметайся, братва, выметайся, — решительно сказал он, отесняя непрошенных гостей к двери. — Сколько раз говорили, чтобы на кухне не торчать. Нечего здесь делать. Плыви, выкатывайся.

Накатников брал непокорных за рукав и даже подталкивал легонько в спину. Изгнанные из кухни теснились в коридоре.



Некоторые из них относились к Накатникову недоброжелательно. Не любили его напора, уверенности в себе, манеры говорить всегда так, словно он один на свете по-настоящему прав. Не забывал кое-кто также и нередких его разоблачений на собраниях.

— Что ж ты не всех гонишь? — зло и язвительно ухмыляясь, спросил Накатникова Королев. Он упорно не желал покинуть кухню. — Или иным закон, а иным другой? Косой тебе друг-приятель, так его оставляешь?

Накатников побледнел. Он мог спокойно снести все, но только не обвинение в пристрастии или несправедливости. Нокрыть в сущности было нечем.

Почему-то на кухне задержался из посторонних именно Васильев, с которым Накатников издавна дружил. Довольно жмурясь, Косой сидел на табуретке неподалеку от плиты в позе человека, к которому все происходящее не относится.

Накатников секунду колебался, потом сурово сдвинул брови и с намеренной грубостью крикнул:

— Катись, Косой, и ты!

Тон, каким это было сказано, и строго нахмуренные брови не произвели на Васильева никакого впечатления. Он только лениво повернул голову, точно разомлевший кот, и посмотрел на товарища с благожелательной ухмылкой.

— Тебе говорят или нет? — вспыхнул Накатников.

Он подскочил к Васильеву и, цепко схватив его за шиворот, потащил к двери.

Одно мгновение Косой был совершенно растерян. Он никак не ожидал, что его приятель так бесцеремонно нарушит права и традиции дружбы. Лицо Косого потускнело, губы дрогнули. В следующий момент он резко рванулся из крепких рук и ударил Накатникова. Тот бросился на Косого.

Два рослых, крепких парня месили друг друга кулаками, точно тесто. Отброшенный свирепым пинком, полетел к двери табурет, покачнулся стол, упало с подоконника решето, из опрокинутой корзины покотился по полу картофель.

Зрители окружили сцепившихся.

— Ты что ж, в бутылку всех загнать хочешь? — выкрикнул Королев. — Силу почувал? Крой его, Косой!

И Королев пошел на помощь Васильеву.

Дрались долго, жестоко и яростно. Когда их, наконец, разняли, у Васильева была рассечена губа. Накатников потирал грудь и ушибленное плечо.

Он видел вокруг себя недоброжелательные взгляды и слышал упреки и угрозы.

Обиженный на весь мир, позабыв свое дежурство, он выскочил из кухни на улицу и зашагал по дороге.

Сырое, клочкастое небо висело над Болшевом. Выпавший ночью снег растаял, и на дорожке стояли лужи.

В эту минуту Накатников ненавидел большевцев. От быстрой ходьбы накопившийся в нем гнев стал утихать, но тем сильнее росла обида. Он считал себя совершенно правым. Смутное желание получить какую-то поддержку извне заставило его завернуть к Сергею Петровичу. Только с этим ровным и душевным человеком мог бы сейчас поговорить Накатников.

Уже постучав в дверь, он сообразил, что о случившемся рассказать будет тяжело и стыдно. За время пребывания в коммуне он зарекомендовал себя, как думалось ему, человеком выдержанным и положительным. И вдруг — мордобой. Да и поймут ли его? Признают ли правым? Спрашивая, дома ли Богословский, он искренно желал, чтобы ответ был отрицательный. Но, увы, все уже шло неизбежным путем.

Богословский встретил разгоряченного парня, как всегда, ласково.

— Ну, что скажешь, Миша? — спросил он. — Что это ты такой взлохмаченный?

Умные, добродушные глаза пытливо остановились на нем.

Накатников нелепо одергивал гимнастерку и старался выиграть время. Сейчас он уже окончательно решил ничего не рассказывать, но нужно было придумать что-нибудь.

— А, черт его побери, — жалобным голосом сказал Накатников. — Вот грудь заболела — колет, кашель сильный. Дай что-нибудь, доктор.

Ему хотелось участия и поддержки. Найденный ход был очень неплох, и Накатников уже ожидал, что поведет сейчас с дядей Сережей длинный разговор, потом, может быть, и пожалуется и вообще потолкует, отведет душу. Грудь в самом деле болела от драки, плечо глухо, но чувствительно ныло.

Богословский ткнул раз-другой трубкой в грудь парня и, не обнаружив, разумеется, ничего значительного, весело сказал ему:

— Пустяки. Ничего нет. Что так запыхался? Бежал быстро, что ли?

И тотчас же взялся за шапку, собираясь уходить.

— Ничего нет, пройдет. И никакого лекарства не надо, — повторил он, видя, что парень как будто ожидает еще чего-то.

Поспешность и легкость решения показались Накатникову новым оскорблением. В другое время и ответ Сергея Петровича и все его поведение показались бы самыми обыкновенными, сейчас же в груди вдруг толкнулась жаркая волна и подкатилась к горлу. Охрипшим и изменившимся голосом Накатников прошипел:



— Какой же ты доктор после этого? К тебе за помощью пришли, а ты — «нет ничего, пройдет». Лошадей тебе лечить, а не людей.

Накатников испытывал такое чувство, словно он сорвался с крутой горы и вот мчится теперь, не разбирая дороги, и никакая сила не может его остановить. Он вновь почувал в себе того буйного и отчаянного Накатникова, которого до поступления в коммуну неохотно задевали даже самые бесшабашные забияки. Весь неразряженный его гнев обрушивался на недоумевающего Богословского.

— Уйду из коммуны, — хрипло кричал парень. — Насажали сюда коновалов! Кончено!

Яростно хлопнув дверью, Накатников выскочил от Богословского в том смятении всех дум и чувств, какое бывает у человека, окончательно запутавшегося и озлобленного. Проваливаясь в канавы, продираясь сквозь сучья, он бежал по лесу к шоссе.

— Уйду! — с яростным наслаждением повторял он. — Уйду! Теперь уж лягавым никогда не дамся! Дьяволы!

О людях, с которыми он за время пребывания в коммуне сжился, о всех своих новых привычках, намерениях, желаниях он думал сейчас со злорадством. Красть, бить, обманывать, убивать — ему сейчас все казалось возможным, чтобы отомстить оскорбившим и обидевшим его.

Вскоре Накатников вышел на шоссе. Грязное унавоженное полотно бежало километр за километром. Без шапки, с развевающимися по ветру волосами, шагая преувеличенно широко, он быстро двигался вперед. Сгоряча он забыл, что мог бы сесть на поезд. Ходьба мало-помалу утомляла. Мысли прояснились.

Ему представилось возвращение в дорогомиловскую ночлежку. В сущности впереди предстояло довольно-таки беспорядочное и неприятное существование.

Около Мытищ на дороге встретилась пожилая женщина, до странности похожая на мать. Накатников даже вздрогнул, неожиданно поймав на себе суровый взгляд. В походке женщины была знакомая сдержанность и ровность. Накатников долго оглядывался вслед. Встреча пробудила в нем тревожное чувство.

Два месяца назад Накатников получил в коммуне отпуск. В родной город он приехал поздним вечером. В тесной квартире матери как будто ничего не изменилось. Все так же темнели в полумраке святые на иконах, на полу лежали пестрые домотканые половики, на столе возвышался знакомый самовар с измятым боком. Мать сидела у стола и шила. Лицо ее и какое-то тряпье в руках скудно освещались светом маленькой лампы. Мать посмотрела на вошедшего парня поверх очков и, видимо,

не узнала вначале. Потом она часто замигала, и по щекам ее потекли слезы.

Накатников ступил шаг-другой вперед и с нарочитой небрежностью бросил на сундук дорожную сумку:

— Что ж это у тебя так темно? При такой копилке и шва-то не увидишь!

Сказал он это с таким видом, словно отлучался из дома не более как на час. Впрочем, раздевался он несколько поспешнее, чем следовало бы ничем не взволнованному человеку. Мать подбежала к нему и обняла. Склонив голову к плечу сына, она всхлипывала жалобно, как плачут дети и старики. Она сильно постарела за эти годы. Накатников растерянно поглаживал вздрагивающие ее плечи и однотонно бормотал:

— Да ну ж тебя, ну ж тебя! Вот еще разревелась-то!..

У Накатникова было сложное отношение к матери. Можно было бы подумать, что он не очень ее любит — так сух он был в словах и скуп на ласку. Однако, живя в Москве, в дорогомилловской ночлежке или на воровских квартирах, он писал ей длинные письма, в которых рассказывал об успехах на несуществующей службе, иногда посылал денег и однажды послал теплый пуховый платок.

Мать, повидимому, что-то подозревала, слезно упрашивала сына возвратиться домой. Когда пошли аресты, переписка прекратилась. Теперь, после длительной разлуки и неизвестности, мать, казалось, выплакивала все свои невысказанные подозрения.

— Ну полно же, полно! — говорил Накатников, похлопывая ее по плечу. — Что я, покойник, что ли?

Он усадил старуху на стул и встал перед ней, уперев руки в бока:

— Ну будет, что ли? Лучше бы чаем напоила!

Поставили самовар, пили чай. Накатников рассказывал о московском житье-бытье. Он перечислял места, на которых якобы служил, упоминал первые пришедшие в голову имена вымышленных своих сослуживцев. Впрочем, когда речь шла о коммуне, не нужно было и врать. Накатников только умолчал, что коммуна состоит из бывших воров. Он рассказывал о том, как в коммуне работают, с гордостью упомянул о мастерских и особо отметил свои собственные успехи. Мать слушала внимательно, но верить боялась.

— А вид-то у тебя, Мишенька, есть? Вид-то?.. — спрашивала она вдруг с помрачневшим лицом, без всякой связи с предыдущим.

И всматривалась в сына с тревожной жалостью, словно он страдал неизлечимой болезнью. Накатников окончательно рассердился:



— Что ты, мильтон, что ли? Какой тебе надо вид?

Впрочем, не без удовольствия он вытащил и бросил на стол удостоверение из коммуны.

— Видишь, — сказал он, указывая на штамп, — коммуна трудо-вая... Такую бумагу не всякому дадут!..

Мать неопределенно улыбалась. Ей, видимо, очень хотелось верить сыну, и в то же время она боялась за его судьбу.

— Ну, уж коли трудовая — тогда так. Я ведь это спроста.

В следующие дни Накатников вел себя, как полагается человеку, приехавшему на кратковременную побывку. Он побывал у родственников, у старых знакомых, сходил даже на кладбище — на отцовскую могилу. Он всячески старался внушить матери мысль, что отныне все идет по-новому, ни разу не напился и ни с кем не повздорил. Под конец мать стала чаще улыбаться и меньше плакать.

Как-то, возвращаясь от знакомых, Накатников замешкался в сених. У матери кто-то был. Через полуоткрытую дверь доносился чей-то скрипучий басок:

— Нет, милая моя, как волка ни корми, он все в лес будет глядеть... Я тебе по-родственному, по-свойски! Как был Мишка вором, так и остался! Врет он тебе. Какие там коммуны — выдумка одна. Он, может, в шайке бандитской, а тебе — в коммуне! Документ не показчик! Документ они вмиг смастерят!

Мать, видимо, уже не противоречила.

— Так что же делать-то, Митрий Петрович? — восклицала она слезливо.

— По начальству, мать, по начальству представить! А то самой как бы не ответить!

Накатников узнал дядю, рыжего булочника, в свое время снабжавшего мать пончиками для продажи. Накатников вошел. При виде его дядька смутился. Мишка посмотрел на рыжую его бороду, на багровые мясистые щеки и, не сказав ни слова, прошел в другую комнату. В это мгновение он понимал, что не уйдет из коммуны хотя бы только на зло этому бородачу, с такой уверенностью предрешающему его путь, — не уйдет и станет настоящим человеком.

Через несколько дней Накатников уезжал в Москву. На вокзальном перроне было холодно, дул резкий ветер. Мать мерзла в жиденьком ватничке. Как и при встрече, она часто мигала и смахивала слезы. Мишка не выдержал.

Обняв и поцеловав мать в последний раз, он сказал:

— Не плачь, мама! Не слушай никого! Не пропадет твой Мишка!

И вскочил на подножку двинувшегося вагона. Повидимому, в словах его было много силы и искренности. Последнее, что он видел, было растроганное, верящее лицо матери. Она тороп-



Болшевики, вырабатывающие лучший спортивный инвентарь, — лучшие спортсмены



ливо шла за поездом и махала рукой до тех пор, пока последний вагон не скрылся из виду.

Вот все это и вспомнилось теперь Накатникову. Пыл его остывал.

Подходя к Москве, Накатников уже жалел о собственной поспешности. Но гордость и самолюбие возмущались при всякой мысли об отступлении.

На площади у Ржевского вокзала он долго стоял, прислушиваясь к уличному шуму. Бежали трамваи и авто. Спешили люди, каждый со своим делом. Среди суматошливого движения Накатников почувствовал себя еще более заброшенным и никому не нужным. Он побрел потихоньку дальше и вышел на Лубянку.

Над главным подъездом огромного здания ОГПУ возвышались знакомые фигуры бронзовых красноармейцев в шлемах, с обнаженной мускулатурой. Накатников посмотрел на изображения и нахмурился. Минуту-другую он колебался, затем махнул рукой и вошел в комендатуру.

Погребинский в коммуне бывал часто, знал и выделял Накатникова. Он ценил в нем стремительность, прямоту, неистощимый интерес к делам коммуны. Частенько он одергивал не в меру порывистого парня, читал ему суровые нотации.

Накатников по-своему уважал Погребинского, дорожил его мнением, помнил каждое его слово. Сейчас, входя в комендатуру, он хотел только, чтобы Погребинский оказался в Москве.

Через пять минут парень сидел у Погребинского, в его служебном кабинете.

— Что случилось? Без увольнительной? — спросил Погребинский.

Он, кому большевики писали десятки писем, с кем просиживали ночами, кто водил их в театры, приучал читать книги, неутомимо, настойчиво, изо дня в день работал над пробуждением новых интересов, — он привык к тому, что любой из них в трудные минуты жизни спешил увидеть его. Не удивился он и посещению Накатникова.

— Из коммуны ухожу, — хмуро сказал Накатников. — Дашь десять рублей, уехать надо.

Эти десять рублей пришли ему в голову только сейчас, как повод для разговора. Все-таки не подумают, что с повинной пришел. И тотчас же поверил сам, что вся остановка за этими нужными ему десятью рублями.

— Дашь десятку, — убежденно повторил он. — Надоело.

И он лихо тряхнул волосами, подчеркивая этим жестом, что с коммуной у него покончены все счеты.

Слово за слово — Погребинский вытянул у него суть дела. Он не стал его ни разубеждать, ни уговаривать.

— Тебе с горы виднее, — как бы соглашаясь, сказал он. — Сам знаешь, насильно никого не держим. А на рабфаке, понятно, тебе учиться трудно. Тут голову надо. Но денег у меня сейчас нет. — Он вынул бумажник и убедительно потряс им. Накатников не мог усомниться в том, что бумажник был действительно пустой. — Подожди день-другой, тогда получишь и увидешь. А пока поживи хоть у меня. Ладно?

Накатников смотрел на чекиста и думал, что на рабфаке не так отзывались о голове и способностях Накатникова. Отсутствие у Погребинского десяти рублей было невероятным, но что можно возразить против фактов? Накатников был почти рад этому.

— Днем раньше, днем позже — не все ли тебе равно? Уехать всегда успеешь, — с намеренным равнодушием сказал Погребинский.

«В самом деле. Какая разница, — подумал Накатников. — Не уеду сегодня — уеду завтра».

— Ладно. Подожду твоей полочки.

Погребинский довольно ухмыльнулся:

— Ну, вот и хорошо.

У Погребинского Накатников прожил два дня. За эти два дня много часов провел Погребинский в разговорах с ним, и многое передумал Накатников. На третий день из коммуны к Накатникову приехал Косой, дружески предложил помириться. Накатников пожал руку приятеля, и они вместе отправились в коммуну.

Первое, что заметил Накатников по возвращении, — привезенные из Люблина станки продолжают лежать напротив прачечной несобранные, под открытым небом.

«Как же это можно при такой погоде!» обеспокоился Накатников. Погода действительно была плохая. Шел дождь, смешанный со снегом. Ноги вязли в грязи по щиколотку.

Не заходя в общежитие, Накатников пошел к Богословскому.

— С завтрашнего дня приступаем к подготовке станков к пуску, — сказал Богословский. — Электрооборудование, трансформаторы и моторы уже подысканы в Москве на утильном складе Рудметаллторга. На днях доставим в коммуну.

На другой день ребята перенесли разобранные станки в столярную мастерскую. Они раздобыли ведро керосина, тряпки, наждачную бумагу, рашпили, зубила, раздвижные ключи и, рассевшись полукругом, принялись скоблить, мыть, протирать ржавые детали. Самую мудрую, почетную и ответственную часть работы — сборку деталей — доверили Беспалову, Королеву, Румянцеву, Калдыбе, Умнову. Они ведь ездили за станками в Люблино, разбирали их и, стало быть, лучше всех знают процесс сборки. Но когда к пятерке присоединился Накатников — это было принято всеми как само собой разу-



меющееся. Этот парень знает толк в деле! «Сборщики», важно покуривая, ждали протертых деталей.

Первая шестерня, наконец, была готова. Накатников молча взял ее, осмотрел и, глубокомысленно посапывая, принялся прилаживать к суппорту токарного станка. К его удивлению, деталь к суппорту не подходила. Тогда, не смущаясь, он стал поочередно насаживать ее на все валы. Упрямая коническая шестерня не садилась ни на один вал и не хотела цепляться ни за какую другую шестерню. Это разозлило Накатникова. Он бросил шестерню и заорал:

— Верблюды, где у вас глаза? Деталь не подходит, потому что на ней грязь!..

Деталь пошла на дополнительную прочистку. Накатников начал прилаживать к суппорту трансмиссионный подшипник. Однако медный подшипник оказался еще упрямее шестерни, он не подходил к станку ни с какого боку. Накатников нервно хватался за третью, за четвертую деталь... Ему казалось, что у него выходит хуже всех, что над ним смеются. Он исподлобья оглядел своих товарищей. Все сидели, не глядя друг на друга, и спинами загоразживали свою работу. У Накатникова отлегло от сердца.

К обеду около каждой станины блестела груда вычищенных деталей, над ними беспрерывно склонялись всклокоченные головы, мелькали грязные руки, на полу в керосиновой луже валялись жирные черные тряпки.

Теперь сборку производила не пятерка, а все, кто был в столярной. Раздавались остроты и добродушная ругань:

— Не сюда! Не сюда пихаешь!.. Возьми — примерь!..

— Без тебя знаю!

— Отдай гайку, а то стукну!..

— На вот эту надень, авось — налезет!

— Чор-рт! Когда разбирали, в этой штуке дырка была, а теперь нету...

— Заросла, что ли?

Наступил обеденный перерыв. Из столярной никто не шел в столовую. «А пообедать-то ребятам следует», подумал Сергей Петрович и решил сходить в столярную. На улице он столкнулся с Умновым:

— Ну что, как дела?..

— Скандал! Переругались все! Лучше бы позвать со стороны слесаря!

— Вот еще выдумал: слесаря! А сами-то что? — возразил Богословский с напускным равнодушием, но ускорил шаг. Очевидно, у ребят сборка не ладилась.

Открыв дверь мастерской, он сразу увидел, что ошибся. Возбужденно вытянув шею, разинув рты, ребята окружи-

ли плотным кольцом токарный станок. Они жадно следили за движениями Накатникова. Тот стоял, широко расставив ноги, и вертел ручку суппорта. Ручка шаталась и скрипела, но суппорт послушно и плавно двигался вдоль станины. Лицо Накатникова сияло. Завидев Сергея Петровича, он выпустил ручку и выпрямился.

— Ну, как дела? — спросил Сергей Петрович.

Накатников потупился с уверенной скромностью победителя.

Он мог бы, конечно, сказать, что вот он уже собрал станок, хотя и не ездил в Люблино, а те, кто ездил, возятся до сих пор, и он же — Накатников — помогает им. Но не сказал этого. Он ответил просто:

— Ничего. Двигаются.

Недолгий перерыв в учебе на рабфаке Накатников наверстал быстро.



## «ПОЛИТИКИ»

Осенью у ребят пропала всякая охота к вечерним прогулкам вокруг Болшева. Под хмурым небом речка Клязьма потускнела, берега ее заболотились от частых дождей. В лесу пахло гниющей листвой, сыростью. Голые вершины осинника и берез качались на ветру.

Вечера после ужина большевцы проводили в общежитии. Часы перед сном бежали незаметно. Бренчали гитары и балайки музыкантов. Кое-кто чистил одежду, пришивал недостающие пуговицы. Рассказчики забавляли слушателей воспоминаниями о былых воровских похождениях, неизменно представляя себя храбрыми, предприимчивыми, а ночных сторожей и милиционеров — доверчивыми простофилями. За последнее время вместо такой похвальбы все чаще слышался шумный обмен впечатлениями о событиях истекшего рабочего дня в мастерских. Здесь также представлялся широкий простор для полета фантазии.

— В три минуты лошадь подковал! — хвастал Умнов. — Теперь любому кузнецу нос утру!

— Убил муху! — отвечал презрительно Королев. — Ты вот попробуй, голуба, четырехпудовую гирию одной рукой выжать.

Накатников сидел обычно в дальнем конце спальни за учебниками. Изредка, в тех только случаях, когда хвастовство друзей нарушало допустимые границы, он вставлял язвительную фразу. На этот раз он дал короткую справку:

— Таких гирий не бывает.

Общежитие разразилось хохотом:

— Перехватил, Королев! Скости немного!

Допоздна не засиживались. Утомленные работой мускулы требовали отдыха. Станки, привезенные недавно в коммуны с Люблинского деревообделочного завода, прибавили забот. Парни начинали позевывать, озираться на кровати. Часам к двенадцати все укладывались. Тогда в общежитие осторожно заходил Мелихов. Стоя посреди комнаты, он слушал ровное дыхание парней, смотрел, как разметались они в глубоком

сне. Подчиняясь давнишней привычке, которая сложилась у Мелихова еще в детском доме, когда ему приходилось опекать малолетних воспитанников, он подходил неслышно к ближайшей койке и поправлял сползшее одеяло. Затем он пытался к двери, приостанавливался там, окидывал последним взглядом спальню и, потушив на полочке у входа забытую лампу «Молнию», удалялся.

Но бывали порой и очень тяжелые вечера. Словно приступ болезни охватывал вдруг болшевец. Ничья рука не прикасалась к музыкальным инструментам, и они сиротливо висели на стенах. Молчали самые заядлые балагуры. Парни лежали одетыми на смятых постелях, нещадно курили. Серые, шинельного сукна одеяла, синеватая штукатурка на потолке, столы, табуретки — вся знакомая обстановка спальни казалась им в такие минуты ненавистной. В камере в подобные часы, вероятно, ругали бы надзирателей, режим, и это всем бы нравилось, развлекало бы всех. А здесь кого ругать? Погребинского, Мелихова, Богословского? Или дисциплину, конфликтную комиссию? Чепуха! Никто слушать не будет, язык ни у кого не повернется. Ведь законы здесь приняты ими самими. Предложения воспитателей утверждаются общими собраниями: «Тебе не нравится устав коммуны? Можешь идти на все четыре стороны. Воля! Удачная кража, дымный разгул...» Но тут воображение рисовало и другое: проплеванный шалман, вечный страх тюрьмы, отравляющий веселье убогих пирушек, пробуждения в милиции, больная с похмелья голова, жалкое отпирательство на допросах... Накипало непонятное раздражение на себя, на друзей.

Подмывает Беспалова встать с койки, ударить кулаком Петьку Красавчика по лицу. За что? Так. Противно глядеть на эти бездумные, едва мерцающие глаза. За то ударить, что подбривает Петька черные брови, красит идиотские губы и весь лоснится от пошлейшего форса. Пришел он в коммуну недавно. Успел уже со всеми перезнакомиться, всем дарит масляные улыбочки, порой отводит кого-нибудь в сторонку, что-то шепчет.

«И зачем таких гадючек пускают сюда?» думает Беспалов.

Но подниматься Беспалову неохота, и он ограничивается неопределенным вопросом, адресованным неизвестно кому:

— А дальше что?

— Дальше мастером будешь, — подхватывает ехидно Петька. — Гляди, все лежат мрачные, а Умнов веселый: мне, дескать, что — я своего добился, мастерство знаю.

— Я тоже мастер... Не хуже Умнова, — вяло возражает Беспалов.

Но и от хвастовства ему не становится веселее.



— На углу Сретенки новый ресторан открылся, — сообщил для чего-то Петька. — Цыганский хор, кавказская кухня.

— И поеду! — сказал вдруг Беспалов.

— Как раз на углу, против него, — продолжал Красавчик, — добавочный милицейский пост.

— Не испугаешь! — кричал уже Беспалов. — Встану и пойду. Кто мне запретит?

Он действительно поднялся с кровати, принялся обуваться.

Все лениво и молча следили, чем кончится его затея. Лишь Красавчик отсоветовал:

— Очень далеко, Беспалов. Поближе бы где поискать...

Но Беспалов уже топал каблуками, вгоняя ноги в узкие сапоги. Он решительно зашагал к двери. На самом пороге неожиданно припал на левую ногу, остановился и скорчил гримасу:

— Опять колет!

— Так и знал — струсит, — уронил Красавчик и отвернулся к стене.

— Выдра! — завопил Беспалов. — У меня гвоздь из каблука вылез и второй день пятку колет. Я тебе покажу сейчас! Ты бы с таким гвоздем походил!..

Он сел на кровать, разулся, пошарил в сапоге рукой. Потом долго смотрел в раструб голенища. Над Беспаловым посмеялись и забыли про него. Насмешники выбрали новую мишень — Умнова. Начал издеваться все тот же Красавчик, заметив как бы между прочим:

— Не понимаю, отчего Беспалов охромел, вот если бы Умнов — тогда было бы понятно.

— А что случилось? — заинтересовались парни.

— Да ему Филипп Михайлович ноги давно обещал переломать.

Ни для кого не было секретом, что Умнов ухаживал за его дочкой.

— Верно, Умнов, набьет тебе папашка шишек!

Начиналось одно из тех беспощадных «добирательств», которые нередко являлись разрядкой накопленного беспредметного раздражения и злобы. «Добирательство» могло длиться целый вечер, могло кончиться дракой. Всесторонне оценивали качества возлюбленной Умнова, изображали в лицах, как происходят между ними свидания. Умнов отмалчивался, однако терпенье у него иссякало. Беспалов уже прикидывал — чью сторону принять, когда разгорится побоище.

Развязке помешал Мелихов. Он вошел не один. За ним шли два паренька; судя по внешности — московские, не из блатных.

Как и год тому назад, когда Федор Григорьевич представлял ребятам привезенных мастеров — дядю Павла и дядю Ан-

дрей, — он сделал рукой тот же широкий жест, сопроводив его почти теми же словами:

— Вот, приехали. Рекомендую: комсомольцы Калинин и Галанов.

Мелихов ушел, не объяснив цели приезда гостей.

Спальня безмолвствовала. Никто и вида не подал, что заинтересован с какой-либо стороны появлением комсомольцев, Даже любопытства не отразил ничей взгляд. Беспалов демонстративно повернулся спиной к приезжим и возобновил исследование внутренности сапога, опрокинув его над головой вниз голенищем.

— Что это у тебя, дружище, подзорная труба? — спросил один из приезжих, как выяснилось потом — Калинин.

Маленький, со вздернутым носиком на веснушчатом лице, он выражал видом своим постоянную готовность что-то суетливо разузнавать, советовать, чем-нибудь распорядиться. Он сразу повел себя точно хозяин:

— Галанов, ты чего, брат, стоишь у порога? Ты садись, нечего приглашения ждать.

Спутник его — рослый, в пальто с воротником и в громоздкой шапке — медлительно прошел к столу, сел и близоруко прищурился.

— Так чего ты, друг, через сапог рассматриваешь? — снова прицепился Калинин к Беспалову.

— Не видишь? Очки надень! — огрызнулся Беспалов.

— Я очков не ношу. В очках Галанов ходит. Чего, Галанов, очки не надел?

— Дужка надломилась, — ответил Галанов глубоким басом.

Однако слазил в карман, достал очки в громадном старомодном футляре, подышал на них, отдувая пухлые губы, протер, нацепил. Все это делал он солидно и медленно.

— Теперь видишь? — осведомился Калинин.

— Вижу, — подтвердил Галанов.

Помолчав, он серьезно добавил:

— Этот парень, должно быть, звезды считает.

На дальней койке послышался чей-то сдержанный смешок. «Погоди, сейчас отлакируют тебя, — подумал Умнов. — Что же никто не начнет?» удивлялся он.

Будто в ответ на его призыв вскочил Дима Смирнов. В белье и босиком он резво приплясывал на койке и кричал звонким голосом Калининну:

— Языкаст! А на велосипеде умеешь ездить? Небось, не умеешь? Ложись у нас спать, мы научим!

— Дорогой! — радостно воскликнул Калинин. — Я ученый! Как мне не знать!.. Ляжет в детском доме юноша вроде тебя спать, а молодцы, что постарше, нарежут бумаги, рассуют



ему между пальцами на ногах и подпалят. Вот он и корчится.

— Грамотный, слов нет, — вмешался иронически Чума. — А ну-ка, скажи, много ли у тебя волос на голове?

— На двадцать два волоса больше, чем у тебя! Посчитай, если не веришь! — отпарировал Калинин.

— Ловко! Выходит, шапкой-то не сшибешь! — не удержался от похвалы Накатников.

Он уважал находчивость и острословие, от кого бы они ни исходили.

К приезжим подошел танцующей походкой Красавчик.

— Не в этом дело, — ласково сказал он. — Вы бросьте с ними... Лучше давайте я вас научу, как стакан к потолку приморозить.

— Не трудитесь, — остановил его Калинин.

И объяснил, каким образом простак, желающий посмотреть этот фокус, оказывается облитым водой.

И ничем не удавалось его удивить или сконфузить. Он угадывал грубоватые шутки, которыми пытались одурачить его. Он вдвойне отвечал на любую острогу, знал массу поговорок, ходячих изречений, юмористических стихов.

Галанов невозмутимо наблюдал состязание своего приятеля с ватагой парней. Лишь по тому, как внимательно слушал он все, что говорилось кругом, можно было догадаться, что исход этого неравного поединка интересовал его.

Выждав момент, он пробасил:

— А вот я знаю один физический опыт с тем же стаканом воды. Похитрей будет, чем ваши фокусы!

Большевы заинтересовались. Они столпились вокруг этого малоразговорчивого детины. Галанов прикрыл стакан листом бумаги, крепко придавил его ладонью, быстро перевернул стакан, взял за донышко, и бумага не падала, вода не проливалась.

— Давление воздуха, — объяснил Накатников спокойно.

Галанов быстро повернулся к нему и спросил, удивив зрителей неожиданной живостью:

— Откуда знаешь?

— Много нам их показывали. На рабфаке учусь, — сказал Накатников.

— Он у нас студент, — похвастался миролюбиво Дима Смирнов.

Отношения как будто налаживались.

Калинин прошелся по комнате. Его внимание привлекли развешенные на стенах музыкальные инструменты.

— Ба, да у вас тут целый оркестр! — Он щипнул басовую струну гитары и слушал, как замирающе рокотала густая вол-

на звука. — Страсть, люблю музыку. Жаль, не умею. Кто поиграет?

Тихий, мечтательный Костя Карелин взял мандолину и, сядя на табурет, смущенно вполголоса сообщил:

— Ноты еще плохо знаю. Так что...

Он заиграл какой-то старинный вальс.

Накатников стоял, прислонясь к стене, заложив руки за спину, и не спускал поблескивающего, несколько угрюмого взгляда с комсомольцев. «Себе на уме парни», думал он.

Резкий, сухой треск привлек его внимание. Музыка смолкла.

— Что у тебя там? — спросил Румянцев, приподнимаясь на локте.

— Струны плохи... Сразу две лопнули, — сообщил огорченно Карелин. — И запасных нет — все вышли. Давно бы нужно из Москвы привезти.

Маленький комсомолец встрепенулся:

— Нет струн — обойдемся без струн. Может, спляшем?.. Есть ведь плясуны. Давай! Кто со мной!

Ему не ответили.

— Довольно, Миша, на сегодня, — вмешался Галанов. — Пойдем спать — и хозяевам покой дадим.

Он сказал это таким тоном, что болшевики поняли: есть у комсомольцев некое задание, и оно отчасти выполнено, а остальное отложено до другого раза.

«Темнят что-то», решили ребята.

Гости пожалы руки ближайшим и направились к выходу.

— Эй, — неожиданно позвал Накатников, — погодите-ка минуточку!

Он догнал комсомольцев у самой двери. В коммуне знали резкую прямоту его характера. «Сейчас он их прояснить будет», подумал Румянцев и не ошибся.

— Вы зачем, собственно, приезжали-то? — громко спросил Накатников.

— А посмотреть, — ответил Калинин так быстро, словно давно был готов к такому вопросу. — Нам не раз в ГПУ говорили: «Интересный в коммуне народ, не худо бы вам побывать». «Давай, Женя, съездим», сказал я Галанову. Ну и поехали!.. — Калинин поднял невинные глаза на Накатникова. — А вы разве имеете что-нибудь против?

— Нет, что же, — хмуро ответил Накатников, отходя на прежнее место к стене.

— Спите, други, — пожелал Калинин и для чего-то добавил. — Мы тут в соседнем флигельке заночуем.

После ухода гостей в спальне долго стояла тишина. Первым поделился своими впечатлениями Умнов.



— Рукастые парни, — сказал он о комсомольцах, — если заняться с ними — толк из них выйдет.

— А вот зачем приехали? — многозначительно вставил Румянцев.

Красавчик, лениво раздеваясь на ночь, процедил:

— Они — доктора, вроде нашего Богословского. Зубы приехали заговаривать. «Политики». Просились мои кулаки об их скулы почесаться.

Румянцев вдруг соскочил с койки. Он и сам не отдавал себе отчета в том, что так взбесило его в словах Красавчика.

— Ты кто такой, откуда, цыганский барон! — кричал он, подбежав к Петьке. — Ты смотри с кулаками-то!

Красавчик снимал через голову гимнастерку, не видя Румянцева, а когда снял — попятился, защищая лицо руками:

— Опился, что ли? Уйди, говорю. Балда!..

— Закрывайся одеялом и не дыши! Дыхнешь раз — при всех говорю: изувечу.

— Дышать нельзя и не дышать нельзя: кругом смерть, — пытался отшутиться Красавчик, но послушался и лег.

Накатников молча взял Румянцева под руку и увел в коридор. Через несколько минут они вызвали туда же Карелина и о чем-то долго шептались.

Ночью комсомольцев разбудил осторожный стук в окно. На крыльце кто-то переступал с ноги на ногу, было слышно поскрипывание ступенек и глухой, сдержанный говор.

— Это они, Миша, — определил сразу Галанов. — Вот так фокусы... Дня не дождались...

— Одеваться, что ли? — раздумывал Калинин.

— Обязательно. Нехорошо расхристанным показываться.

Стук повторился более настойчиво. Галанов пошел отпирать. Возвратился он, чиркая на ходу спичками, сопровождаемый тремя болшевецами. Они были в шинелях и буденновках...

— Где тут у вас лампа? — спросил один, в котором при неверном освещении Калинин узнал Накатникова.

Зажгли лампу. Двое других были Карелин и Румянцев.

Карелин тихо говорил:

— В Москве, на Столешниковом переулке, есть небольшой такой музыкальный магазинчик. Там иногда бывают заграничные струны. Купили бы мне. Деньги у меня есть, заработал.

— Хорошо, куплю, — пообещал Галанов.

— Как вы их переправите сюда? — осведомился деловито Накатников. — В Москве-то мы не часто бываем.

— Может, еще собираетесь к нам заглянуть? — спросил Румянцев, приближаясь к Галанову. — Может, сами и привезете?

Наступило короткое молчание. Ребята ждали ответа, и в требовательном ожидании их чувствовалось нечто гораздо большее, нежели забота о заграничных струнах. Калинин раздумывал, как лучше ответить. Его опередил Галанов:

— Вот что, ребята! Я не знаю, за кого вы нас приняли и зачем пришли... Но могу вам прямо сказать: цель нашего приезда одна и очень простая. Вот вы говорите — в Москву вас пускают с оглядкой. Не Москвы жалко, а за вас опасаются. Знакомые ваши там... Известно, какой народ. К кому пойдешь? Вот мы и хотим с вами дружбу вести... Заглядывайте к нам. На Сретенке мы с Мишей живем. В клуб ходим, погуляем. Вот и вся наша цель. Струны мы вам припасем... Поищем хороших.

Галанов уже не выглядел больше меланхолическим простаком, каким казался в спальне.

— Не поедем мы к вам, — ворчливо сказал Румянцев.

— Это почему?..

— Какой вам с нами интерес...

Калинин засмеялся:

— Мы-то вот к вам приехали — значит, нам интересно... Выходит, это у вас интереса нет.

— Нет, нам интересно, — вежливо возразил Накатников.

— На том и помиримся, — улыбнулся Галанов. — Интересно — так приезжайте, будем ждать.

Нельзя, однако, сказать, что расстались они закадычными друзьями.

Через две недели Галанов и Калинин снова ехали в Болшево. Установилась зима. День выдался мягкий, теплый, снег отсырел. По дороге со станции Калинин отстал немного, слепил крепкий снежок и предательски ударил товарища в спину. Галанов оборвал песню, пустился вдогонку за обидчиком. Настиг он его у самой коммуны, возле опушки леса, и подмял в сугроб. Он по-медвежьки ворчал над ним, сыпал за ворот снег.

После работы в мастерских ребята очищали дорожку от снега. Новые деревянные лопаты отсвечивали в их руках желтизной. Ослепительно белые комья летели в чашу елок. Они заметили комсомольцев. Некоторые приостановили работу.

— Политики наши балуются, — сказал Уминов.

Беспалов — знаток рукопашной — обеспокоился за судьбу Калинина:

— Коротышке не сдобровать.

Не утерпев, он крикнул ему:

— За ноги, за ноги! Эх, не может! — и Беспалов, бросив лопату, устремился на помощь.

За ним последовало еще несколько человек. Теперь Галанов барахтался в снегу, поверженный общими усилиями болшевцев.

— Пустите, дьяволы, очки у меня!



— В самом деле — очки раздавят, — сказал Накатников.

— Эй, вы там! Это что за драка — семеро на одного? Держись! — ободрил он Галанова. — Сейчас мы им всыпем.

Бой разгорался. Калинин вырвался из общей свалки:

— Это неорганизовано! Лупят, кого попало; не разберешь — кто свой, кто чужой. Давайте так: на два фронта. Одним командует товарищ Накатников, другим вот хоть бы вы... Ваша фамилия — Беспалов?

В команду к Беспалову попал и Галанов. Он ринулся на Накатникова с криком:

— Бей эстонскую буржуазию!

— Стой! — приостановился вдруг Накатников и, выронив заготовленный снежок, поднял руку:

— Почему — эстонскую? Я всякую ненавижу.

— Ты разве не читал сегодняшнюю газету? — удивился Галанов.

— Была охота.

— Здо-орово, — протянул комсомолец. — Разве у вас на рабфаке газет не читают?

— Что там стряслось? — заинтересовался Гуляев.

— А вот послушайте! — Галанов вытащил из кармана газету. — Эх, дьявол, размокла.

— Сами-то все перемокли! Да хватит возиться. Идем в спальню!

В комнате Галанов, поблескивая очками, говорил:

— Эстония, видите ли, очень маленькая страна. Всего-то населения в ней не больше, чем в Москве. Но буржуазия там такая же, как и везде. По приговору военно-полевого суда там расстреляно двадцать человек рабочих-революционеров и назначено к расстрелу еще семь...

— Да как они терпят? — вырвалось у Гуляева.

Даже Красавчик возмутился:

— Душа из них винтом! Они, шкуры, всегда так: спают нашего брата и сейчас же в ящик играть.

— Не путай, — съязвил Накатников. — Ты — урка, а те — революционеры и коммунисты...

— А я что — Ротшильд? — огрызнулся Красавчик.

На них зашипели:

— Дайте послушать!

— Да чего рассказывать, — сказал Галанов. — Читайте сами. В газете все есть... Вот хоть ты почитай. Для всех... — Он сунул газету подвернувшемуся Смирнову, тот уклонился:

— Я не псаломщик.

— Э, какой несговорчивый! Ладно — сам буду псаломщиком.

Галанов при общем молчании начал читать газету.

«По рассказам очевидцев горсточка повстанцев проявила необычайный героизм. Трое повстанцев напали на помещение полицейского резерва, где находились двадцать пять полицейских, и, ворвавшись внутрь, бросили зажигательную бомбу, которая, однако, не взорвалась, так как попала на мягкую койку...»

— А, черт, мазло! — не утерпел опять Гуляев.

Накатников услышал за спиной возбужденный шопот Румянцева:

— Смелый народ. Ведь знали, на что шли. Я раз приговора в тюрьме ожидал. Знаю — больше полугода не получу, а все равно страшно.

Разговор затянулся; ночевали комсомольцы, как и в первый раз, во флигеле. Утром большевцы вышли проводить их до станции на лыжах.

Они шли, вспугивая длиннохвостых сорок. Лесное эхо многозвучно повторяло их громкие голоса.

Вдруг двое ребят, точно сговорившись, одновременно запели:

Жулик спит, а я томлюсь,  
Разбудить его боюсь.

— Ах, мама!

— Что, дочка?

— Я жулика люблю.

Жулик станет воровать,

Я не буду ночку спать.

— Ах, мама!

— А?

— На вот,

Я жулика люблю!

— Это блатная, — сказал один из песенников, — понравилась?

— Мотив-то неплохой, — ответил задумчиво Галанов, — да слова дрянь. Придем на станцию, я скажу вам слова хороших песен, а вы запишите. Как-нибудь споем вместе.

Перед тем как сесть в вагон, Калинин вспомнил:

— Женья! Струны-то мы с тобой дома забыли. Придется Карелину к нам в Москву наведаться. Хороши больно струны-то...

Возвратившихся ребят Красавчик встретил смешком:

— Что, проводили? Небось, партмаксимум выгоняют за то, что трепаться сюда ездят!

— Потом он обнял Беспалова за плечи, отвел его:

— Буржуи... Революция... Выпить бы сегодня, Беспалыч! Беспалов тревожно оглянулся:

— Где?

— Тут недалечко.

— Да говори, где? — повторил Беспалов.



Петька игриво погрозил пальцем:

— Я пошутил, дурашка.

Он зашагал к обувной, распевая:

Я — вор-чародей, сын преступного мира.

Я — вор-чародей...

Накатников, придя со станции, направился к Богословскому.  
— Слушайте, Сергей Петрович, — хмуро говорил он, при-  
слонясь по своей любимой привычке к стене, — нехорошо: на  
всю коммуны — ни одной газеты...

— Почему — на всю? Я выписываю, Мелихов...

— А ребята — без газет...

— А что — хотят?

— Некоторые хотят, — уклончиво сказал Накатников.

Он не мог бы сказать, кто именно.

— А не хотят теперь — потом привыкнут, — добавил он.

С первого декабря выписали на общежитие пять газет, но  
читали их редко и преимущественно вслух.

# КОММУНА ИЛИ ШАЛМАН?

**О**днажды Карелин сказал Накатникову:  
— Завтра я еду в Москву за нотами. Музыкальному кружку надоело играть одно и то же.

— Где возьмешь?

— Да вот — не знаю. Думаю, может, у наших политиков? Они безусловно достанут. Поедем со мной? Румянцева прихватим. Ведь они звали!..

Накатников не настолько увлекался музыкой, чтобы из-за нот ехать в город, но комсомольцев повидать хотел. Он решил сопровождать Карелина. На следующий день они получили отпуск и под вечер разыскивали в Москве на Сретенке Галанова и Калинина. Друзья жили вместе. Дверь болшевым открыл Калинин. Он встретил их, не выражая особого восторга, словно считал это посещение делом обычным.

— А, болшевские, — сказал он, — пожалуйте! — и пошел вглубь просторной комнаты.

Галанов слегка кивнул вошедшим. Калинин с запальчивостью кричал:

— Ты не имеешь права так передергивать! Это уже не игра!

— Ты чудак! — возражал Галанов. — Говори прямо — запутался... Сколько раз бит?

Румянцев выразительно посмотрел на Накатникова. Накатников пожал неопределенно плечами. «Не понимаю, чего тут они не поделили». Он осмотрел комнату. Сизые волны табачного дыма колебались от пола до потолка. На столе в беспорядке лежали развернутые книги, смятые газеты.

Калинин безнадежно махнул рукой и повернулся к гостям.

— Посудите сами! Играли мы с ним в «викторину». Задает он мне вопросик: «Могут ли немецкие коммунисты получить при выборах большинство голосов в рейхстаге?» Ответ я дал такой: «Могли бы при определенных условиях». А он передернул и говорит, будто я сказал, что можно получить власть мирным путем. Это безобразие! — закипятился Калинин снова. — Вот погоди, я тебе вопросик придумаю.





Выступление агитбригады. Злободневные песенки агитбригад  
распевает вся коммуна

«Стоило шуметь из-за этого», подумал Карелин.

— Ну, ладно, ладно, — успокаивал Галанов друга.

Калинин будто сейчас только понял, что перед ним — те самые большевские ребята, которых он так настойчиво зазывал в гости. Он засуетился, усаживая их на диван, угощал папиросами, затем вынул из стола нарядную коробочку, передал Карелину:

— Вот тебе струны! Самые лучшие!

— Струны нам Сергей Петрович привез. Хот бы где-нибудь достать хороших! Новых — для оркестра.

— Достанем и нот... Где бы их... — Калинин задумался. — Галанов, сегодня у нас в клубе вечер; двинем все туда, там и нот раздобудем. Верно? Давайте тогда, собирайтесь, — затормошил он большевцев, даже не ожидая их согласия.

Они пошли на Лубянку, в клуб ОГПУ. Дорогой Калинин говорил:

— Почему я так горячился? Дело в принципах, ребята... В убеждениях... Сами понимаете... Программа коммунистической партии, интересы рабочего класса для комсомольца — все!

Говорил он это так, словно между ним и большевцами не существовало никакой разницы, будто большевцы не были вчерашними жуликами и ворами.

И все-таки, как и тогда, в спальне, под звуки карелинской мандолины, Румянцев чувствовал — есть у комсомольцев какое-то превосходство, сближающее их друг с другом и отличающее от большевцев. Знаний, что ли, у них больше? Не в том дело: Накатников знает гораздо больше Румянцева, однако Румянцев чувствует себя с ним вполне свободно. Вот Калинин говорит об убеждениях, о программе коммунистической партии. А есть ли какие-нибудь убеждения у Румянцева? Задумывался ли он когда-нибудь над этим?

Скоро ему исполнится двадцать лет, а он и до сих пор не знает, зачем живет! Ищи фрайера, хватай, что плохо лежит, беги, если преследуют, отпирайся, когда уличают, скорее пропивай украденное, потому что могут поймать, — вот все, что знал Румянцев до сих пор, вот то, что заменяло ему убеждения и цель. Где-то люди работали, боролись, думали, но они-то и являлись «тютюми», «коровами», «ишаками», которых вор должен обкрадывать и презирать. А namного ли он переменялся в коммуне? Конечно, теперь он не крадет, он работает... Но разве не казалось ему всегда, что он как бы делает этим кому-то одолжение? «Хочешь, мол, чтобы я перестал воровать, так дай мне все».

Румянцев ужаснулся: «Был я паразитом, им и остался...» Да, вот в чем разница между такими, как Румянцев, и комсо-



мольцами. Вот идет с ними рядом Калинин, разговаривает, а сам, небось, думает: «Я комсомолец, я для всего рабочего класса стараюсь, себя не жалею, а вам своя шкура дороже всего».

В клубе во всю длину лестницы лежал нарядный ковер. Накатников дернул Румянцева за рукав и свирепо прошептал: — Снег на сапожищах, не видишь? Вон — у двери щетка лежит.

В главном зале клуба артисты лучших театров давали концерт. Много было пения, музыки, танцев. Небольшой узкогрудый человек, встряхивая длинными жидкими волосами, говорил монолог Фауста:

Мне станут ясны жизни тайны,  
И, сняв их вечную печать,  
Я буду истину вещать...

Румянцев насторожился. Ему хотелось скорее узнать, каким образом чтец достигнет ясного понимания жизни. Но через несколько минут декламатор горестно поник, развел руками:

Увы, мне не объять природы необъятной!

— Трепотня все, — раздраженно шепнул Румянцев Калинин.

Во время антракта зашли в фойе выпить чаю. Калинин объяснил:

— Старичок не тем ключом замок отпирал.

— А каким надо? — заинтересовался Накатников.

— Об этом за один присест не расскажешь. Давайте организуем в коммуне кружок политграмоты и поговорим. Согласны?

— Подумаем, — ответил за всех Накатников.

Возвращались на вокзал большевцы, молчаливые и раздраженные. В вагоне разговор тоже не клеился. На опушке большевского леса тихий Карелин вдруг бросил ноты, свернутые трубкой, решительно заявил:

— К чорту! Не нужны они мне!..

— Подними, — строго приказал Накатников. — Люди хлопотали из-за тебя, к начальнику клуба ходили, а ты бросаешь.

Румянцев ткнул рукой в небо.

— Звезду видал? — спросил он Накатникова.

— Ну — видал...

— Вот так и нам до настоящих людей далеко! Никаких кружков! Не пойду!

Накатников рассвирепел. Сухой и подвижной, он крутился перед приятелями, кричал на весь лес:

— Ага! Струсили, тяжело стало. В шалмане легче? Пить, воровать легче! Шалишь! И кружок будет, и ходить будешь. Подними, Карелин, ноты, еще раз говорю!

Карелин поднял.

Политический кружок, организованный комсомольцами, занимался всю зиму. Занятия не прекратились и весной, растянулись на лето. Много времени ушло на изучение программы и устава комсомола. Метод учебы избран был самый простой, можно сказать, кустарный. Садился перед ребятами Галанов или Калинин и читал вслух:

«Все комсомольцы должны помнить, что они являются будущими членами авангарда рабочего класса, Российской коммунистической партии, и готовиться к достойному выполнению этой великой и трудной обязанности...»

— Накатников, — спрашивал руководитель, — объясни, что такое авангард.

— Передовая и самая лучшая часть пролетариата.

— Не только пролетариата, — поправляли его, — авангард может быть и у буржуазии.

— Не может, — отрицал упрямо и ненавидяще Накатников. — Не может быть у буржуазии лучшей части. Она вся одинаковая, вся сволочь.

Хаос бытия начинал укладываться для Румянцева в некие определенные формы. Раньше делил он людей на счастливых и неудачников, верил в предопределение: живет человек богато, значит, повезло. Но кто узнает, в какие годы, каким путем судьба положила ему счастье и положила ли вообще? Надо захватывать удачу, пока не досталась она другому, ловить свой час. И вот люди торгуют, строят фабрики, грабят, убивают, просят милостыню, пашут землю, горбятся за станками. У каждого на роду — свое.

Теперь все выглядело по-иному. Оказывается, люди разделяются на классы. Все создается трудом, счастье людей в труде. Но кучка живоглотов превратила для большинства людей труд в кабалу. Нужно освободить мир от этих паразитов, любителей жить за чужой счет. Программа коммунистов и состоит в этом. Они поставили целью уничтожить капиталистов, устроить так, чтобы все на земле были сыты, одеты, обучены, счастливы. Тогда не будет нищих, не будет голодных, не будет воров... То, что сделано в СССР, будет сделано и во всем мире... Что же, это нравится Румянцеву, это правильно. Счастье — есть, но нужно завоевать счастье для всех, кто трудится.

В первое время на занятия кружка приходил и Беспалов. Частенько рядом с ним присаживался Петька Красавчик. Он отвлекал внимание соседей ужимками, усмешками. Больше других поддавался ему Беспалов.

Изобретательность Петьки по части срыва занятий была неиссякаема. Раздобыв где-то «Тарзана», он являлся с ним, растягивался во всю длину на скамейке и читал вслух.



— Перестань, Петька, мешаешь.

— Сейчас, только до точки...

Точка возникала на самой занимательной части страницы, когда герой оказывался в особенно интригующем положении. Красавчик прищурился:

— Может, до конца главы почитать?

Кое-кто слабо возражал. Большинство решительно высказывалось:

— Гони до конца.

Возле Красавчика всегда находились двое адъютантов. Старик, щуплый, развинченный малый, с узкой грудью, кривыми ногами, и красноносый Гага, здоровый, тихий детина. Из конфликтной комиссии он давно выбыл. Они послушно выполняли всяческие прихоти Красавчика.

— Гага, вычисти мне сапоги, — приказывал Красавчик.

— Мази, Петька, нет, — заискивающе говорил Гага.

— Старик, достань мази.

Старик послушно бежал раздобывать у ребят мазь. Чем покупалась такая покорность — большевцы не могли объяснить. Держался слух, что у Красавчика спрятан запасец кокаина, из которого он угощает Старика и Гагу. Слух подтверждался тем, что приятелей не раз видели осовелыми, с красными, точно у кроликов, глазами.

Однажды на очередное занятие кружка Красавчик пришел особенно развязным.

— Что, здесь в лягавые записи идет? — осведомился он. — Запишите меня под первым номером.

Петька ухарски поклонился Беспалову:

— Главному комсомолу комсомолычу!

С приходом Галанова и Калинина Петька переставал крикливо, вел себя тихо и даже делал вид, будто слушал беседу.

— Вот вы недавно были ворами, — говорил Галанов. — Теперь с этим покончили. Работаете, имете трудовой заработок... Кое-кто женился, обзаводится семьей... Это очень хорошо, товарищи... Но это не такая уж большая заслуга, как кажется кое-кому...

«Куда он гнет?» соображал Румянцев.

— Это вовсе не заслуга, товарищи, — продолжал Галанов. — Любой мещанин не ходит красть по квартирам... Однако каждый, вероятно, согласится, что хуже мещанина трудно что-нибудь найти...

«Это мы, что ли, выходит, мещане?» не понял Накатников. Он был готов обидеться.

А Галанов продолжал:

— Только тот, кто не погряз в мелких житейских делишках, для кого не является самым главным в мире своя шкура, свое

благополучие, для кого главное — интересы трудящихся и борьба за них, кто, как все честные рабочие, вместе со своим классом добивается новой, лучшей жизни для всех, — только тот настоящий человек.

И он говорил о поколениях революционеров, о партии большевиков, о Ленине и Сталине, героической работе большевиков во всех странах. И чем больше слушал его Румянцев, чем больше находил подтверждения своим мыслям, тем ярче чувствовал, что мало находиться в коммуне, а нужно, находясь в ней, быть не равнодушным обывателем, а борцом.

И все думали то же, что думал Румянцев. Галанов кончил и предложил обменяться мнениями. Ребята молчали. Слишком много поднималось мыслей, и трудно было одеть их в слова.

И тогда Красавчик шепнул на ухо Беспалову:

— Ну-ка, спроси, сколько судимостей позволяют иметь комсомольцу?

Беспалов покорно, не задумываясь, громко повторил этот вопрос.

Провокация Красавчика попала в цель.

Ребята притихли.

Давно уже среди них велись разговоры на тему о том, какую конечную цель преследует кружок.

— Изучим устав и программу, а дальше что?

— Чего тебе? Просветлятся мозги и ладно.

Накатников знающе объяснял:

— Организуется из желающих ячейка комсомольцев, как бывает на всяком производстве.

Накатников говорил правду: так бывает на каждом производстве. Условия же коммуны, особенный состав слушателей кружка требовали иного подхода к делу.

На вопрос Беспалова Галанов, ничего не подозревая, спокойно ответил:

— Член ВЛКСМ не имеет права ни на одну судимость.

И в тот же миг раздался голос Румянцева:

— Выходит, из нас — бывших воров — нельзя организовать ячейку?

Галанов потупился, смущенно протер очки. Калинин подтолкнул его локтем: «Эка, дернуло тебя». Но, с другой стороны, Галанов дал правильный ответ, не существовало никакого другого ответа!

— Тогда на кой же ляд вся эта волынка с кружком! — громко произнес Красавчик, точно именно ему больше всех нужна была ячейка.

Он немедленно покинул комнату. Вслед за ним удалились Гага и Старик. Беседа продолжалась, но болшевы не выказывали к ней прежнего интереса. Сидели они вялые, равнодуш-



ные, для того лишь, чтобы не обидеть комсомольцев своим уходом.

Вечером производилась генеральная уборка общежития. Воспитанники мыли полы, выносили на солнце кровати, матрацы. Румянцев ожесточенно колотил палкой по одеялу, развешанному на веревке.

— В ячейку захотел? А сколько судимостей? Четыре? Мало! Стажа нехватает. Меньше чем с десятком — не принимают.

Накатников, сидя на пне, ожесточенно курил:

— А ты рад?

— Рад! Очень рад! — приговаривал с ожесточенным злорадством Румянцев при каждом ударе палкой. — Не суй нос. Он у тебя длинный. Откусят. Воры! Марафетчики! Так вас! Поделом!

За соседней толстой березой Умнов шептал возбужденно Кра-савчику:

— Петька, ты знаешь, где вышить: сведи пожалуйста. Загу-ляю теперь.

— Ты ведь — комсомолец, — измывался Петька. — Продашь!

— Гад буду!

Через несколько дней встревоженные комсомольцы явились за советом к Погребинскому. Они рассказали о вопросе Беспалова, о том, какое огорчение вызвал среди болшевцев ответ Галанова. Пожаловались на плохое культурное обслуживание коммуны: газеты, правда, выписаны, но в библиотеке очень мало хорошей беллетристики. «Мать» Горького, например, отсутствует, а «Тарзан» — ходит по рукам.

— Одни несчастья! — весело воскликнул Погребинский. — Ожидал, что с достижениями приедете, а у вас — кругом беда!

— Есть и положительное, — хмуро сообщил Галанов, не понимая, что было веселого в их рассказе.

Галанов стал говорить о хорошей посещаемости кружка, за которую, впрочем, нельзя больше поручиться. Потом рассказал последнюю новость: ребята поймали в продуктовой кладовке крысу, удавили ее на сосне и сделали надпись на клочке бумаги: «Смерть расхитителям коммунского и государственного достояния».

Погребинский расхохотался, восхищенно повторял:

— Смерть, говоришь, смерть? Замечательно! Раньше бы они тоже эту крысу повесили бы, только написали бы иное: «Души лягавых», «Бей фрайеров» или что-нибудь в этом роде. А тут — пожалуйста: «Расхитителям коммунского достояния»... и даже «государственного»! Хорошо!

Он встал из-за большого письменного стола, прошелся по комнате и — уже серьезный — остановился рядом с комсомольцами:

— Так огорчились ребята? Значит, нужна им ячейка, хотя в нее. Радоваться надо, а вы носы повесили.

— Но ведь ячейку-то мы им дать все-таки не можем, — возразил Калинин.

— Это что за новость? — удивился Погребинский. — Что мы, пугливые тетушки, у которых руки дрожат при одном только слове «вор»?

Комсомольцы повеселели.

— Будет в коммуне ячейка, — твердо сказал Погребинский. — Я говорил уже в ЦК комсомола. Ведь многие болшевики хоть завтра могут быть «выпущены», заслуживают того, чтобы с них была снята судимость. Почему же они не могут иметь ячейку?

Самый факт создания у них ячейки будет таким ярким выражением доверия, таким мощным средством перевоспитания, что было бы странно, если бы мы не пошли на это. На днях Чаплин сам обещал приехать в коммуну. Так-то, други. Чем расстраиваться, вы обратите вот на что внимание. — Погребинский заговорил строже. — Найдутся среди болшевцев несознательные и прямые недоброжелатели, которые обязательно попробуют сорвать организацию ячейки. Вы думаете, случайно этот Красавчик юродствует? Нет ли за его спиной врага пострашнее? Беспалов-то снова запил? — неожиданно сказал он.

Комсомольцы удивились. Неужели он лучше их знает, что происходит в коммуне?

— Как запил?

— Очень просто, как запивают! Возвращайтесь-ка, друзья, в коммуну да помните, что я говорил. Организуйте покрепче вокруг себя активистов, подтягивайте отсталых.

Беспалов действительно запил. Он сидел на кровати, опустив плечи и голову, разбитый, расслабленный, будто у него размяк позвоночник.

Около пьяного возились Гуляев и Румянцев, пытались уложить его спать.

— Да замри ты, бусыга, стукну вот! — нервничал Румянцев. — Скоро комсомольцы приедут, а ты — хорош.

— Желая на занятие, — мычал Беспалов. — Желая с комсомолом говорить!..

На шумок постепенно собралась большая группа ребят. Одни осуждали пьяного, другие завидовали ему: «Наклюкался? Узнать бы — где!» И злорадствовали, что пьяным оказался один из кружковцев — тех самых, что организовали чтение газет, выпустили стенновку, в которой досталось многим неряхам в быту и лодырям в мастерских. «Подумаешь — отыскались учителя».



«Политики» действительно мало-помалу становились во главе коммунских организаций. Это вызывало недовольство остальных, но с авторитетом кружковцев, с их внутренней спайкой, единством интересов не считаться было нельзя. Тем более было приятно всем недовольным, что пьяным оказался Беспалов.

— Не меньше двух бутылок комсомолец-то вылакал.

— Ему на старые дрожжи хватило и одной.

В комнате, где занимался обычно кружок, одиноко сидел Дима Смирнов.

— Где остальные ребята? — спросил Галанов.

— Не знаю, — смутился Дима.

— Может, в лес гулять ушли?

— Нет.

— Так где же? У нас важная новость.

— Сейчас придут.

Расстроенные, смущенные ребята сходились один за другим. Где-то вдалеке грохотал гром. Порывистый ветер хлопал ставнями, открытыми рамами, перелистывал лежащие на столе журналы и шуршал газетами.

— Ребята! — торжественно начал Галанов. — Погребинский сказал, что нам разрешат организовать ячейку.

Он ожидал шумного выражения радости, возбуждения, восклицаний. Но все молчали.

Румянцев угрюмо проворчал что-то. Галанову послышалось: «Нельзя нам разрешить...»

В чем дело? Что случилось с ребятами?

И именно в этот момент появился Беспалов. Оставшись один, он кое-как встал с кровати и с пьяным упорством поплелся на собрание кружка. Он покачивался в дверях между косяками, пытался засучить рукава, бормотал ругательства:

— Изобью! Подходи...

Накатников и Румянцев взяли его подмышки и поволокли. Он упирался, кричал, грозился.

Галанов смотрел на эту отвратительную возню с пьяным и тревожно думал: «Чорт знает что! Беспалов... Такой парень!..»

Теперь ему стало понятно настроение ребят. В коммуне действительно творится что-то неладное. Надо пойти к Мелихову и Богословскому, надо сегодня же поговорить с ними. Как жаль, что не приехал Калинин!

Вечером пьян был уже не один Беспалов, но и Старик и Гага. Они шлялись по лесу возле коммуны, орали песню:

— Я — вор-чародей, сын преступного мира.

Галанов поделился тревогой с Накатниковым:

— Ты, Миша, умный парень. Если дальше так пойдет, то не только с ячейкой — пожалуй, о коммуне бабушка надвое скажет. Надо меры принимать. Идем, потолкуем с Богословским.

Июльский вечер дышал после дождя теплой испариной, все-таки Накатников ежился, точно от холода.

— Меня агитировать не надо. — Он помолчал и хмуро сообщил: — Напились — беда не самая большая. Хуже факты есть: в сапожной заготовки пропали. Боюсь — не на выпивку ли их утащили наши ребята.

На совещании у Богословского пришли к заключению, что водку достают где-то поблизости от коммуны.

В Болшевском станционном поселке недавно поселился некто Иван Позолота. Работал он раньше в Сокольниках ломовым извозчиком. Жена его продавала на рынке старье. Дочь с благословения родителей погуливала. Кое-кто из воспитанников коммуны знал его потому, что в прошлом Позолота кроме всех других дел еще и покупал у воров краденое. Уж не перебрался ли он из Москвы для того, чтобы спокойнее заниматься темным ремеслом? Не он ли снабжает водкой ребят? Конечно, можно было выяснить это через уголовный розыск. Но хотелось привлечь к поискам и ликвидации шалмана самих большевцев. Накатников сидел на совещании злой, молчаливый. Румянцев и Гуляев что-то шептали ему. Он утвердительно кивал им головой.

В праздничный день в коммуне состоялось общее собрание. Открыл его Накатников и предоставил слово Мелихову.

— Здесь ли Беспалов? — спросил громко Федор Григорьевич.

Беспалов сидел в последнем ряду, вялый, с тяжелой головой.

— А Старик?

Ни Старика, ни Гаги на собрании не оказалось.

Мелихов продолжал:

— В коммуне появилась водка, кокаин. Скажи, Беспалов, откуда это? На какие деньги куплено?

Богословский напряженно теребил свою бороду.

«Как противоречиво идет все, — размышлял он. — Достали новое оборудование для мастерских, ребята начали учиться в кружках, мечтают о ячейке. Рядом с этим, где-то совсем под боком — вертеп. И вот борьба. Кто победит: шалман или коммуна? Сколько уже выдержано боев с врагами — и вот опять все сначала».

Мелихов говорил:

— Если в коммуну заглядывают ваши старые блатные приятели, снабжают вас водкой, — надо сейчас же заявить об этом. Мы их не тронем, мы только предложим им не заглядывать больше в пределы коммуны. Но по нашим сведениям напишутся где-то на стороне. Где именно?



Никто не проронил ни слова.

— Хорошо. Предположим, вы молчите не потому, что не хотите сказать, а потому, что не знаете. Допустим. Но всем хорошо известно, что напивается Беспалов. Ты приносил, Беспалов, водку в коммуну?

Тот приподнялся с места и стоял молча, тупо уставясь в противоположную стену.

— Что же ты молчишь?

Беспалов переступил с ноги на ногу:

— Я... не приносил в коммуну водки.

— Где же ты наливаешься?

Молчание.

— Ты ездил в Москву?

— Нет.

— Костинские мужички расщедрились на угощение?

— Нет.

— Куда же ты ходишь пить?

— Беспалов, пес чумазый! — воскликнул вдруг Новиков. — Чего же ты молчишь? Сколько ночей вместе коротали, а теперь против коммуны пошел!

Искреннее, простодушное восклицание, в котором все услышали боль за товарища, за коммуну, всколыхнуло людей. Перебивая друг друга, заговорили Гуляев, Умнов, Румянцев. К самому столу прорвался Калдыба. Он колотил себя в грудь, хрипел:

— Заготовки пропали, напильники пропали!.. Я работать не могу. У меня заработок не выходит. Я себе костюм приторговал, на что теперь куплю? Беспалов, я удавлю тебя рядом с крысой, на той же сосне.

— Я не крал, — тихо, но убедительно сказал Беспалов.

— Кто ворует?

Беспалов не сказал.

Коммунары первых наборов говорили о том, сколько труда положено ими на создание коммуны, о том, как дорога и нужна стала она каждому, призывали новичков беречь ее, как свой родной дом.

Богословский с большим удовлетворением слушал эти речи. Ему думалось: «Разве Гуляевы, Румянцевы, Умновы, Накатниковы были раньше такими, как теперь? Есть на кого опереться».

И, словно подтверждая его мысли, опять поднялся Мелихов, заговорил:

— Слышали, что говорят ваши же товарищи? Коммуну не раз пытались превратить в шалман — не вышло и не выйдет. Не позволим. Не дадим, сколько бы ни старались молодчики вроде вот этого, — закончил Мелихов, указывая на Красавчика.

Красавчик поднял голову, желая поглядеть, на кого указывает Медихов. Но глаза всех ребят были устремлены на него. Красавчик подумал, встал и ушел с собрания. В коммуне его больше не видели.

После собрания Сергей Петрович видел Гагу разговаривающим с Беспаловым. Ему слышалось, будто они улаживались куда-то пойти. В этот день к вечеру снова обнаружилось четверо пьяных.

Румянцеву было не по себе. Он допоздна бродил в окрестностях коммуны, шепча любимое стихотворение: «Будет буря! Мы поспорим, и поборемся мы с ней». Ночной ветерок легонько покачивал верхушки деревьев. У многолетней корявой березы, где так любили собираться болшевцы, Румянцев неожиданно встретил Беспалова. Он стоял без фуражки, прислонясь к стволу березы. Волосы его были растрепаны, рот широко открыт.

— Беспалов, — сказал Румянцев, — что ты делаешь? Воровство, пьянство... Никогда нам теперь не разрешат ячейку. Зачем ты делаешь это?

— Уйди! Комиссарить захотелось?

Непреодолимое желание ударить по тупому, пьяному лицу овладело Румянцевым. Он сдержался, переменял тон:

— Ты хоть со старыми товарищами пил бы, а то нашел каких-то... Позвал бы меня.

Мутные глаза Беспалова оживились пьяным лукавством:

— А пойдешь?

— Пойду! — обрадовался Румянцев. — Скажи только — куда.

Непokoрные пальцы Беспалова долго пытались сложиться в кукиш, но им не удалось это. Тогда Беспалов высунул широкий язык, скорчил гримасу и сказал:

— Видел? Поищи в другом лесу дураков, а здесь не растут.

Утром выяснилось, что из коммуны ушел Старик. Под изголовьем на аккуратно свернутой казенной одежде нашли записку: «Саскучаса по воли, прощай!».

Безграмотная строчка написана на куске оторванного от какой-то книги переплета. Она читалась, точно записка самоубийцы.

Румянцев долго вертел в руках маленький кусок картона. За спиной Румянцева возбужденно, скороговоркой кто-то чистил:

— Надо в Москву ехать. Я знаю, где Старик бывает. Мы найдем его, — говорил Дима Смирнов. С зимы, когда приехали комсомольцы, парень значительно вырос, возмужал.

— В Москву ехать? — переспросил Румянцев. — В этом ли дело! Сегодня Старика сманили, завтра Беспалова, а там еще кого... — Румянцев неуклюже замахнулся картонкой, точно



она была тяжела, как камень. — С барыгой надо кончать... Вот что!.. С большевской малиной. Теперь-то я уже разузнал все!..

Записка, плавно описав полукруг в воздухе, легла у ног Смирнова.

— Шалману, барыге голову свернуть... — Румянцев отошел, стараясь подавить возбуждение.

Смирнов нагнулся за картонкой. Поднимая ее, он произнес натужно, будто и на самом деле была она тяжелой:

— Не один ты знаешь.

Вбежал взволнованный Калдыба, крича:

— Доработались! Мало заготовок с напильниками — теперь мотор утащили!

— Какой мотор? Откуда? — зашумели ребята.

— Который для водокачки приготовили. В будке стоял. — Калдыба жалобно и негодуяще оглядел ребят. — Что же это, братцы, такое?

Накатников решительно шагнул к двери:

— Пошли!

— Куда?

— К барыге, к Позолоте!

Калдыба бросился за ним:

— Ты мне покажи только, где он! Я его своими руками... Мне ведь одеться надо, не то что в Москву — в Костино хоть не показывайся.

— Надо бы с Мелиховым посоветоваться, — предложил Гуляев.

Федор Григорьевич несколько охладил пыл ребят:

— То, что вы решили указать шалман, — это превосходно. Но мы не угрозыск и не милиция. Мы не имеем права самочинно его ликвидировать.

Решили вызвать агента уголовного розыска.

Плохо работалось в этот день большевцам в мастерских. Часто выбегали они посмотреть, высоко ли еще солнце, не появился ли кто из Москвы у Мелихова.

Но вот начали удлиняться тени деревьев. Прошло костинское стадо. Кое-где зажглись огоньки. Подошел из Москвы вечерний поезд.

Агенты уголовного розыска приехали в коммуны вечером. Приехал хорошо знакомый многим большевцам сотрудник МУУРа «Роман Романыч» с голубоглазым, чистеньким помощником. Агенты осмотрели мастерские, побывали в красном уголке и в клубе.

Роман Романович производил впечатление человека, всегда куда-то торопящегося. Немного сутулый, он шагал быстро и четко, папиросы из кожаного портсигара доставал и подносил

ко рту в несколько приемов, заученными движениями. И еще была у него привычка трогать все вещи вокруг себя. Товарищ его выглядел застенчиво, легко краснел; не верилось, что он работник угрозыска. Только маузер, оттопыривавший правый карман, свидетельствовал о хлопотном и опасном его труде.

До двух часов ночи агенты сидели на крыльце общежития с теми из коммунаров, которые вызвались помочь им ликвидировать притон.

Ребята с любопытством присматривались к Роману Романовичу. Каждый из них в прошлом немало слышал о нем, боялся его как опасного, сильного врага. А вот теперь человек этот сидит рядом с ними, сидит как с товарищами, прикуривает от папиросы Овчинникова, шутит и смеется в ответ на шутки ребят, а главное — у него и у коммунаров общее дело.

Подул предраассветный ветерок. Роман Романович застегнул плащ на все пуговицы и сошел с крыльца:

— Пора, идемте...

Агент зашагал к станции, наклоняясь вперед, сопротивляясь порывам ветра.

Румянцев отстал от товарищей. Глубоко засунув руки в рукава шинели, он старался одолеть внутреннюю дрожь. Впервые за все время своей жизни в коммуне он был так взволнован. Да и не только он. Конечно, урки всегда не любили «барышников». Но самим указывать, самим итти ловить! Это неслыханно! Этого никогда не было. Завтра весть об этом залетит в каждый шалман. Будут знать все — кто был, с кем, когда. И разве мало есть даже в коммуне таких, которые и сейчас пробуют исподтишка травить «политиков». То, что они делают сегодня, блат не простит никогда. И Румянцев даже подумал, не отказаться ли ему от участия в ликвидации притона. Потом он вспомнил о скором приезде Чаплина, подумал, что, вероятно, Чаплину расскажут, как ликвидировали притон, кто участвовал в этом, подумал, что прошлая жизнь умерла. Пусть! Пусть ненавидит тот, кто не порвал еще с шалманом. Пусть пытаются мстить — Румянцев не обыватель. Румянцев не должен, не будет бояться этого. Он догнал ребят и стал прислушиваться к словам Романа Романовича.

— Мы с вами разделимся на две группы: одни останутся в начале улицы, другие со мной пройдут к дому. Если кто вздумает побежать, чтобы не проскользнул... А ты? — Он взглянул на помощника. — Ты встанешь у окна. Условие: не суетиться и не бояться, «барыга» ничего не сделает, новой статьи не захочет. Значит, все будет, как нужно.

Напротив церкви, белеющей в ночи, Роман Романович закурил, разделил свой отряд и подошел к крыльцу лачуги. В руке его вспыхивал и замирал электрический фонарь.



Румянцев напряженно следил за агентом. Было слышно, как тот постучался. Вероятно, в правой его руке — маузер.

— Эй, отворяйте! — крикнул Роман Романович и, перегнувшись через перила, что-то неразборчиво сказал своему помощнику.

Тот подошел к окошку и, несколько раз звонко стукнув в стекло, отбежал на середину улицы.

— Эй, дядя! Открывай-ка! — дергал Роман Романович дверную ручку.

Дверь скригнула.

— Здравствуй, Маруся, — шутливо крикнул Роман Романович. — Где супруг-то?

— Нету, какого дьявола ночью? — сказала невидимая Румянцеву женщина.

Последовала глухая короткая возня. «Закрывает дверь, не хочет пускать», сообразил Румянцев.

— Что же это ты? — донесся издали шуточный голос агента. — Небось, старые знакомые. Что, не обрадовалась? Заходи, ребята.

Коммунары заполнили сени, комнатушку. Они принялись обшаривать все углы, заглянули даже в подполье.

— Есть! — донесся из чулана ликующий голос Калдыбы. — Есть напильники!

— А где заготовки?.. Сбыл уже, что ли? Вот я ему этими напильниками...

Но Роман Романович никому не позволил трогать «барыгу».

В коммуноу вернулись утром, когда затянутое облаками небо побелело, а на земле наметились от деревьев чуть видимые тени.

Румянцев сидел на табуретке с закрытыми глазами и, покачиваясь, устало слушал, как Гуляев шопотом, боясь разбудить спящих, рассказывал Диме Смирнову об аресте Позолоты.

Румянцев, не раздеваясь, прилег на койку. Ни о чем не хотелось думать, было приятно лежать, отдыхать, закинув руки.

И когда Осминкин, физкультурник коммуны, разбудил его, Румянцев не знал, сколько проспал — может быть, сутки.

— Вставай, — тормошил его Осминкин. — Из ЦК комсомола приехали. Вставай, слышишь?

Румянцев, приглаживая на бегу волосы, первый вбежал в просторную новую кузницу. Замирающий огонь у притушенных горнов бросал слабые темновиншевые отблески на синие от копоти стены.

Около левого горна Умнов разбивал ноздреватый шлак.

— Комсомольцы из Москвы здесь были? — спросил Румянцев.

Умнов приподнял покрасневшее лицо.

— Из Москвы, спрашиваю, были здесь?

— А! Да... В сапожную с ребятами ушли.

Но и в сапожной Чаплина уже не оказалось.

Раздосадованный Румянцев вышел из мастерской и соображал, куда теперь пойти. Не отстававший от него Осминкин с размаху ударил ногой воображаемый футбольный мяч: последние недели парень изучал датский прием.

Со стороны клуба, размахивая руками, бежал Накатников.

— Мишка! — окликнул его Румянцев.

Накатников точно споткнулся и круто повернул к мастерским.

— Будет! — восторженно кричал он. — Ячейка будет. Сейчас Чаплин сказал! В день МЮДа — открытие. Будет ячейка!

Накатников был без шапки. На возбужденном, сияющем его лице резкие черты смягчились. Он говорил без конца, смеялся. Румянцев чувствовал, как с него спадает тяжесть, которая беспричинно давила его с первых дней знакомства с комсомольцами. Никогда еще не было ему так легко, так хорошо.

В штрафной комнате Беспалов от нечего делать малевал на листе александрийской бумаги лозунг для клуба:

«Помните:

Не курите в комнате».



# ПОДАРОК

Эмиль Каминский жил в коммуне уже несколько месяцев. Работал в обувной мастерской закройщиком, сытно обедал, спал на чистых простынях — о такой жизни он мечтал в тюрьме. Но он не чувствовал себя счастливым. Чего-то недоставало — быть может, самого главного.

Он не думал о побеге — привык к коммуне, втянулся в ее быт, и, вероятно, оттого, что в прежней жизни приходилось поневоле бывать неряшливым, он любил хорошо одеться, щегольнуть чистым воротничком, нарядным галстуком. За это он и получил в коммуне прозвище «интеллигента».

Как-то еще в первые месяцы своей жизни в коммуне он зашел за рубашкой, отданной в стирку. Он никак не мог отыскать ее в стопках выстиранного белья, аккуратно разложенных на табуретках и подоконниках.

— Я тебе давал голубую! — кричал он тете Дуне, женщине, стиравшей воспитанникам коммуны.

Тетя Дуня большими красными руками перебирала белье, лениво помогая искать.

— Не кричи, — говорила она спокойно. — Зачем кричать? Найдется твоя рубаха.

Однако она не больно верила в это, потому что привыкла к постоянному крику ребят, старавшихся выбрать себе белье поновее, получше.

Дверь с улицы со звоном распахнулась. В облаке морозного пара в комнату ввалился Третьяков и тотчас же поднял крик.

— Ты мне чужих кальсон не суй! — орал он. — У меня с пуговицами внизу, а тут штрипки!..

— Это верно, что штрипки, — миролюбиво согласилась тетя Дуня, — только штрипки лучше.

Эмиль увидел чью-то полотняную косоворотку, отливающую легкой голубизной, и залюбовался ею.

«Чем я хуже? — подумал он. — Возьму я эту рубашку и конец. Ты мою, я твою. Коммуна!» поддержал он себя «идейными» соображениями.



«Парад актива». Шарж большевца Державина

«Писатель А. Толстой в коммуне». Шарж Державина





Осторожно вытащив косоворотку, он небрежным жестом кинул ее поверх остального своего белья.

— Нашел? — спросила его тетя Дуня.

— Да, — хмуро ответил Эмиль.

— Ну вот, а кричал сколько! Не пропадет твоя рубашка, — правоучительно сказала она.

Наутро Эмиль забежал по делу к Сергею Петровичу. Еще в передней он услышал негодующий голос тети Дуни.

— Мыло! — кричала она. — Разве можно стирать этим мылом! Это не мыло, а дрянь! Дрянь, а не мыло! Я прямо в глаза ему скажу!

Видимо, она говорила о завхозе.

«Кричит старуха, — подумал Эмиль, — знает: поорешь — смотришь, и добился своего! Так и надо, — одобрил он, — главное в деле — заинтересованность!»

Богословский сидел на диване рядом с Накатниковым и разговаривал с ним. Накатников поздоровался с Эмилем.

— Постой, постой, — внезапно сказал он, поднимаясь. — Ты где рубашку взял? Это же моя рубашка, — проговорил он с удивлением.

— Как бы не так, — презрительно ответил Эмиль.

Не будь здесь Сергея Петровича, он бы, вероятно, не стал отпираться. Но сознаваться при Богословском было стыдно.

— Слава тебе, господи, полгода ношу, — сказал Эмиль нарочито равнодушным голосом.

— Да это моя белая рубашка! — вскипел Накатников.

— Твоя белая, а это голубая, — веско ответил Эмиль.

— Так это голубизна от синьки!

— От природы, — спокойно поправил его Эмиль и твердо добавил: — От синьки рубашки не голубеют!

— Тетя Дуня! — завопил Накатников, словно она была не рядом, а в соседней квартире. — Тетя Дуня, скажи ему, что рубашки от синьки голубеют!

Тетя Дуня лениво обернулась и ответила неопределенно.

— Все бывает... Взять, к примеру, мыло, — начала она, сразу вскипая. — От плохого мыла, может, материал портится!

— Ну, это уж ты придумала, — спокойно сказал Сергей Петрович.

— Может, и придумала, — согласилась она, — и придумаешь, когда такое мыло!

— Моя рубаха, — глухо сказал Накатников, побледнев от сдерживаемой злости.

— Да ты чего орешь! — взорвался Эмиль, почувствовав себя обиженным. — Нравится рубаха — попроси! Может, подарю...

— Мою же рубаху? — растерялся от такой наглости Накатников. — Много я видел, Эмиль, но такого...

Его оборвал Сергей Петрович:  
— Не стыдно вам, ребята, из-за чепухи!  
— Пристаёт, — извиняющимся тоном сказал Эмиль, кивнув в сторону Накатникова, и добавил презрительно: — Активист еще...

На общем собрании коммуны стоял вопрос о бельевой комиссии.

С докладом выступал Накатников.

«Скажет или не скажет?» думал Эмиль.

— Очень часто у нас бывает, что ребята во время стирки свое корявое бельишко обменивают на чужое — получше, — говорил Накатников.

«Скажет», понял Эмиль, сразу насторожившись. Он начал обдумывать резкий ответ, оглядывая с тоской лица товарищей, но в голову лезла всякая чепуха.

— ... Такие случаи у нас нередки, — продолжал Накатников. — Отдал, например, я в стирку рубаху-косоворотку...

«Начинается!» Эмиль растерянно опустил глаза.

Где-то в конце притихшего зала звучно и весело стреляли дрова в печке.

— ... Увидел я свою рубаху на одном парне. Спрашиваю: как так — у тебя? А он утверждает, что это его. Уперся, и все тут!.. Необходимо, товарищи, с этими обменами покончить...

«Неужели не скажет?» Эмилю показалось, что на него смотрит Богословский. Он вскинул глаза. Сергей Петрович и впрямь глядел на него.

— ... И вот я предлагаю, чтобы прекратить эти безобразия, председателем бельевой комиссии выбрать молодого воспитанника, не загруженного общественной работой, активного парня...

«Не скажет!» с облегчением вздохнул Эмиль.

— Я предлагаю кандидатуру Каминского Эмиля! — закончил Накатников.

Эмиль даже привстал от удивления.

«Смеется», подумал он со злобой.

Но уже из выступления Богословского Эмиль понял: это серьезно.

Сергей Петрович говорил, что Эмиль самый чистоплотный член коммуны и что ребятам неплохо бы брать с него пример.

Гордый неожиданно свалившейся на него ответственностью, Эмиль мучился два дня, размышляя о том, как бы покончить с обменом белья, о котором говорил Накатников.

Прежде этими делами ведала тетя Сима. Как у нее получалось, что белье не обменивали? Впрочем, тогда и ребят в



коммуне было меньше. Тетя Сима все же могла что-нибудь посоветовать. Но она в коммуне не работала уже несколько месяцев. Эмилю надо было придумывать что-то одному.

Он вспомнил, что белье в прачечных метят красными нитками. Это очень удобно. Когда-то на базаре он видел готовые вышитые номерки. Он съездил за номерками для белья в Москву и на целый вечер сделался неограниченным хозяином коммуны. Бродя из спальни в спальню и раздавая номерки, он обзывал большевцев сегодня же пришить их к своему белью. Потом, задрав ноги на железную спинку своей кровати, Эмиль лежал поверх одеяла и сосредоточенно протыкал иглой уголок мохнатого полотенца. Товарищи сидели на своих койках с рубахами и кальсонами в руках.

От раскаленной печи шел жар. Было уютно и тепло. Ребята разговаривали вполголоса о своем детстве. Быть может, нитки и иголки напоминали им матерей, штопавших чулки. ввязавших варежки длинными зимними вечерами.

Жизнь, давным давно забытая, неожиданно выплыла из темноты и наполнила комнату своим дыханием.

Эмиль бросил иглу и полотенце и закрыл глаза.

Мачеха старалась, чтоб он поменьше бывал дома. Отец не смел ей противоречить.

Больше всего Эмилю запомнилась унижительная картина: отец Эмиля стоит у крыльца и подобострастно кланяется коннику из григорьевской банды, которая ночью захватила Елисаветград. Конник с прядью черных цыганских волос на лбу манит его пальцем:

— Гей, ты! Подойди до меня!

Отец все кланяется и прыгающими губами пытается что-то сказать.

— Портняжишь? — спросил конник. — А ну, пошей зараз хлопцам двадцать жупанов!

Много видел Эмиль за эти страшные дни. Он с утра до ночи бродил по городу, оглушенному бесшабашной гульбой бандитов.

Пили, дрались, расстреливали, вешали, пороли, взламывали подвалы, разбрасывали с двуколок отрезки ситца и мотки кружев; моряки танцевали на улицах «Яблочко»; бандиты в богатых, подбитых белым мехом венгерках и в цветных жупанах ходили по-двое и по-трое в обнимку и всех встречных заставляли кричать: «Хай живе щира Украина».

Гульбище окончилось так же неожиданно и сразу, как началось. В Елисаветград ворвались прошедшие с боями из-под Одессы красные части под командой Щаденко. Дальше наступило лучшее время, какое было в жизни Эмиля.

«Борец за свободу» — блиндированный поезд, сделанный из обшитых шпалами пульмановских товарных вагонов, — стоял на запасном пути.

На жирной от мазута земле сидел командир поезда. Его матросская шинель с белыми кантами была ладно перехвачена ремнем, на котором сияла начищенная бляха.

Вокруг топтались городские ребята и упрашивали взять их на фронт. Среди них был Эмиль со своим новым товарищем Ванюшкой Шатуновым.

В темных глазах командира светились веселые огоньки. Отечески пожурив ребят за бродяжничество и хулиганство, он все-таки распорядился:

— Зачислить в десант!

Две с половиной недели, проведенные в бронепоезде, прошли быстро. Изо дня в день росло у Эмиля неиспытанное чувство теплоты и уважения к человеку.

Веселый, спокойный, с глазами, светящимися из-под козырька морской фуражки, командир обходил поезд, внимательно оглядывал тормоза, броню и орудия, распекал артиллеристов, бойцов и железнодорожных служащих. Похлопав широкой ладонью по стенке вагона, он говорил ласково:

— Эх ты, старуха-разруха!

Эмилю он казался олицетворением силы, ума и красоты.

Под Новоукраинкой бронепоезд вел трехчасовой бой с бандой Тютюника.

Командир совсем по-домашнему сидел на крыше пульмана и оттуда руководил орудиями. Его уверенный голос доносился из специально прорезанного в потолке иллюминатора:

— Прицел ноль сто шесть... Огонь!.. Чуть перелет... Давай ниже... Ага, хорош!..

Закрывая светлый кружок неба, на секунду в отверстии показывалось посиневшее от ветра лицо командира.

— Все померло! — шутливо сообщал он артиллеристам и продолжал управлять боем.

Быть может, Эмиль прошел бы с бронепоездом весь польский фронт и с непокрытой головой стоял бы над свежезасыпанной могилой убитого командира.

Быть может, дождливой осенней ночью наступал бы с десантным отрядом на Махно, а после окончания гражданской войны ехал бы по мандату в пассажирском поезде на курсы командиров. Все, вероятно, произошло бы именно так, если бы Эмиль не заболел сыпняком. Его сняли с бронепоезда и в беспомощности положили в холодный, наспех сколоченный барак какого-то армейского госпиталя. Там провалялся он три недели и, едва оправившись, совсем еще слабый, явился домой.

Отец и мачеха жили плохо, впроголодь.



Мачеха встретила Эмиля неприветливо:

— Явился... Что ж тебя «товарищи» не кормят? Свобода, а хлеба и на золото не купишь.

Эмиль шлялся по городу, домой приходил голодный и злой. Мачеха каждый кусок сопровождала попреками.

Поиски заработка привели Эмиля на базар, к ветхой вылинялой карусели. Здесь за гроши он вместе с такими же голодными сорванцами вертел карусель, здесь он познакомился с Давыдкой Кренделем, а через него — с «байстрюками». Это были мелкие воришки и хулиганы. Они как раз готовили какое-то «дело» и пригласили Эмиля. Он согласился.

«Брали» склад с посудой. Эмиль стоял «на стреме». Все обошлось хорошо и гладко. Возвращались по ночным улицам, волоча за плечами тяжелые мешки, подкладывая под них шапки, чтобы посуда не резала спину. Давыдка Крендель с показной смелостью горланил на всю улицу:

Эх, времечко прекрасное,  
Настала жизнь опасная,  
Бандиты раздевают догола...

Потом вместе с новыми товарищами Эмиль перебрался в Москву. Здесь удобнее красть. Тюрьма, опять кражи, опять тюрьма. В Бутырках впервые он услышал разговоры о Болшеве. Заявление о приеме в коммуны он послал тайно от товарищей. Был почему-то уверен, что не примут. Оказалось — приняли.

После истории с бельем прошло несколько месяцев.

Эмиль однажды бродил по лесу. Он думал о себе, о своей жизни. Вот женится он, дадут квартиру, детишки пойдут малюшка меньше... А дальше? Что будет дальше?

Сквозь просвет между деревьями, задернутый прозрачной сеткой роящихся в воздухе мошек, Эмиль увидел бежавшего по дороге Серегу Третьякова и окликнул его.

— Крупская с Ягодой приехали! — прокричал ему на ходу приятель и побежал дальше.

Эмиль бросился вслед за ним.

Гостей они нашли внутри бывшего крафтовского особняка, в комнате конфликтной комиссии.

Надежда Константиновна, такая знакомая по портретам, стояла, облокотясь о подоконник, и негромко разговаривала с воспитанниками. Эмиль пробежал глазами по лицам товарищей — Накатников, Гуляев, Осминкин...

В окно заплывал запах свежей хвои и листьев.

Надежда Константиновна рассказала, как зимой 1921/22 года в этой комнате жил Ильич.

Он приехал сюда отдыхать. Чувствовал себя неважно, плохо спал, уставал.

Надежда Константиновна приезжала к Ильичу. Гуляла с ним, увязая в занесенных снегом канавках.

— Хорошо было ходить по красивой лесной дороге, — говорила она задумчиво.

Большевики стояли молча вокруг товарища Ягоды. Эмиль взглянул на портрет Ильича, висевший на стене, и вдруг ясно, до мельчайших подробностей представил себе живого Ленина, еще недавно здесь работавшего, здесь дышавшего, здесь мечтавшего о замечательных вещах.

Как он раньше не знал, что здесь жил Ленин? Почему никто не написал этого на дверях большими сияющими буквами?

Комната была как комната. Бывало, Эмиль ходил сюда слушать, как разбирали дела большевцев, сидел на этом подоконнике.

Он посмотрел на свои покрытые пылью сапоги, отошел к двери, стараясь не шуметь, и поскреб о порог подошвы.

Около портрета Ильича висела на стене маленькая подковка, выкованная в коммунаской кузнице Уминовым. Надежда Константиновна осторожно тронула ее пальцем и сказала с уважением:

— Маленькую выковать труднее, чем большую...

Эмилю стало жалко, прямо обидно, что не он ее выковал. Он сейчас снял бы ее, протянул и сказал бы: «Надежда Константиновна! Примите от бывшего правонарушителя».

Но ведь он закройщик. Неожиданная мысль обожгла его.

И когда Ягода и Крупская, сопровождаемые ребятами, пошли осматривать мастерские, Эмиль, обогнав всех, задыхаясь от волнения и бега, полетел в обувную.

Утренняя смена еще работала. Синяя спецовка Румянцева, как всегда, висела над дверью и хлестнула Эмиля полой по лицу.

— Ребята! — заорал Эмиль, срывая спецовку и откидывая ее в угол. — Сошьем туфли Крупской!

— Есть туфли! — добродушно ответил Румянцев.

Ягода и Крупская вошли в обувную. За ними толпой двигались большевики.

Эмиль торопливо взял карандаш у Румянцева.

— Надежда Константиновна! — начал он торжественно и сразу же смутился оттого, что сторяча прервал слова говорившего директора мастерской.

Все обернулись к нему.

— В общем постановили снять с вас мерку!.. — выговорил Эмиль залком.



Спустя час вокруг Эмиля, кроившего кожу для туфель, тесно стояли ребята. Они критически глядели на его работу, давали советы и беззлобно шутили:

— Ну и сказанул!

— В общем и целом, — подражая его голосу, сказал Накатников, глядя, как Эмиль ловко работает сапожным ножом.

Эмиль не выдержал — «в целом» он не говорил.

— Ну и трепачи, — сказал он уныло. — И чего вы все трепитесь?

— Довольно, ребята! — сурово крикнул Гуляев. — Мешаете работать человеку!..

Он должен был шить верхи и с нетерпением ждал заготовок.

Эмиль кончил кроить и, любуясь заготовками, отдал их Гуляеву. Он долго смотрел потом, как в ловких руках куски кожи приобретали форму изящных туфель.

Потом Эмиль вернулся к своему рабочему месту и стал кроить кожу на очередные заготовки. Ему хотелось сделать эти еще красивее.

Вечером Эмиль возвращался с работы, полный необыкновенного удовлетворения.

Темная стена леса позади поселка шумела от ночного ветра.

Эмиль ярко представил себе, как Надежда Константиновна приедет в Кремль, надев скроенные им туфли. Быть может, там обратят внимание и скажут:

— Хорошие у вас туфли, товарищ Крупская.

— Коммунары сшили, хорошие, — ответит она.

Эмиль на минуту остановился и широко вдохнул струю прохладного воздуха.

Он подумал о людях, жизнь которых была полна борьбы, творчества, больших человеческих дел. Он подумал о Владимире Ильиче. Какой необыкновенный человек! Какая необыкновенная, замечательная жизнь! Вот он скрывается в шалаше под Сестрорецком. Вот выступает у Финляндского вокзала, вот пишет огненные статьи и воззвания, за ним гонится охранка, рабочие любовно оберегают его.

В спальне он снял сапоги и вынул из-под тюфяка истрепанную записную книжку, на страницах которой последнее время иногда разговаривал сам с собой.

«Счастье».

Слово это было написано красными чернилами и обведено кружком.

Эмиль вынул из кармана карандаш, который забыл впопыхах вернуть Румянцеву, написал размашисто:

«Счастье в труде».

Потом замазал эту надпись. Она показалась ему плохой.

«Счастье в том, чтобы быть ленинцем», написал он снова.

Новая формулировка его удовлетворила.

Через несколько дней большевцы получили от Крупской письмо.

«Дорогие ребята, — писала она, — большое спасибо за туфли. Они такие нарядные и красивые, что просто прелесть.

Признаться сказать, это первый раз у меня будут такие туфли. Спасибо. 6-го, к сожалению, приехать в коммуны не смогу. Шлю привет. Желаю, чтоб коммуна ваша продолжала крепнуть и развиваться. Всего вам хорошего.

Н. Крупская».

Эмиль тщательно, слово в слово переписал в записную книжечку это письмо. А подпись срисовал так, что она совсем походила на подпись в оригинале.



# ДЕЛЕГАТКА

**В** тот вечер Чума был в особенном ударе. Его глаза поблескивали хитрой строгостью, а курносое лицо было шутовски серьезно. Глядя на него, ребята хохотали весело и поощряюще. Было время — они побаивались Чумы, не смели его не слушаться, почти признавали его вожачество. Теперь они вспоминали о нем в веселые часы. Чума стал незаменимым человеком для потехи. Чума ходил по общежитию, как актер по сцене. Волосы его вздыбились, капельки пота от усердия выступили на кончике носа и на плоском лбу. Он показывал ребятам, как можно без помощи рук, одной ногой, постель постелить, раздеться, почистить зубы. В то время, когда в общежитие вошел Беспалов, Чума сидел на полу и молился «на сон грядущий» все той же ногой. Беспалов посмотрел на него, сощурился не то презрительно, не то от яркого света ламп, ослепляющего после апрельской темной ночи. Помолвившись, Чума весело подмигнул ему и одним прыжком очутился на своей кровати.

Когда хохот стих, Беспалов сморщил лоб, потер его ладонью, высоко закинув при этом помятый козырек кепки.

— Ну, братва, — торжественно и мрачно сказал он. — Ну, братва, держись за весло.

Общежитие стихло. Чума вытер рукавом рубахи пот с лица. Взгляд его стал сосредоточенным и любопытным:

— Гребь дальше!

— Дальше, пожалуй, и плыть некуда. Девочек скоро пригонят к нам.

— Каких девочек?

— Самых лучших... проституток со всей Москвы.

Чума подобрал на кровать ноги и, нагнувшись к Беспалову, серьезно посоветовал:

— Ты бы к доктору, милоч, сходил! Говорят, и от мозгов помогают.

Беспалов невесело усмехнулся.

— Дурак! Вот пригонят тебе принцессу... — он сплюнул и добавил совсем уже мрачно. — И кончится твоя веселая жизнь.

— Откуда знаешь? Кто говорил? — заволновались ребята.

Беспалов сбросил кепку, вышел на середину спальни, остановился, точно готовился произнести длинную речь, но сказал отрывисто и немногословно:

— Собрание по поводу этого будет завтра. Ясно?

— Веселый домик, значит, будет у нас! — сказал Чума и выразительно чмокнул губами.

— Да на кой же чорт девок сюда?

— Для разлагательства, — сказал Беспалов.

— А что думает дядя Сережа?

— Я у него в голове чай не пил.

— Нельзя сюда брать девок.

— Вот завтра на собрании так и заяви.

Беспалов лег. Закрыв глаза, он прислушивался к разговору ребят и думал:

«Придут вертихвостки, и, боже мой, что получится! Помада, пудра, губки бантиком, работать не привыкли. Любовные истории начнутся, а вместе с ними кражи и пьянство. И выйдет из коммуны махровая малина. Неужели ни Мелихов, ни дядя Сережа, ни Матвей Самойлович не понимают этого?»

— Ерунда, ничего не будет... — переговаривались болшевцы. — Давно так-то говорят.

— Нет уж, собрание! Значит, дело вплотную.

— Пускай берут... Бояться их, что ли?

Беспалов приподнялся и открыл глаза. Ему пришла в голову неожиданная мысль: да как же он не догадался сказать об этом полчаса назад, когда с ним дядя Сережа разговаривал! Богословский похлопал Беспалова по плечу и закончил разговор следующими словами:

— Поговори, Беспалов, с ребятами и подготовь... Расскажи все, о чем мы с тобой уже толковали. Лучшие из коммунаров уже доросли до сознания своей ответственности за коммуну, поймут и ответственность за судьбу бывших своих подруг. Значит, мы с этим сможем справиться... Сможем добиться от всех сознательного отношения. Девчата не меньше парней имеют право на честную трудовую жизнь в коммуне. Значит, потолкуешь с ребятами, Беспалов?

Беспалов не знал, что Богословский поручил ему вести беседы с ребятами о приеме девушек именно потому, что считал Беспалова одним из тех, от кого можно было ожидать недостаточно сознательного отношения к девушкам, принятым в коммуну. Он не знал и того, что далеко не одному ему Бого-



словский поручил вести подобные беседы. Тогда, скрывая свое смятение, Беспалов согласился.

Но теперь-то он знает, что нужно было ответить тогда Богословскому.

«Так, Сергей Петрович! Воровок, конечно, тоже надо переспитывать. Но почему же их нужно привозить сюда, в нашу еще молодую коммуны? Почему бы не организовать отдельную коммуны из девушек?»

Беспалов даже крикнул от досады. Никогда хорошие мысли не приходят во-время. Он приподнялся на кровати и крикнул, покрывая разноголосый шум:

— Звякнем завтра на собрании, ребята, общекоммунский протест... Не хотим, мол, девками коммуны губить. Себе дороже! Вы как?

Все притихли от неожиданной резкости его вопроса.

— Ну, говорите, как? — настойчиво повторил Беспалов.

— Подумаем. На собрании видней будет, — уклончиво ответил кто-то.

Беспалов сердито откинулся на подушку.

— Ну, думайте, — насмешливо сказал он.

В день собрания вся коммуны говорила о «женотделе». Большевики разделились на два лагеря.

Беспалов предвкушал предстоящую победу. Ему удалось сагитировать на свою сторону немалую часть товарищей. Едва часовая стрелка перевалила за семь, он повел свою буйную ораву в клуб, усадил в первые ряды и сразу же после речи Сергея Петровича попрощал слова.

— Строим коммуны. Болеем за нее! — закричал он со сцены. — Не допустим, чтобы в один момент все прахом пошло! Блатные бабы любят распутную жизнь, карман любят звонкий. Воровство, пьянство, шалманый разгул — вот что ждет коммуны. Выправился Ванька, а какая-нибудь раскрашенная Сонька «Переплюй-вокзал» вильнет подолом, и поплыл Ванька по старому руслу.

— Крой, Беспалыч! Спасай коммуны! — буйствовали его единомышленники.

Стены клуба дрожали от грохота голосов. Председательский колокольчик звякал истерично и беспомощно.

Тогда поднялся Василий Новиков. Медленно спадало буйство ребят.

— Шпана мы, а не коммунары, — крикнул Новиков. — Кого боимся? Девчат? А на кой дьявол тогда трепаться, что из бывших воров мы становимся сознательными пролетариями? Девкам тоже, небось, надоело зря небо коптить. Нужно их взять. И всех, кто будет настраивать их на старое, гнать вон. Мы — коллектив, мы можем...

Тяжело отдуваясь, Новиков сердито смотрел на ребят.

Рядом с ним стал Сергей Петрович и, словно продолжая прерванную речь Новикова, сказал:

— Разве они не воровки? Разве не хотят жить так же, как и вы? Разве не наша обязанность помочь им в этом? Ведь они наши?

— Правильно... Наши... — подтвердили с мест.

— Посмотрите на себя, — продолжал Сергей Петрович. — Ходите грязные, лохматые, умываетесь только тогда, когда нужно ехать в Москву, а будут девушки — подтянетесь. Неудобно в растрепанном виде ходить перед женщинами. Так как же, брать нам девушек или нет?

— Долой! — закричали беспаловцы, но аплодисменты всего зала заглушили их разрозненные голоса.

— Брат! Возьмем! — кричали ребята.

Сергей Петрович поднял руку:

— Но уговор дороже денег. Придут девушки — не приставать.

— Ручаемся за них, а прежде всего за самих себя, — грозно напомнил Новиков. — И в протоколе это записать. Сама ли какая полезет или к ней из нас кто-нибудь — все равно отвечает наш парень. Щадить не будем!

«А в общем здоровая забота, беспокойство за коммуны и у тех, кто «за», и у тех, кто «против», мысленно подвел Богословский итог собрания.

Одинокó вышел из клуба Беспалов.

— Сдали, обманули, — шептал он грустно. — За красивые слова коммуны отдали. Дьяволы...

В голове его возникали картины полузабытой уже гульбы у болшевского «барыги», вспоминалась Маруська, водка, московские гости — воры. Что-то похожее, казалось ему, ждет теперь впереди всю коммуны.

Погребинский был доволен результатами собрания. «Старички» в коммуны уже представляют собой надежное ядро. Он знал, с каким ужасом относились некоторые работники из педагогов к линии, взятой ОГПУ на численный рост коммуны. Им казалось, что это должно привести коммуны к развалу. По их расчетам выходило, что при таком ничтожном количестве воспитателей, какое было в коммуны, число ее членов не могло превышать трех-четыре десятков человек. «А мы вот еще и девчат возьмем», посмеивался Погребинский.

Но он понимал, что это дело не шуточное. Даже для самых лучших и стойких воспитанников прибытие девушек в коммуны будет серьезным испытанием. Издерганные, экзальтированные, требовательные женщины-воровки представляли собой тяжелый, трудно поддающийся перевоспитанию материал. Очень важно было умело подобрать первую партию.



Погребинский несколько раз съездил в «Новинки». Его внимание привлекли несколько молодых воровок, в их числе Маша Шигарева и Нюра Огнева.

Невысокая, но крепкая и подвижная Нюра казалась почти девочкой-подростком, хотя встречала здесь, в «Новинках», вторую тюремную весну и девятнадцатую весну своей жизни. Год тому назад, накануне того дня, когда она попала на последнюю краже, у нее умерла трехмесячная дочь. И вот теперь Нюра снова ощущала приступ старой своей тоски. В открытую форточку врвался веселый городской гул, как тогда, когда уже похолодевшая Валька лежала завернутая в пеленки с розовым пышным бантом на светлых волосенках.

Последнее время Нюрка часто видела Вальку во сне, но не холодную и странно длинную, будто выросшую в последнюю минуту короткой своей жизни, а в плетеной детской кровати у раскрытого и заставленного цветами окна. Комната была уютной и чистой. Валька улыбалась и пускала пузыри. Мимо окна, торопясь, шли люди, и Нюрке вместе с ними тоже нужно было куда-то идти, но Валька тянулась к ней слабыми ручонками и не отпускала.

Ярким солнечным полднем Нюру, Машку Шигареву и еще нескольких женщин из других камер вызвали в приемную — следователи часто навещали в тюрьму. Заключенные привыкли к их вопросам, отвечали насмешливо и грубо.

В приемной за столом сидел невысокий смугловатый военный. Нюрка подошла к распахнутому настежь окну.

Утром она получила весть, что ее мужа отправили в Соловки. Она не грустила об этом. Даже в дни короткой совместной жизни он был для нее всегда далеким и чужим, но все же, получив известие, она, как и после смерти Вальки, вдруг почувствовала одиночество. Отца с матерью она не любила. Отец бил ее, когда она не приносила водки, а мать только в дни богатой вырочки называла ее Нюрочкой и дочкой.

Впервые за год она так близко видела волю. За ее спиной смеялись вызванные в приемную подруги. Как хотелось хоть на час смешаться с уличной толпой, пересекать площади и перекрестки.

— Ну, девочки, слышал кто из вас о Болшевской трудкоммуне? — спросил военный.

«Девочки» засмеялись еще громче.

Машка, играя бедрами, медленно подошла к нему и пустила в лицо густую струю табачного дыма. Военный отмахнулся от дыма рукой и посмотрел на Шигареву прямо и без укора.

— Что ты слыхала о коммуне? — повторил он вопрос.

— Нюрка, может быть, ты слыхала? Интересуются, — насмешливо крикнула Маша.

Нюрка отвернулась от окна. Воля, до которой можно дотянуться рукой, ослепила ее, а впереди еще год тусклых тюремных дней. «Надо бежать», подумала она. Она не знала, когда и как это будет, но в ту минуту показалось ей это делом простым и легким.

— Я думаю так, — говорил военный. — Не понравится в коммуне — обратно вернем. А для знакомства предлагаю послать одну делегатку.

Машка наклонилась к нему:

— Думаешь, купишь?

— Ну, а ты, стриженная? Поедешь? — обратился военный к Нюрке.

Нюрка вздрогнула. Ей показалось, что военный как-то разгадал ее мысли, может быть, хочет поймать на ответе.

Но здесь же она подумала: «Дура, на день вырваться из тюрьмы и то ведь счастье». Пряча лицо от настроенных, злых и насмешливых глаз товарок, Нюра отвернулась к окну.

— Поеду, — торопливо и тихо сказала она.

— Продаешь? — злобно шепнула Машка.

Утром Нюра вышла из ворот тюрьмы.

У самого тротуара стоял легковой автомобиль. Не было ни «черного ворона», ни конвоиров. Шофер открыл дверцу автомобиля.

«Шикарно», с усмешкой подумала Нюра и осторожно опустилась на мягкое сиденье.

В первый раз она подумала о коммуне. Ей представились высокие деревянные заборы с колючей проволокой наверху, по углам на вышках часовые, тесные бараки и душные мастерские. Если не удастся побег, в тюрьме будут смеяться и издеваться над ней за эту поездку. Ночью будут запихивать в нос табак, завязывать в крепкий узел рукава блузки. Слава изменницы перекинется на волю, и тогда на воле станет труднее жить.

Автомобиль остановился на Лубянке. Нюрка хотела встать, но неподвижная спина шофера и трехкратный крик sireны удержали ее. Низко над домами, покрывая шум города, летел аэроплан. В голубовато-синем высоком небе он казался тяжелым и черным. Его тень скользнула по загруженной медленными трамваями площади.

Из подъезда к автомобилю вышел знакомый военный. Он удивленно посмотрел на Нюрку:

— Как, а ты, стриженная?

— Это я и есть. — Нюрка кокетливо тронула косы. — Они купленные у меня.

Он улыбнулся, покачал головой и сел рядом с шофером. Автомобиль снова рванулся вперед. Нюрка задохнулась от ударившего в лицо ветра.



Автомобиль, проскочив между двух высоких башен, вылетел через мост на шоссе. Придерживая рукой кубанку, военный обернулся и крикнул:

— Береги косы — потеряешь!

Нюрка с удивлением заметила, что лицо у него добродушное.

Весь путь ей показался совсем коротким. Когда автомобиль остановился около низкого деревянного дома, Нюрка оглянулась. Она думала, что сквозь стволы хвойного леса она увидит Москву.

Почему-то нигде не было ни забора, ни часовых. Пели птицы, и тихо покачивались сосны на легком ветру. Многих из тех, которые теперь называли себя коммунарами, Нюрка знала по воле. Они окружили гостью, посмеивались над ее недоверчивостью, по-хозяйски распахивали двери, показывали общежития, строящийся жилой дом и мастерские. И все же она заметила, что несмотря на приветливость и развязность они были непривычно сдержанны и осторожны.

С трудом узнавала она в этих скромно и опрятно одетых ребятах своих прежних знакомых. Неужели это Колька Котуля, отчаянный сорви-голова? А пройдоха Мысков? А Малыш? Ну, да он хитрый. Он всегда прикидывался тихоней. Здорово же он вырос и возмужал.

В толпе ребят Малыш шел рядом с ней, слегка смущенный, но радостный, словно показывал он не коммуны, а свою квартиру.

В сапожной мастерской — теперь это была, собственно, уже не мастерская, а целая фабрика — Малыш шутливо изысканным тоном сказал ей:

— Скучное выражение у ваших ботинок, Нюрочка.

И сзади в тон ему кто-то подтвердил:

— И каблук довольно примитивной работы.

— А ты не тронь, — дерзко ответила Нюрка, — запачкаешь...

Ей хотелось быть нарядной, красивой и гордой. В тюрьме перед отъездом она долго пудрилась, подводила брови и чистила поношенное «вольное» платье.

— В моих руках ботиночек этот в момент заиграет. Смотри, любуйся на нашу работу, — и Малыш взял с верстака готовые тапочки.

«Нашел, чем хвастаться», подумала Нюрка, но поймала себя на том, что тапочки рассматривает с любопытством. «Урка ботинки шьет», удивилась она.

Сколько пар туфель, дорогих и дешевых, переворovala она в магазинах. И Нюрка даже оглянулась на ребят при мысли, что теперь на воле она, возможно, утащила бы сшитые ими ботинки.

— Ну и жизнь пришла, — сказала Нюрка задумчиво.

— Жизнь, Нюрка, пришла чистая. Сами себе хозяева.

— Бываешь в Москве? — спросила она.

— Бываю.

Нюрка озорно улыбнулась и пальцами изобразила, будто пробрается в чей-то карман.

Малыш отрицательно покачал головой:

— За это сами друг друга судим. Приезжай, и тебя на поруки возьмем.

Куда бы ни приходили, она не видела ни надзирателей, ни сторожей. Иногда ей казалось, что все это сделано хитрым военным нарочно, что вот он придет, повелительно крикнет, и ребята сразу притихнут.

Но они все водили ее по коммуне — в столовую, в баню, в клуб, наперебой рассказывали и хвастались.

— Идем по парку гулять? — Малыш тронул ее руку.

Ей хочется спросить, трудно ли отсюда «нарезать винта».

\* Но она не верит никому в этой непонятной коммуне. «Застукают — только отойди».

Ей казалось, что никогда еще не видела она столько зелени и солнца. «Славная прогулка, чорт возьми! Если бы еще бутылку водки».

Она отзывает в сторону Малыша, слегка заигрывает с ним, шутя бьет березовой веткой по его рукам, пахнущим кожаным товаром, ласково называет тихоней:

— Достань, дружок, целый год во рту капли не было.

— Не пьем мы здесь, — и Малыш начинает говорить ей об уставе коммуны, о кларнете, на котором играет в оркестре, о вечеринках в клубе.

Он часто останавливается, смущаясь озорных нюркиных глаз, и она догадывается безошибочным женским чутьем, что нравится ему. «А водки ты мне все-таки достань», говорит она глазами.

В клубе, куда они пришли, загудели басы рояля. У Нюрки вздрогнули плечи от томительного предчувствия почти забытого наслаждения.

На Малыше красивые сапоги. Он идет легкой походкой танцора, Нюрке хочется двигаться и смеяться.

— Станцую, Малыш? — озорно говорит она.

— Можно, отчего же!..

Исподлобья она взглянула на Малыша. По блеску его глаз она угадывает, что переплясать его будет нелегко.

«Чтобы я, Нюрка, уступила Малышу», подумала она, трянув головой, и легко поднялась на кончики пальцев. Круг болшевцев раздался шире. Еле сдерживая охвативший ее восторг, Нюрка медленно пошла по кругу. Она двигалась к





Многие правонарушители начали свою перековку  
с участия в струнном оркестре

Малышу, не глядя на него, а когда дошла — задержалась на мгновение и тихо коснулась локтем его груди. Малыш пристально смотрел на нее, словно запоминал, заучивал каждое ее движение. «Смотри», думала она, зная, что сейчас все любятуюся ею, что идет она безукоризненно.

Малышу впервые пришлось держать такой экзамен. В разгоравшемся азарте этого пляса он ощутил тревогу и соблазн прошлого. Блатной мир с Брянского, с Проточного, с Самотеки кружился и блестел перед ним, гремел чечеткой. Он дразнил и заманивал Малыша, его, который уже раз обманулся им... Нет, этому больше не быть. Малыш видел лица товарищей. В их глазах была поддержка: «Не выдавай коммуны, Малыш!»

И Малыш, не чувствуя тяжести своего тела, выходил на середину. Он покачивался, замирал в паузах, чтобы через мгновение рассыпаться мельчайшей, как дробь, чечеткой. Иногда он недвижно стоял в центре круга, и только по легкой дрожи его каблучков и рук можно было догадаться о напряжении всего тела.

В распахнутые настежь окна врвался ветер, неся запах смолы, молодых побегов и влажной земли. Малыш победителем обходил Нюрку. Круг зрителей улыбался и веселел. Улыбался и Малыш. Разве он не оправдывал их доверия? Пусть знают все, что большевские ребята умеют хорошо и работать и плясать.

Успокоенный, он снова уступал место Нюрке. И тогда, распаленная упорством своего кавалера, она крикнула к роялю: — Чаще!

Рояль заиграл так, что, казалось, танцорам не выдержать — задохнутся. Влажные губы Нюрки вздрогнули. Она посмотрела полузакрытыми взволнованными глазами, вздохнула и вскинула руки, потом вздрогнула раз, другой, качнулась и вдруг неудержимо заметалась по всему кругу. Большевики все теснее и теснее сходились вокруг нее, оттесняя Малыша назад.

Малыш понял: он побежден. Он выбежал на крыльцо клуба. В клубе, заглушая рояль, загремели аплодисменты. Малыш спрыгнул с крыльца и без дороги убежал в темный, пахнущий сыростью парк.

Когда Нюрка, окруженная парнями, вышла из клуба, к ней подошел военный.

— Поедем, Нюра, — сказал он.

У Нюрки побледнели щеки. Она отвернулась от него, посмотрела на клуб, на лес, на потемневшее небо, потом на провожающих ее большевцев. Она искала среди них Малыша, чтобы тепло, по-дружески, пожать ему руку. «Ты здорово научился танцевать, Малыш». Но Малыша не было. В парке кричали дрозды.



Тогда Нюрка почувствовала тоску. Было тяжело тронуться с места под взглядами провожавших ребят. Весь этот день, все, что увидела она здесь, показалось ей необычайно хорошим. «Ах, Валька, Валька... Здесь бы тебе родиться. Здесь бы не умерла ты».

— Поедем, — подняв голову, коротко сказала она.

Ночью в «Новинках» снилось ей пение птиц, солнечные пятна на зеленой траве, Малыш. Она просыпалась и прислушивалась к дыханию спящих подруг.

В час, когда в открытую форточку камеры ворвался свежий предутренний ветерок, Нюрка заметила, что глаза Машки широко открыты. Ее лицо показалось Нюрке тонким, необыкновенно строгим. Долго, не шевелясь, смотрела Машка на светлеющее окно, потом вздохнула и повернулась к Нюрке. «Притвориться бы спящей», подумала Нюрка.

— Ты правду рассказывала или трепалась?

Машка угрожающе приподнялась на локте.

— Маша, — тихо сказала Нюрка, — я говорила правду. Она стала опять торопливо, сбиваясь, рассказывать о прошлом дне. Явь и сон перепутывались в ее словах. Она рассказала, как ребята наперебой ухаживали за ней, что Малыш обещал подарить ей ботинки с серебряной пряжкой и на высоком французском каблуке.

— Ребята оттуда в любой час могут уехать даже в Москву. И знаешь... — Нюрка тряхнула стриженной головой и пожала плечами, как перед фактом невероятным, но истинным, — если из них кто-нибудь засыпется на деле — будь покойна: ни МУУР, ни милиция не возьмет. Коммуна берет на поруки, и ваших нет — все в порядке.

— Ну, это ты лепишь, — сказала, проснувшись, толстая девушка, прозванная Тумбой.

— Я леплю? А ты знаешь, что мне ребята говорили? Приезжай, говорят, мы тебе, — Нюрка посмотрела на Тумбу и Машку презрительно и гордо, — мы тебе, что потребуешь, приволокем. Портвейном угощали!

— Кому мозги темнишь, делегатка?

Нюрка легла и отвернулась. Тогда Машка наклонилась к ней свое злое и бледное лицо:

— За что продалась?

— Плевать на вас хотела! Такую дрянь, как ты, даром никто не возьмет! А я пойду.

Тумба посмотрела на светлеющее окно и стала вынимать из волос бумажные пачильотки.

— Ты вот что скажи: легко уйти оттуда?

— Ведь говорила: как из своего дома.

— И меня и Машку возьмут?

К вечеру пять девушек подали заявления о своем желании пойти в трудкоммуну. О дне отъезда они стали думать, как о дне выхода на волю.

Прошла неделя. Никто за ними не приезжал.

Первое время они волновались, надеялись, ждали, потом ожидание сменилось злобой. Вышли последние папиросы, нужно было опять идти работать в прачечную. Над Нюркой издевались.

Когда тюрьма стала уже забывать о нюркиной «измене», приехал в тюрьму скромный, застенчивый человек. К нему вывели подавших заявления заключенных.

— Собирайте, девчата, вещи, — сказал он. — Поедем в коммуну.

Нюрке не понравилась его тихость.



# ДЕВУШКИ

Девчата приехали. Но что это были за девчата! Смотрел на них Беспалов и с остервенением грыз мундштук папиросы. Хохотуньи, кривляки, матершинницы — без ругани слова не произнесут. Особенно не понравилась ему Мария Шигарева. Вертлявая, задиристая, она поглядывала на всех, точно волчица.

«С этой толку не будет», думал Беспалов.

Он жил тревожно, как на фронте. Девчата казались ему коварным и хитрым врагом. От них можно ожидать всего. Он даже вскакивал и прислушивался по ночам — так велика была его бдительность. Сергей Петрович с ним не разговаривал, но Беспалов не унывал.

«На факте докажу тебе, Петрович, вредность юбки», думал он и знал, что факты не заставят себя долго ждать.

Первых девушек в коммуне поселили в деревянном флигеле в светлой комнате с просторными окнами, с половицами, поскрипывающими по-домашнему приятно. «Тихий человек», ездивший за ними в тюрьму, дядя Сережа, нарвал большой букет полевых цветов и поставил на стол в пузатой стеклянной банке. Комната стала нарядной и уютной. Новые жилицы с любопытством осматривали свое помещение, пробовали мягкость постелей, заглядывали в пустые шкапчики для платья.

— Жить можно, — одобрительно сказала Машка, — барахлишко вот только в шкапы не догадались повесить и занавесочки к окнам тоже.

И, в упор посмотрев на дядю Сережу, добавила:

— Я, может быть, голая спать люблю.

— Вполне гигиенично, — согласился он, — и занавесочки и барахлишко будут. Не все сразу.

Вечером, заглядывая в окно нового общежития, ребята поздравляли Сергея Петровича:

— С новым выводком.

— И вас также. Пасти-то вместе придется.

Утром второго дня Нюрка и Машка решили итти искать вина.

— Что-то ни портвейна, ни туфель на французском каблуке не видно, — усмехнулась Машка. Она видела, как деловито болшевцы прошли на работу. Теперь в коммуне стояла будничная тишина. — Может, нам и выходить нельзя? Забыла ты спросить об этом, Нюрка.

Они вышли осторожно, оглядываясь, и когда встретили Богословского, уверенность в том, что за ними следят, окрепла.

— Далеко? — окликнул он их.

— Цветы собирать! — засмеялась Нюрка.

Она думала, что дядя Сережа их остановит, ответит назад, но он только махнул рукой и пошел своей дорогой.

Подруги долго ходили по Болшеву и по тихому перрону станции. Из Щелкова пришел дачный поезд с полупустыми вагонами. Паровоз был празднично убран березовыми ветвями. Поезд сделал на станции короткую остановку и забрал в Москву одинокого пассажира. Нюрка жадно смотрела в открытые окна вагонов. Через час пассажиры повиснут на трамваях, разъедутся по всему городу: на Сухаревку, на Смоленский, на Самотеку. Может быть, кто-нибудь из них пройдет Проточным, мимо нюркиного подвала.

Она взглянула на Машку. Лицо подруги было взволновано и настороженно, и вся она устремилась к вагону.

— Нюрка, — зовуще крикнула Шигарева.

«Да», хотела сказать Нюрка, но уверенность в том, что за ними следят неотступно и пристально, удержала ее. «Нельзя рисковать так глупо, — и Нюрка отрицательно покачала головой. — На первой же остановке снимут».

Поезд, оставляя за собой горячие рельсы, ушел по узкой дороге среди леса.

В коммуне было тихо. Девчата в общежитии валялись на койках. Нюрка распахнула окно и села на подоконник. Какая скука!

Коммуна оказалась совсем другой, чем в день ее первого приезда. Ради них никто не бросил работы, двери клуба наглухо закрыты.

Так прошло несколько дней. Женское общежитие скучало и бездельничало. Дядя Сережа недовольно хмурился. По ночам в его комнате, смежной с женским общежитием, долго горел огонь, и, когда однажды Нюрка хотела тихо вылезти через окно, дядя Сережа окликнул ее. Нюрка выругалась и от злости не спала всю ночь.

Как-то, прогуливаясь вечером в парке, Беспалов услышал подозрительный шопот. Подошел ближе и увидел Марию Шигареву и черноволосого красавца Борьку, которому еще на воле дали кличку «сердцеед». Беспалов спрятался за куст и притаился.



— Выпить бы, погулять, — мечтала Маша, — очумеешь.

— Выпить? Сделаем... — уверенно ответил Борька.

Маша оживилась:

— А можно?

— В Костине достанем.

— Пойдем.

— Только услуга за услугу, Маша, — голос Бориса звучал вкрадчиво.

— Что за услуга? — игриво поинтересовалась Маша.

Борис выразительно крикнул. Они пошли куда-то, и сухие ветки потрескивали под их осторожными шагами.

«Вот тебе и пьянство и еще похлеще пьянства...» победоносно подумал Беспалов.

Он представил себе растерянное лицо Сергея Петровича, ясно видел, как он беспомощно разведет руками и, не глядя на него, скажет: «Что ж... ошиблись...»

Беспалов почти бегом направился к Богословскому:

— Принимай, дядя Сережа, свежие новости...

Сергей Петрович слушал, хмурил лоб, тер пальцами переносицу и молчал.

Беспалов ликовал.

«Здорово ошарашил», думал он, глядя на Сергея Петровича, скрывая самодовольную усмешку.

— А ты разве не пьянствовал? — спросил Сергей Петрович.

Меньше всего предполагал Беспалов разговаривать сейчас на эту тему.

— А с тобой мы разве мало возились? — продолжал Богословский, не дождавшись от Беспалова ни одного слова. — Кто просиживал с тобой ночи? Кто объяснял тебе, что если не порвешь с шалманом, то погибнешь? Сколько сил и времени пришлось на тебя потратить, прежде чем сам ты стал человеком? Отвечай!

— Много... — покраснев, подтвердил Беспалов.

— То-то. Ты что же, думал — девчата лучше тебя? Не так же мучаются, не так же переживают прошлое, как — давно ли это было — переживал и ты? Возились с тобой, теперь надо с ними повозиться. Понял?

— Понимаю... — буркнул Беспалов.

— Помни: если Шигарева напьется — ответишь ты. Как ты мог допустить до этого? Ты сейчас злостный разлагатель коммуны.

— Я? — ошеломленно спросил Беспалов.

Сергей Петрович безжалостно продолжал:

— Ты спокойно допустил, чтобы наши парень и девушка, да еще новенькая, шли пьянствовать. Вместо того чтобы остановить их, ты — радостный — прибежал ко мне!

Беспалов поднял голову, глаза его были влажны. Сергей Петрович молча наблюдал за ним. Он понимал: сказать Беспалову, что он разлагает коммуны, — это больше чем много...

— Ты извини меня, Беспалыч, за горячность, — сказал он мягко, — уж очень ты меня возмутил своим поступком.

— Видишь, я сперва не понял, — неуверенно оправдывался Беспалов.

— Ничего. Иди работай. А этого Бориса приведи ко мне, — успокаивал Сергей Петрович.

Дядя Сережа неоднократно беседовал с девушками о мастеровских. Его слушали хмуро, и только Маша беззаботно улыбалась, покачивая затаенной в тонкий чулок ногой. Когда-то она работала на трикотажной фабрике.

— Довольно, — прервала его однажды Нюрка. — Отправь обратно. Я лучше досижу свой срок, чем тут эту нуду слушать.

— Что ж, отправим, — ответил Сергей Петрович и ушел. В тот день при входе девчат в столовую кто-то из ребят крикнул:

— Дорогу — нахлебницы идут!

Обед прошел молчаливо и вяло. Нюрка не вытерпела и поднялась из-за стола раньше всех. Когда она проходила мимо Кольки Котули, он подмигнул ей и шепнул:

— Приходи сегодня — я буду в парке.

Нюрка слегка ударила его по затылку. Она видела, как Малыш закусил губу и опустил лицо к тарелке.

«Это он Котулю ко мне подсылает, тихий чорт», подумала она.

После обеда девушки разбрелись по разным углам. Каждая чувствовала, что жить так, как прожили первые дни, уже больше нельзя, должна наступить какая-то перемена, но раздумывать об этом не хотелось. Сергей Петрович до вечера не выходил из своей комнаты. Было слышно, как он покашливал и шуршал бумагой.

К вечеру девчата собрались в общежитии. Машка попробовала затянуть блатную песню, но ее не поддержали.

— Что ж, девки, выходит — или на работу или опять в тюрьму?

— А ты думала — на курорт попала?

И опять наступила тишина.

Машка присела на кровать, подперла щеку ладонью и понищенски жалобно завывала:

— Ох, и весело мне здесь, девоньки, весело! Избытку, достатку невпроворот. Мне и песни поют, мне и водку льют. Руки белы охраняют, поработать не дают.

Потом встала и плюнула к ногам Нюрки:



— Все ты!..

Нюрка темнела от обиды. Она сидела, опустив голову, потом сказала глухо:

— Не тронь меня, Маша. Повешусь. Тяжело мне. — И показалась ей в ту минуту жизнь сломанной и ненужной.

Тумба укоризненно вздохнула:

— Смотрю я на вас, девки, и руки чешутся. Бить некому. В тюрьме-то не работали, что ль? Поработаем и здесь малость. Велико лихо!

— Значит, портки ребятам стирать, королевны?

— Почему портки? Мастерские есть. Все почище.

— В одно место всех-то не возьмут.

Утром по предложению дяди Сережи они кинули жребий.

Нюрке досталась слесарная.

Три дня работала она в слесарной и чувствовала себя так, словно носила в сердце невымененное оскорбление.

На четвертый день Нюрка не вышла на работу. До полудня она провалилась в постели, потом, полураздетая, бродила между кроватями по тесной комнате общежития. От разогретого солнцем подоконника несло тонким запахом спиртового лака. Нюрка принюхивалась, глаза ее становились прозрачными.

Под вечер она оделась и, не оглянувшись на окна Богословского, ушла к станции. Часом позже в лесу, недалеко от крайних изб Костина, ее увидели Мысков и Котуля. Нюрка с розовым лицом и растрепанными волосами сидела на ошкуренном пеньке. Она окликнула их:

— Куда, птенцы?

Мысков укоризненно покачал головой.

Нюрка сгребла с земли желтую хвою и бросила Мыскову в лицо. Хвоя рассыпалась не долетев.

— Эх ты, гуталинщик. Хочешь? — засмеялась она, махнув бутылкой.

Котуля, не отрываясь, смотрел на обнаженные выше колен ноги Нюрки.

— Спрячь водку — ребята увидят.

— Слюной изойдут?

— Вытряхнут из коммуны за это дело.

— Кто?

— Ребята.

Нюрка засмеялась и вышибла из бутылки пробку по-мужски — ударом ладони о дно.

— Дожили. Сами себя боитесь... Пей. Со мной до гробовой доски цел будешь... — И первая приложила к горлышку бутылки.

Мысков и Котуля переглянулись. Соблазн и боязнь ответа перед общим собранием боролись в каждом.

— Пей.

Мысков нерешительно взял протянутую бутылку. Ее холод обжег пальцы.

— Пей.

Закрыв глаза, Мысков поднес к губам горло бутылки. Крепкий запах ударил в ноздри, и Мысков уже не сопротивлялся. Глотнув несколько раз, он передал оставшееся Котуле, тот — Нюрке, и через несколько минут пустая бутылка, мягко звеня по земле, отлетела в сторону. Нюрка растянулась на траве. Хмель настойчивыми толчками ударял в голову.

Ребята присели и закурили.

— Значит, вытряхнут? — насмешливо спросила Нюрка.

— По первому разу, если узнают, месяца на три без отпуска — наверняка.

— Жалеешь?

— Я о сделанном никогда не жалею.

Теперь Мысков смотрел на Нюрку развязнее, и голос его стал громче.

— Колька! У тебя бараньи глаза. Хочешь заработать поцелуй? Тащи еще водки, — сказала она Котуле.

— Будет, — слабо запротестовал Мысков.

Когда Котуля поднялся и ушел, он придвинулся к Нюрке и зашептал:

— Помнишь, Нюрка, как ты на Самотеке подсыпалась ко мне? Помнишь? Дурак я тогда был. Ты, Нюрка, фатовая девушка. — И он наклонился к ней.

— Уйди, — Нюрка оттолкнула его. Мысков хмуро уселся в стороне, охватив руками колени.

Наступила тишина. Сквозь нее, казалось Нюрке, доносился далекий гул Москвы. Нюрка закрыла глаза и стала вслушиваться. Гул напоминал невнятную музыку. Потом мотив прояснел, и она узнала «Цыганочку». Ее играли приглушенно, на одних басах. «Малыш... танцует», подумала Нюрка.

Со дня приезда в коммуны Нюрка почти не видела Малыша. Он словно избегал встречаться с ней. Вначале она не обращала внимания, потом это заинтересовало и точно встревожило ее. Она заметила, что вечерами Малыш часто уходил в Костино, всегда чистый, хорошо одетый, праздничный. «С деревенскими путается, — оскорбленно думала она. — Посидим разок под звездами — забудет свою молочницу». Но когда его не видела, сама забывала о нем.

Нюрка поднялась и смахнула с платья приставшую хвою. Мысков посмотрел непонимающе.

«Цыганочка». Теперь Нюра совсем отчетливо слышала знакомые медлительные переходы.

— Догуливайте одни, — сказала она удивленному Мыскову и ленивой походкой пошла к коммуне.



По ее требованию — она действительно не попросила, а потребовала — дядя Сережа перевел Нюрку в сапожную мастерскую, где работал и Малыш. Он встретил ее недоверчиво и даже хмуро, но Нюрка словно не заметила этого взгляда, улыбнулась ему. В мастерской сильно пахло кожей, сапожным лаком и еще чем-то таким, от чего воздух, казался Нюрке, розовел и дымился.

Она сама не понимала, что ей в конце концов нужно было от Малыша. Стоит ей только мигнуть, и перед ней явится десяток лучших парней. Не такие козыри гонялись за ней, когда Нюрка гуляла на воле. А Малыш приполз бы на четвереньках по первому зову.

Может быть, желание убедиться, что и теперь все остается попрежнему, было единственным, чего хотела Нюрка.

Ее посадили рядом с Малышом намазывать носки. Необычность обстановки смущала Нюрку. Малыш сильными, быстрыми движениями затягивал заготовки. Дратва свистела в его разлетающихся руках.

— Крепко, — фальшивым тоном похвалила Нюрка.

— Это не «Цыганочку» в клубе наворачивать, — сказал Малыш с гордостью.

Кожаная заготовка в его руках быстро обтягивала колодку, принимала форму ботинка.

«Теперь подошву начнет пригонять», подумала Нюрка, но Малыш, срезав ножом концы дратвы, положил свою работу.

— Показал тебе мастер, как носки подмазывать?

— Да.

— Начинай, чего же ты!

Нюрка взяла в руки инструмент и вдруг покраснела от стыда и недоверия к самой себе. Ей показалось, что притихшая мастертская смотрит на ее согнутую спину, следит за каждым движением, может быть, догадывается о причине перехода ее из слесарной сюда.

— Ты не бойся, не обожжешься, — ободрил Малыш.

Нюрка оглянулась. Если бы в это время на чьем-нибудь лице замерла усмешка — она бросила бы инструмент, изругала мастера, Малыша и убежала. Но никто не смотрел на нее. Свистела дратва, постукивали молотки и кто-то вполголоса напевал: «Что б осталось от Москвы, от Расаев».

Первый носок она обмазывала долго. За это время Малыш сделал затяжку двух заготовок. Оконченную работу она тщательно осматривала, не упустила ли чего, может, намазала не так. Думала, что ее работа, должно быть, очень ответственная и важная и от подмазки зависит красота и прочность башмака.

— Хорошо. Жми дальше, — сказал ей Малыш.

В полдень к ней подошел мастер:

— Золотые у тебя руки, Нюрка.

— Уйди! — со злостью крикнула она, хотя слова мастера были ей приятны.

К концу дня Малыш все чаще и чаще посматривал на ее проворные руки. Они исполняли работу ловко и точно, словно давно привыкли к ней.

Так прошло с неделю. По вечерам Нюрка тщательно чистила свое поношенное платье и, не выходя из общежития, садилась у окна, смотрела, как гуляли около клуба отдыхающие болшевики, слушала беспорядочное гремяхание рояля, звуки домр и балалаек струнного оркестра. Ребята проходили мимо окна группами и в одиночку. Одни искоса, другие прямее, но все одинаково с любопытством поглядывали на Нюрку. И каждый раз Нюрка видела уходящего в Костино Малыша. В один такой вечер, проводив Малыша взглядом, Нюрка легла на кровать и заплакала — ненависть и обида душили ее. Потом торопливо встала, вытерла и припудрила лицо, вышла на улицу.

— Колька, пойдем, — сказала она Котуле, отыскав его.

И они ушли в темный тихий лес.

С этого вечера Нюрка стала работать плохо и только до полудня. Она хулиганила, все отчаяннее ругалась, точно добивалась, чтобы ее вновь отправили в тюрьму.

А лето давно созрело и окрепло. С лугов потянуло запахом свежего сена, наливались и твердели ржаные колосья.

Как-то, гуляя около станции, она встретила Малыша. Он окликнул ее. Нюрка, не взглянув, хотела пройти мимо, но когда он взял ее за руку, покорно пошла за ним. Шли молча, не глядя друг на друга.

— Нюрка, — сказал он ей, — я знаю, что ты пьешь, путаешься с Котулей. Нюра, пора кончать эту лавочку.

Она деланно засмеялась:

— Не хочешь ли и ты спутаться со мной?

— Не дури, Нюрка. Многие ребята поговаривают, чтобы тебя на общем собрании исключить из коммуны. Мы сами настаивали взять вас сюда, и за вас мы так же отвечаем, как и за себя. Но некоторые ребята не удержались и сорвались. Ты разлагаешь коммуну, Нюрка.

— А что мне ваша коммуна!

— Опять бегать начнешь?

— Лягавой не была и не буду.

— Много не пробегаешь.

— С меня хватит.

Они сели на некошенную траву.

— Пришел конец блату, Нюрка. На деле не засыпешься — так возьмут. Меня взяли было один раз в коммуну. Ушел. Ду-



мал, что без воровства, без веселого шалмана на свете не проживу...

Он сидел против Нюрки, опустив лохматую голову со впалыми смуглыми щеками, худой и робкий.

— Последний раз я пробыл на воле два часа. Ехал на трамвае из Таганки в Проточный, «взял» и здесь же попал. За эту кражу мне дали два года. Два года Бутырок — за двадцать рублей! Ну, положим, что это дело сошло бы, сошло бы и другое, фарт шел бы ко мне — все равно, замели бы в трактире, на улице, в шалмане и пивной. Из малолетних, Нюрка, мы уже ушли, когда за кражу давали три месяца.

Нюрка хотелось оборвать Малыша, но, взглянув на него, ей стало жалко уйти так просто. Малыш говорил о первом сомнении в правильности воровской жизни, которое пришло к нему в тюрьме, он рассказывал о том, как ранними утрами поднимался на высокий подоконник камеры, чтоб взглянуть хоть на краешек Москвы, и как в первый раз в жизни прочел взятую из тюремной библиотеки книгу.

— До этого я никогда ничего не читал, Нюрка, но эта книга так шибанула меня, что я на несколько дней и сна лишился и о жратве забывал. Повернулась ко мне моя жизнь так, что смотреть на нее стало страшно.

— За восемь месяцев до окончания моего срока в Бутырки приехал Погребинский. Он сразу узнал меня. «Если возьму в коммуны — опять убежишь?» спросил он. А я уже убежал один раз. «Не убегу», сказал я. Теперь я часто вспоминаю об этом, Нюрка. Конечно, не будь коммуны, не уйти бы мне от блатной жизни... Без ремесла на воле трудно. Великая вещь — ремесло, Нюрка. Вот оно, — Малыш поднял свои руки, — теперь, где хочешь, не пропаду.

Нюрка взяла Малыша за подбородок и ущипнула:

— Богословский подослал тебя?

— Ты дядю Сережу не тронь. Без него давно бы тебе не быть в коммуне.

— Передай ему — пусть хоть сегодня назад отправляет.

— Нюрка, — вскрикнул Малыш, махнул рукой и откинулся спиной на траву.

Нюрка видела его плотно сжатые губы, выгнутые у переносья брови — он напоминал обиженного мальчика.

«Ах, какой ты дурак, Малыш, — подумала она. — Ах, какой дурак».

И ей захотелось рассказать ему про Вальку, о том, как она к концу третьего месяца уже умела пускать пузыри, гукать и хватать ручонками воздух. Она была уверена, что, слушая ее, Малыш начнет улыбаться. Волна благодарности к Малышу хлынула в ее сердце.

Она наклонилась к нему, готовая увидеть эту улыбку, и Малыш действительно улыбнулся. Нюрка запустила в его густые волосы пальцы и прошептала:

— Ах, какой ты дурак, Малыш.

Они долго сидели молча. Потом Нюрка, пугаясь своего голоса, спросила:

— Ты меня любишь, Малыш?

— Еще с Проточного...